



Н.Г. ГАРИН -
МИХАЙЛОВСКИЙ

ВАРИАНТ

Повесть
Рассказы
Очерки



Scan Kreyder - 10.09.2019 - STERLITAMAK

БАШКИРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО





Н.Г. ГАРИН-
МИХАЙЛОВСКИЙ

ВАРИАНТ

Повесть
Рассказы
Очерки

БАШКИРСКОЕ
КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
УФА — 1985

Редакционная коллегия:
*Бикчентаев А. Г., Гилязов М. Т., Рахимкулов М. Г.,
Сафуанов С. Г., Филиппов А. П., Чванов М. А.*

Предисловие А. Шмакова
Составление раздела Рассказы и очерки Ю. Андрианова

Н. Г. Гарин-Михайловский

Г20 Вариант. Повесть, рассказы, очерки. Уфа: Башкирское книжное издательство, 1985. — 304 с. (Серия: «Золотые родники»).

Талантливый русский писатель Н. Г. Гарин-Михайловский был известен и как опытный инженер, строитель железных дорог в России. При его непосредственном участии строилась Самаро-Златоустовская железная дорога, проходившая через Уфу.

В книгу включены: повесть «Детство Тёмы», рассказы и очерки, многие из которых навеяны пребыванием автора на Урале.

Г 4702010200—282
М 121 (03) — 85¹⁰¹ — 85

84Р1

© Башкирское книжное издательство,
предисловие, оформление, 1985.

ТВОРЕЦ И ЛЕТОПИСЕЦ

С огромной скоростью мчится электропоезд, извиваясь на частых кривых, поднимаясь над цепью Уральских гор. Чем выше взбирается дорога, тем шире открываются лесистые долины, а за ними разворачивается удивительная панорама седого Урала — бесконечные гряды камня, всегда затянутые синевой. С высоты обрыва то блеснет вдруг в изгибах прозрачная и бурливая речка, то коричневой тенью скользнут гранитные щеки выемок, то выбросит глазу пассажира новый рабочий поселок, завод, рудник — самые последние дары пятилетки.

Любуясь современным индустриальным пейзажем, невольно представляешь, как в эти таинственные лесные и горные дебри, покрытые сумрачной тьмой, почти столетие назад пришли впервые русские инженеры, чтобы проложить здесь железную дорогу, по которой сейчас мчится электропоезд. Это они начинали создавать теперешний индустриальный пейзаж края, лишь мечтая о нем, закладывали камни в то будущее, что мы видим теперь из окна вагона на всем пути, пересекая могучий Урал.

Поезд, громяхая, летит вперед.

— Совсем закачалось, — слышится голос. Он напоминает мне другое. Я только что прочитал полные мужества и вдохновения дневники Н. Гарнна-Михайловского.

«— О, какой перекося! О, как страшно! — А смотрите, смотрите, совсем нависла та гора: вот-вот полетят оттуда камни... Ничего хуже этой дороги я не знаю... А вот на ровном месте зачем понадобились все эти повороты ... мошенничество очевидное, чтоб больше верст вышло. Ведь они, все эти инженеры, как-то от версты у них, чем больше верст ... понимаете? Ужасно, ужасно ...

— Но, помилуйте, это образцовая дорога. Поразительная техника, смелость приемов.

— Вы, вероятно, тоже инженер?

— Да-да».

Гарин-Михайловский не сказал этому обывателю-пассажиру, что он творец этой самой дороги. Перед ним живо встали картины пзысканий, постройки, огромные трудности, какие пришлось перенести ему, путейцу-строителю, в те годы. Он думал тогда с завистью о людях, которые будут жить и работать здесь после того, как пройдет дорога, преобразив всю жизнь края.

«Счастливейшая страна Россия! — говорил незадолго перед своей смертью писатель при встрече с М. Горьким. — Сколько интересной работы в ней, сколько волшебных возможностей, сложнейших задач! Никогда никому не завидовал, но завидую людям будущего, тем, кто будет жить лет через тридцать, сорок после нас...»

Гарин ехал во Владивосток, чтобы побывать в Корее, Маньчжурин, на Ляодунском полуострове. Недавно пережитое вставало перед ним, как страница его удивительной биографии инженера-путейца и писателя.

Я перечитал все написанное Гариним-Михайловским, связанное с Уралом и Сибирью. Хотелось глубже познать душу и сердце этого одаренного русского человека, которого современники считали талантливым инженером, веселым и склонным к озорству человеком, умевшим прекрасно рассказывать о своей трудной, но удивительной работе инженера-путейца и не менее талантливо писать о пережитом и виденном.

Николай Георгиевич Михайловский родился 8 февраля 1852 года в Петербурге в семье офицера. Свое первоначальное образование он получил дома, а после местной школы пошел учиться в гимназию. В годы учебы будущий писатель увлекся Щаповым — известным деятелем революционно-демократического движения и Писаревым. Революционные демократы Белинский, Добролюбов и Чернышевский оказали на него свое благотворное влияние, позднее отразившееся на всей его деятельности и творчестве.

После окончания гимназии Михайловский поступил на юридический факультет Петербургского университета, но в 1872 году перешел в институт инженеров путей сообщения, который закончил в 1878 году. Работа инженера-изыскателя и строителя железных дорог стала его призванием, захватила Михайловского и способствовала формированию его личности как человека и писателя.

В мае 1886 года Николай Георгиевич получил назначение на Самаро-Златоустовскую железную дорогу, состоявшую из двух участков Самаро-Уфимского и Уфа-Златоустовского, который явился начальным пунктом Великого Сибирского пути.

Склонность к словесности у Михайловского проявилась еще в годы учебы в гимназии, но по-серьезному литературная деятельность началась, когда ему было 35 лет, и связана с Уралом. Это были, пожалуй, самые напряженные, полные кипучей творческой деятельности годы: Николай Георгиевич одновременно разрабатывал и решал сложнейшие инженерно-технические проблемы и с не меньшей энергией занимался литературной работой. Инженер Михайловский обосновывается на

постройке железной дороги на участке Уфа — Златоуст. Вместе с семьей сначала живет в Уфе, потом в Усть-Катаве, затем в Челябинске.

В этот период Н. Гарин пишет самый ранний очерк «Вариант». С его страниц перед нами ярко встает образ самого писателя как инженера-новатора. Герой очерка инженер Кольцов — человек, страстно любящий свое дело, вдохновенный путеец-строитель, связывает постройку дороги с будущим расцветом и могуществом России.

«Проведением дороги мы эти необъятные края сделаем реальным достоянием русской земли. Это будет второе завоевание этого края, — говорит герой. Первым же он считает завоевание Ермаком Сибири.

Инженер Кольцов предстает перед читателем страстным обличителем рутины и косности, борцом за новое и передовое на строительстве. Он разрабатывает и отстаивает свой вариант постройки одного участка пути, дающий большую экономию государственных средств и выигрывает во времени. Он мужественно борется за этот вариант, не останавливаясь ни перед чем, вплоть до ухода со службы, и с большими трудностями добивается своего — вариант принимают. Инженер Кольцов счастлив от сознания того, что он честно выполнил свой долг перед родиной.

Очерк «Вариант» лучше всего раскрывает перед нами подлинные идеалы и стремления, какими жил инженер и писатель Н. Гарин.

Н. М. Михайловская — жена Николая Георгиевича, в неопубликованных воспоминаниях раскрывает подлинную обстановку, в какой писался очерк «Вариант». Она указывает, что в основу произведения положен действительный факт биографии Гарина. При изысканиях Самаро-Златоустовской железной дороги Николай Георгиевич разработал вариант, предусматривающий прокладку тоннеля на одном труднопроходимом участке. Этот вариант намного сокращал ранее намеченную изыскателями трассу. Однако заправилами и дельцами из Главного управления строительства новый вариант был встречен в штыки, и только благодаря настойчивости Михайловского он все же был принят.

«Про меня говорят, — сообщал Гарин в одном из своих уфимских писем к жене, — что я чудеса делаю, и смотрят на меня большущими глазами, а мне смешно. Так мало надо, чтобы все это делать. Побольше добросовестности, энергии, предприимчивости, и эти с виду страшные горы расступятся и обнаружат свои тайные, никому не видимые ходы и проходы, пользуясь которыми, можно удешевлять и сокращать значительно линию».

История этой борьбы и легла в основу очерка «Вариант». Писателю не удалось закончить свое произведение, в котором проявились самые сильные стороны творчества Гарина. Очерк чем-то не понравился автору, и Николай Георгиевич разорвал рукопись. Жена, склеив разорванные листы, сохранила их и уже после смерти писателя передала в редакцию журнала «Русское богатство», где он и был опубликован в 1910 году.

Историю очерка помогают полнее воссоздать сохранившиеся в Челябинском государственном архиве бумаги, рассказывающие о постройке Уфа-Златоустовской железной дороги, о работе и жизни инженера Михайловского. Эти документы дополняют картины, описанные в «Варианте», интересными подробностями, раскрывающими перед нами большую душу русского инженера Николая Георгиевича.

Инженер Кольцов, чтобы доказать выгодность своего варианта, отвергнутого на месте, едет в Петербург во Временное управление казенных железных дорог. Между работником этого управления Никольским и инженером Кольцовым происходит перепалка. Никольский, рассмотрев представленные бумаги, указывает на допущенные ошибки в расчете профиля. Кольцов едко бросает:

— А еще в моем варианте вы ничего не заметили?

— Больше, кажется, ничего, — ответил Никольский тоном, говорившим, что и этого довольно.

— А экономии этого варианта против прежней линии на миллион сто тысяч рублей не заметили? — желчно спросил Кольцов...

— И вам не совестно? — наступал Кольцов. — Это донесение полководца, что выиграно блестящее сражение... Если вы грамотный, по профилям можете убедиться, что места, где сделан вариант, сплошь состоят из скал, где немислим математически точный промер: скалы, где два человека у меня вдребезги разбились, где каждое проложение цепи связано буквально с опасностью жизни».

В этом отрывке отражены подлинные события, происшедшие с самим инженером Михайловским. В жизни они были даже много трагичнее и сложнее, чем показаны в очерке.

В 1890 году строительство Уфа-Златоустовской железной дороги закончилось. Все работы на этом участке прекратились. Септёмбрьским днем в Златоуст прибыл первый поезд из Уфы, и в старом уральском городе состоялись торжества. С пламенной речью выступил Н. Михайловский. Он говорил о значении дороги, о том, что строители провели большие объемы земляных, скальных, взрывных и других работ, что их труд заслуживает всенародного признания и похвалы. С уверенностью он заявил, что строители будут работать так же и дальше, прокладывая железнодорожный путь на Челябинск и в Сибирь.

Это была речь вдохновенного инженера-строителя и писателя-патриота, видевшего, какие экономические преобразования несла построенная дорога в эти богатейшие районы страны, остававшиеся оторванными от центральной России.

А через два года первый поезд пришел и в Челябинск, связав его с Самарой. Строителями за шесть лет было возведено свыше тысячи километров железнодорожного пути. Это был подвиг народа.

На короткое время Гарин-Михайловский оставляет службу, едет в самарское имение Гундоровку. Здесь он заканчивает начатый на Урале очерк «Несколько лет в деревне», устанавливает связи с писателями, знакомится с М. Горьким, работает над повестью «Детство

Темы», публикует ее в журнале «Русское богатство» и сразу занимает прочное место в русской литературе.

Писатель не прекращает публицистической деятельности, продолжает выступать со статьями в различных периодических органах. Его глубоко тревожит все то, что он наблюдал на строительстве Уфа-Златоустовской железной дороги. Он беспощадно бичует косность и рутину, мешающие внедрению всего передового, борется пером публициста за удешевление сооружения дорог, пропагандирует узкоколейки как наиболее экономически выгодные дороги и ратует за их строительство.

Его статьи появляются в «Железнодорожном деле», «Волжском вестнике», «Новом времени», «Русской жизни», «Русских ведомостях» и других периодических изданиях за подписью «Практик», «Инженер-практик», «Михайловский 2-й». Однако борьба за экономичность строительства железных дорог прежде всего исходила из улучшения социально-бытовых условий рабочих, безопасности их труда.

В статье «Несколько слов о Сибирской железной дороге», опубликованной в «Русском богатстве» за 1892 год, Михайловский рассказывает о трудностях изысканий Уфа-Златоустовской железной дороги, во время которых «8 процентов изыскателей навсегда сошли со сцены, главным образом от нервного расстройства и самоубийства. Это процент войны». Вопросы оздоровления условий работы изыскателей, безопасности труда волнуют и беспокоят инженера Михайловского, хотя в это время перед ним уже открывалась заманчивая и многообещающая перспектива творческого труда литератора. Публикуется повесть «Детство Темы», а через год «Гимназисты».

Мятущаяся душа писателя, сразу занявшего прочное место в русской литературе, не удовлетворена. Н. Г. Гарин-Михайловский тоскует по прежнему делу и снова возвращается на строительство железной дороги. Он участвует в изысканиях по прокладке великого Сибирского пути. В апреле 1891 года он назначается начальником партии по производству изысканий Западно-Сибирской железной дороги и покидает уютную Гундоровку.

На изысканиях сибирской трассы Н. Гарин провел все лето, лишь ненадолго выезжая в Челябинск для обработки полевых материалов. Здесь размещалось управление Западно-Сибирской железной дороги и жила семья писателя (1891—1892 гг.).

Во время изыскательских работ на Урале и в Сибири Н. Гарин воочию видел картины жизни русского, башкирского, татарского, чувашского и других народов, влачивших жалкое существование, угнетенных господствующим классом и царским самодержавием. Глубоко возмущенный социальной несправедливостью, он писал об этом жене, рассказывал в очерках и зарисовках, сделанных «Карандашом с натуры».

Так, в очерке «Из путевых набросков», впервые опубликованном 27 января 1894 года в газете «Ирбитский ярмарочный листок», Н. Га-

рин рассказывает о быте и нравах, а самое главное — характерах людей, с которыми вел изыскания в 1891 году. Он описывает стан, рисует окружающий пейзаж и обстановку:

«После того как рабочие напились чайку, закончили свой незатейливый ужин, сами по себе возникли разговоры, «пошли речи».

Речи простые, крестьянские, о житье-бытье крестьянском. Общий вывод, что жить можно: «как не жить — места привольные, всего вдоволь». Но рядом с этим у каждого свое горе, своя нужда, у каждого свои причины: отчего ему-то плохо живется? А так, вообще отчего не жить!!!

— Жить можно, — вмешался я, — а хорошего мало!

— Кому как, — нехотя ответил один из рабочих, — богатому везде хорошо, а бедному везде худо».

И продолжался разговор о недоимках, поборах, беглецах, ведущих бродяжническую жизнь. И хотя автор больше не вмешивался в беседу рабочих и мужиков, а только слушал, сквозь строки очерка ощущаешь истинное сочувствие Н. Гарина-Михайловского к трудовому народу, жизнь которого нескладная и жалкая.

Пребывание Н. Гарина-Михайловского в Челябинске и на Урале обогатило писателя жизненным материалом и связями с передовыми людьми края. В эти годы он сходится с революционерами-марксистами, работавшими в управлении постройкой Западно-Сибирской дороги — Осипом Годлевским, Павлом Балашовым, Николаем Зобниным и другими уральскими марксистами, позднее составившими ядро «Уральского рабочего союза», с публицистами А. А. Саняным и П. П. Масловым — активными сотрудниками первой русской марксистской газеты в Поволжье «Самарский вестник», основанной В. И. Лениным. Гарин-Михайловский не только субсидировал эту газету, но и оказывал всяческую поддержку ее сотрудникам. После закрытия газеты, например, А. Санин долгое время жил в имении писателя Гундоровке, а П. Маслов обрел надежный кров в конторе инженера-строителя.

О близости и симпатии писателя к марксистам свидетельствуют многие видные представители революционного движения того времени. Так, когда очерк «Несколько лет в деревне» был напечатан, с ним ознакомился один из виднейших русских марксистов-теоретиков Н. Е. Федосеев. Чутьем революционера он угадал в Гарине-Михайловском патриота-борца, формально не связанного с социал-демократическим движением, но чувствовавшего себя в одном строю с ним, и подчеркнул, что в литературу пришел талантливейший писатель, близкий по духу революционерам.

Сподвижник В. И. Ленина М. А. Сильвин в своих воспоминаниях рассказывает о том, как встретился летом 1894 года с писателем, заинтересовал его идеями марксизма и тем приблизил к деятельности социал-демократов.

«Мы разговорились, и я с жаром пропагандиста принялся излагать ему учение Маркса и задачи революционной социал-демократии в Рос-

сии. Это его, видимо, заинтересовало, и он спросил, что имеется в литературе по этому вопросу. В ближайшие дни я привез ему бывший у меня на немецком языке «Манифест Коммунистической партии», который одолжил мне на лето Владимир Ильич».

Гарин-Михайловский подружился с М. А. Сильвиным, пригласил его заниматься со своими детьми. Беседы с Сильвиным о марксизме волновали писателя, поднимали множество вопросов, над которыми он раньше не думал. Николай Георгиевич мучительно искал на них ответы.

В рукописном отделе Всесоюзной государственной публичной библиотеки имени В. И. Ленина хранится альбом поэта Федора Фидлера. В нем Н. Гарин в декабре 1894 года оставил приметную запись: «Самый большой вопрос наших дней — борьба народников и марксистов...»

Это не было для Н. Михайловского праздным вопросом. Он близко знал свой народ, сталкивался с крестьянами и рабочими как инженер-практик, и помыслы его были направлены на улучшение их жизни. До этого момента Гарин-Михайловский причислял себя к народникам, и, собственно, приобретенное им имение в Гундоровке — это попытка «ухода на землю».

Ему тогда искренне хотелось показать, что у русской деревни верный и единственный путь развития — крестьянская община. Увлеченность Николая Георгиевича этой идеей, его стремление обучать и просвещать крестьян в своем имении окончились крахом. Об этом писатель великолепно рассказал в очерке «Несколько лет в деревне» — произведении этапном и переломном, указывающем на пересмотр идейных и мировоззренческих позиций Н. Г. Гарина-Михайловского. Стряхнув со своих плеч прежний народнический груз, Николай Георгиевич прочно уверовал в марксизм. Писатель видел и понимал: будущее за ним, и стремился всячески содействовать развитию социал-демократического движения в России. Он поддерживал теперь связь с Петербургским кружком технологов, который стал основным ядром «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». Известно, что в комнате М. А. Сильвина, расположенной на чердаке дома в Царском Селе, где квартировал Гарин-Михайловский, В. И. Ленин в апреле 1895 года провел совещание членов «Союза борьбы». И хотя Гарин не участвовал в нем, но после того, как многие из членов «Союза борьбы» были арестованы, он принял живейшее участие в их судьбе. В 1896 году писатель хлопотал о выдаче ему на поруки соратников В. И. Ленина — А. А. Ванеева и М. А. Сильвина.

Н. Гарин-Михайловский материально поддерживал редакцию легальной марксистской газеты «Самарский вестник». С его участием выходили журнал «Новое слово», а позднее марксистские органы — «Начало» и «Жизнь». Николай Георгиевич входил в редакцию большевистского «Вестника жизни», в котором сотрудничал вместе с А. В. Луначарским, В. В. Воровским, В. Д. Бонч-Бруевичем.

М. А. Сильвин вспоминает: «Его сочувствие выражалось щедрыми вложениями в нашу кассу, а позднее же существенной поддержкой наших легальных изданий — «Самарского вестника», «Вестника жизни» и др. Он давал мне сотни, иногда тысячи рублей для нашей кассы».

Поздней осенью 1903 года, в канун русско-японской войны, Гарин-Михайловский закончил изыскания на трассе Южно-Крымской электрической дороги, но строительство ее было прекращено. Писатель с корреспондентским билетом московской газеты «Новости дня» оказался на Дальнем Востоке. Он пробыл здесь полтора года. Корреспонденции его с театра военных действий рисовали картины бессмысленного кровопролития.

В конце 1905 года он ненадолго выехал в Петербург. Встречи с М. Горьким помогли Николаю Георгиевичу лучше понять революционные события, происходившие в России. Через А. Б. Красина, тогда члена большевистского ЦК, занятого подготовкой вооруженного восстания, писатель передал крупную сумму на нужды партии.

Возвратившись снова в Маньчжурию, Гарин-Михайловский в январе 1906 года выступил в харбинской газете «Новый край» с публицистической статьей. Убеденный в правоте большевистской партии, он писал, что грядущая победа достанется революционной социал-демократии.

И совсем не случайно Гарин-Михайловский еще ранее этого обвинялся в политической неблагонадежности. В принятом министерством внутренних дел постановлении предписывалось: «Воспрепятствовать Михайловскому жительство в университетских городах и в фабричных местностях на два года, считая срок с июня 1901 года». За писателем было установлено негласное наблюдение полиции.

Все в деятельной личности писателя органически слилось: инженерное призвание и талант прозаика, неумная энергия общественного деятеля и бескорыстная дружба с передовыми людьми — его современниками.

В июле 1892 года Н. Гарин-Михайловский назначается на должность начальника и заведующего изысканиями на Казано-Малмыжскую дорогу. И новое строительство захватило инженера-путейца с прежним вдохновением.

«Я уже увлекся своими изысканиями, — писал он жене. — Действительно, при нашей бездорожнице узкоколейные дешевые дороги — спасенье для нас, и провести их — святое дело».

Я очень рад, что во мне зажглось, и я опять воспрянул духом. Будем работать... пока есть последняя капля, а там после люди рассудят, что сделано».

Как раз в этот период Н. Гарин отдает дань публицистике. В статьях, печатавшихся в журналах и газетах не только столичных, но и провинциальных — в «Волжском вестнике» и «Ирбитском ярмарочном листке», он настойчиво пропагандирует строительство узкоколейных железных дорог. Так, в «Ирбитском ярмарочном листке» в 1894 году по-

является проблемная статья: «Урал. Железное дело: дешевые дороги», напечатанная еще под одним ранее неизвестным псевдонимом «Некто». Автор, ссылаясь на успешно работающие узкоколейные дороги Богословского и Алапаевского заводов, ратует за то, что при выборе типа дорог следует сосбразовываться с экономикой, что узкоколейные дороги должны играть господствующую роль в железнодорожном хозяйстве.

Читая эту статью, невольно видишь перед собой героя очерка «Вариант» Кольцова, устами которого говорит сам Николай Георгиевич. Как раз в эту пору писатель занимался изысканиями Чистопольской железной дороги, составил «Записку о значении Черкассы-Сергиевск-Чистопольской железной дороги», опубликовал в «Волжском вестнике» статью «Побольше света» (К вопросам Черкассы-Чистопольской и Бугульма-Чистопольской железных дорог), сумел убедить Самарское земство в постройке узкоколейки Кротовка-Сергиевской железной дороги, основываясь на экономике узкоколеек, построенных в горнозаводской зоне Урала.

Неутомимость, с какой Н. Гарин развернул пропагандистскую деятельность, пронизанную боевым, наступательным духом, а также выступления в техническом обществе, министерстве, земстве, возымели свое действие. Прогрессивно настроенная техническая интеллигенция разделяла его новаторские идеи, и предложенные проекты встречали сочувствие и поддержку, хотя другая, консервативная часть, относилась явно враждебно и презрительно, называя Михайловского узкоколейщиком.

И все же Н. Гарину удалось добиться явного успеха в проведении своих прогрессивных идей при строительстве узкоколейного пути от станции Кротовка Самаро-Златоустовской железной дороги до г. Сергиевска. Оно началось осенью 1895 года, закончилось через два года. Строительство не принесло желанной победы Михайловскому. Противники сделали все, чтобы смазать идею удешевления строительства, внедрения прогрессивных методов. Тем не менее новаторство, проявленное здесь, имело положительный отзвук: отстранены были подрядчики, установлена выборность администрации, улучшены права рядовых строителей, внедрен общественный контроль, наконец, введен впервые легальный товарищеский суд, помогающий администрации бороться с нарушителями и соблюдать коллегиальные формы.

Это была немалая победа, направленная прежде всего против попрания законности и прав тех, кто являлся непосредственным участником строительства — рабочих, служащих, остававшихся совершенно беззащитными, как это было на изыскательских и строительных работах Сибирской железной дороги.

Как видим, неумная натура Гарина постоянно искала действия в практической инженерной деятельности и в своем творчестве. Каждодневно ему хотелось активно вмешиваться в окружающую действительность, преобразовывать ее на основах цивилизации и прогресса. И луч-

шее тому доказательство — очерк «Вариант», в герое которого много от самого писателя.

Работая над очерком «Вариант», Гарин-Михайловский одновременно пишет «Лешее болото» — повесть о жизни рабочих горнозаводского Урала. Автор показывает нищету людей, живущих в краю сказочной природы. Повесть эта, как и рассказ «Бродяжка», с большой теплотой и сочувствием показывает «самых бесправных из всех бывших когда бы то ни было рабов», скитавшихся по селениям Урала и Сибири.

«Уральский материал» подсказал Гарину сюжет и такого произведения, как рассказ «Бабушка», резко обличающий не только социальные основы буржуазного общества, но и его морально-бытовые устои. А. В. Луначарский дал высокую оценку этому произведению, назвав его «превосходным». И хотя автор географически точно не указывает место действия, его нетрудно определить — это Урал, лежащий между Екатеринбургом и Пермью, быть может, Туринск, Ирбит или Тавда, где одновременно бывал писатель.

Уральская земля навсегда осталась памятной для писателя. Здесь, когда строился самый трудный участок Уфа-Златоустовской железной дороги между разъездом Яхино и станцией Вязовой, инженер Н. Михайловский прокладывал глубокие выемки в скалах, сооружал железнодорожный мост через реку Юрюзань, неподалеку от Усть-Катавского завода выложил две подпорные стены. Русло Юрюзани на этом участке надо было перевести в новое место и вдоль всего течения реки насыпать сотни тысяч кубометров грунта. В проектировании всех этих работ и в руководстве строительством инженер Гарин принимал непосредственное участие.

В Усть-Катаве, который лежал несколько в стороне от железнодорожной магистрали, жил Николай Георгиевич. Здесь жили и работали люди, с которыми писатель сдружился. Среди них — семья управляющего Усть-Катавским заводом С. А. Жуковского, поставляющего на стройку лопаты, железнодорожные крепления и костыли. В обществе Жуковского, который печатал свои труды по металлургии в «Горном журнале», а затем написал и брошюру о своем заводе, Гарин познакомился со многими интересными людьми, в частности, со столяром и плотником С. А. Подрядовым, участником двух барочных экспедиций по реке Юрюзань, сплавлявших железо.

Наконец, в одном из уголков Усть-Катавского кладбища похоронена дочь писателя Варя.

Об Урале Николаю Георгиевичу всегда напоминали и встречи с Д. Н. Маминным-Сибиряком в редакции «Русского богатства», их совместное участие в различных литературных вечерах в Петербурге, дружеская переписка и, что очень важно, — близкое знакомство Н. Гарина с местами, где родился и вырос Дмитрий Наркисович, где подсмотрел героев своих романов и повестей, которых также наблюдал и Михайловский.

Неизгладимое впечатление производил Урал своими природными богатствами, которые писатель жаждал как можно быстрее поставить на службу своей отчизны и ее народа. Об этом Н. Гарин не устал говорить языком публициста и художника.

«Урал в пределах Пермской губернии один из богатейших уголков мира. Рядом с прекрасной почвой громадные минеральные богатства: железо, каменный уголь, золото, драгоценные камни, платина. Если прибавить к этому лесную площадь, причем по качеству своему (я не говорю об эксплуатации) лес не оставляет желать ничего лучшего, и громадные торфяные болота, то ясно станет, что природа не поспешила в этом своем уголке сделать все, чтоб человек мог дешево и с избытком удовлетворять всем своим потребностям».

Так Н. Гарин-публицист утверждал в статье «Урал. Железное дело: дешевые дороги», появившейся в «Ирбитском ярмарочном листке».

В повести «Лешее болото» в уста своего героя Ивана Николаевича Сурнинова писатель вкладывал не менее примечательные слова: «Природа, действительно, сделала все, чтобы засыпать человека богатствами, но со стороны человека тоже сделано все, чтобы умудриться и среди этих богатств создать общее разорение. И все потому же, что и в этом уголке положены в основание жизни не альтруистические стремления и волнения, а грубый, бессмысленный эгоизм и родной сын его — невежество».

Прошло восемь лет после окончания строительства Уфа-Златоустовской железной дороги, и Гарин-Михайловский вновь созерцал до боли в сердце знакомые и полюбившиеся ему места. Картины, открывшиеся из окна вагона, воспринимались совершенно по-новому, производя на Николая Георгиевича волнующее впечатление. В дневниковых записях, вошедших в очерк «По Корее, Маньчжурии и Ляодунскому полуострову», читаем:

«В окне вагона Уфимская губерния с ее грандиозными работами Уфа-Златоустовской железной дороги, с ее башкирами, лесами и железными заводами.

Как змея извивается поезд, и с высоты обрывов открывается беспредельная даль долин Белой, Уфы, Сима, Юрюзани с папорамой синеватой мглой покрытых, лесистых, вечнозеленых гор Урала...

Станция Мурсалимкино.

Русские крестьяне о чем-то спорят с башкирами. Башкиры смущенно говорят:

— Наши леса...

— Ваши, так почему же, — раздраженно возражает им крестьянин, — казенные полесовщики?

— Чтoб никто не воровал, — отвечают не совсем уверенно башкиры.

Смущенные, худые башкиры спешат уйти от нас, а Василий продолжает с той же энергией:

— Землю на пять лет сдает, а уже зимой опять идет: дай чаю, дай хлеба, дай денег... «Да ведь ты все деньги взял уже?» — Ну, сни-

май еще на пять лет вперед... Чего же станешь делать с ним? И снимаешь...

— А я вот слышал, — говорю я, — что у башкир землю отберут и из вас и башкир одну общину сделают.

Лица крестьян мгновенно вытягиваются и перестают сиять.

— Бог с ней и с землей тогда: уйдем...

Последний звонок, и я спешу в вагон.

Там, в России, я не слышал еще таких речей...»

В этом отрывке, как в зеркале, правдиво отражена социальная обстановка, сложившаяся в Башкирии в последние десятилетия прошлого века. Она ставила бедное башкирское и русское население в зависимость от крупных землевладельцев, которыми являлись помещики и казна, скупающие земли у коренных жителей этого богатейшего края. Массовый захват этих земель, начавшийся после 1869 года, когда была разрешена свободная продажа, привел к разорению и обнищанию трудящихся башкир. Эта политика, породившая мрачную эпоху колонизации края, вызывала глубокое возмущение у прогрессивной общественности России: писателей, ученых, врачей, учителей, технической интеллигенции.

Н. Гарин-Михайловский не делает такого вывода в своих дневниковых записях по цензурным соображениям, однако душевно разделяет их. Читатель чувствует последнее в показе реальной действительности. Своим правдивым описанием он подводит к единственному выводу — пока существует царизм и власть остается за господствующими классами, будет продолжаться угнетение бесправных народных масс.

И хотя художественных и публицистических свидетельств о Башкирии в произведениях Гарина-Михайловского не столь уж много, тем дороже для нас каждая строка писателя, отражающая правду жизни края.

В этом отношении чрезвычайно ценен неопубликованный автограф Н. Г. Гарина-Михайловского «Путевые впечатления от Москвы до Харбина», хронологически относящийся к апрелю 1904 года. Он хранится в Центральном государственном архиве литературы и искусства. Это незаконченная рукопись. Она обрывается на 12 странице дестилинованной бумаги, убористо исписанной рыжевато-фиолетовыми чернилами с небольшой авторской правкой.

Рукопись отличается от дневников писателя, которые он вел во время поездки по Корее, Маньчжурии и Ляодунскому полуострову, опубликованных в пятом томе собрания сочинений. Судя по содержанию рукописи, названию городов, через которые лежал дальний путь писателя, — это один из вариантов дневника без конкретных дат. Он интересен тем, что в нем более подробно переданы дорожные впечатления автора о знакомых ему Урале, Сибири и Забайкалье.

«Впечатлений до Уральского хребта мало: однообразные виды нашей средней полосы России с деревнями и рощами по сторонам давно уж пригляделись. Холодный ветер, нависшие тучи еще более нагоняют

тоскливое расположение духа: наш вагон занят офицерами, все мрачные, подавленные тяжелым чувством разлуки с близкими и страданием неминуемой участи там, далеко на чужой земле. Не слышно веселого, беззаботного смеха и нет удачи, уверенности в счастливом окончании войны...»

На этот раз Н. Гарин ехал на Дальний Восток как корреспондент московской газеты «Новости дня», чтобы непосредственно с театра военных действий передавать материалы о том, за что же льется солдатская кровь на полях боя. Он понимал, что берет на себя большую ответственность перед читателем: быть правдивым в освещении событий, и считал, что отныне его корреспондентская деятельность станет основной работой.

Писатель несколько ранее в очерке путешествия вокруг света и наброске «Эскиз» предвидел эту войну и предсказывал поражение в ней царской России. И теперь, испытывая настроение офицеров, ехавших с ним в одном вагоне, мучительно искал ответа: «на кого же наложит история клеймо столь страшного греха?»

Мрачные раздумья, связанные с русско-японской войной, как бы на время отодвинулись, когда Николай Георгиевич переезжал Урал, где шаг за шагом была пройдена им трасса Уфа-Златоустовской железной дороги. Здесь он все знал, со всем сроднился. И описания его не утратили эмоциональности и теперь, спустя почти полтора десятилетия. Они передают душевное состояние человека, кровно связанного с нашим краем:

«Перед Уфой местность становится более интересной: линия тянется долиной Демы. По ее обрывистым с живописными рощами берегам начались уже ископаемые богатства Уральской хребта, а от станции Чишма заметны воронкообразные провалы иногда саженей 10—12 в верхнем диаметре: эти своеобразные геологические явления, как и масса пещер по берегам р. Белой, зависят от выветривания подпочвенных пород.

Через Белую под Уфой перекинут мост в 6 пролетов: вот под нами скользит по воде плот; они, говорят, нередко разбиваются о скалы в нижнем извилистом течении этой красной, быстротекущей реки. Как только проехали Уфу, стала окружать холмистая местность предгорья Урала, но уже темнеет, не пришлось видеть начала перевала с его заводами чугуно-литейными и железо-прокатными...

Проснулся рано, чтобы видеть Уральские горы, и действительно, стоило прервать утренний сон. Линия дороги шла по долине р. Ай среди высоких гор. Быстро бежит эта горная река к нам на встречу, перебираясь каскадом через камни: она то подбегает к нашим шпалам, то отойдет на много сажен, а мы все поднимаемся; нас с трудом тащат два паровоза; по бокам отвесные скалы лезут кверху; вот страшный откос опускается круто вниз до зеленой площадки, на дне которой в узком каменном коридоре стало вдруг темно; через 2—3 минуты мы выбрались из него и перед нами чудесная панорама гор в форме остро-

конечных пирамид, поросших хвойным лесом. Вдали через вершины этих ближних — виднеются уже отдаленные, потонувшие в синеве далекого горизонта. Река Ай, наша бывшая спутница, полная жизни и энергии, теперь извивается как будто без движения в глубине большой котловины и кажется тонкой светло-голубой лентой. Вот и верхняя площадка хребта: рядом с полотном дороги стоит каменный столб неуклюжий, низенький; на западной стороне надпись: «Европа»; проехали, оборачиваюсь, читаю: «Азия».

Итак я в Азии, большая преграда, целая цепь гор отделяет меня от дорогих друзей!..»

Так проникновенно мог писать лишь человек, влюбленный в эти места, знающий их, глубоко чувствующий красоту окружающего. Много раз я проезжал эти же места, волнующие каждый раз по-своему, но чувство, которое охватило инженера-путейца и строителя дороги, — большое чувство хозяина, невольно передается, когда читаешь его искренние строки, написанные 80 лет назад. В них угадывается, как и во всем, что писал Гарин-Михайловский на Урале и об Урале, — истинный патриот.

Это была последняя встреча Н. Г. Гарина-Михайловского с Уралом — краем богатых возможностей и перспектив, где расцвел и засверкал во всем блеске его талант инженера и писателя, оставившего будущему поколению чудесное техническое сооружение и неувядаемые художественные произведения.

А. ШМАКОВ



Детство Темы

I. НЕУДАЧНЫЙ ДЕНЬ

Маленький восьмилетний Тема стоял над сломанным цветком и с ужасом вдумывался в безвыходность своего положения.

Всего несколько минут тому назад, как он, проснувшись, помолился богу, напился чаю, причем съел с аппетитом два куска хлеба с маслом,— одним словом, добросовестным образом исполнивши все лежавшие на нем обязанности, вышел через террасу в сад в самом веселом, беззаботном расположении духа. В саду так хорошо было!

Он шел по аккуратно расчищенным дорожкам сада, вдыхая в себя свежесть начинающегося летнего утра, и с наслаждением осматривался.

Вдруг... Его сердце от радости и наслаждения сильно забилося... Любимый папин цветок, над которым он столько возится, наконец расцвел! Еще вчера папа внимательно его осматривал и сказал, что раньше недели не будет цвести. И что это за роскошный, что это за прелестный цветок! Никогда никто, конечно, подобного не видал. Папа говорит, что когда герр Готлиб (главный садовник ботанического

сада) увидит, то у него слюнки потекут. Но самое большое счастье во всем этом, конечно, то, что никто другой, а именно он, Тема, первый увидел, что цветок расцвел. Он вскочит в столовую и крикнет во все горло:

— Махровый расцвел!

Папа бросит чай и с чубуком в руках, в своем военном виц-мундире сейчас же пройдет в сад. Он, Тема, будет бежать впереди и беспрестанно оглядываться: радуется ли папа?

Папа, наверное, сейчас же поедет к герру Готлибу — может, прикажет запрячь Гнедка, которого только что привели из деревни. Еремей (кучер, он же и дворник), высокий, одноглазый, добродушный и ленивый хохол, — Еремей говорит, что Гнедко бегаёт так шибко, что ни одна лошадь в городе его не догонит. Еремей, конечно, знает это: он каждый день ездит на Гнедке верхом на водопой. И вот сегодня в первый раз запрягут Гнедка, Гнедко побежит скоро-скоро! Все погонятся за ним — куда! Гнедка и след простыл!

А вдруг папа и Тему возьмет с собой! Какое счастье! Восторг переполняет маленькое сердце Темы. От мысли, что все это счастье произошло от этого чудного, так неожиданно распустившегося цветка, в Теме просыпается нежное чувство к цветку.

— Ми-и-ленький! — говорит он, приседая на корточки, и тянется к нему губами.

Его поза самая неудобная и неустойчивая. Он теряет равновесие, протягивает руки и...

Все погибло! Боже мой, но как же это случилось?! Может быть, можно поправить? Ведь это случилось оттого, что он не удержался, упал. Если б он немножко вот сюда уперся рукой, цветок остался бы целым. Ведь это одно мгновение, одна секунда... Постойте!.. Но время не стоит. Тема чувствует, что его точно кружит что-то, что-то точно вырывает у него то, что хотел бы он удержать, и уносит на своих крыльях — уносит совершившийся факт, оставляя Тему одного с ужасным сознанием непоправимости этого совершившегося факта.

Какой резкой, острой чертой, какой страшной, неумолимой, беспощадной силой оторвало его вдруг сразу от всего!

Что из того, что так весело поют птички, что сквозь густую листву пробивается солнце, играя на мягкой земле веселыми светлыми пятнышками, что беззаботная мошка ползет по лепестку, — вот остановилась, надувается: выпускает свои крылышки и собирается лететь куда-то, навстречу нежному, ясному дню?

Что из того, что когда-нибудь будет опять сверкать такое же веселое утро, которое он не испортит, как сегодня? Тогда будет другой мальчик — счастливый, умный, довольный. Чтоб добраться до этого другого, надо пройти бездну, разделяющую его от этого другого, надо пережить что-то страшное, ужасное. О, что бы он дал, чтобы все вдруг остановилось, чтобы всегда было это свежее, яркое утро, чтобы папа и мама всегда спали... Боже мой, отчего он такой несчастный? Отчего над ним тяготеет какой-то вечный немоллимый рок? Отчего он всегда хочет так хорошо, а выходит все так скверно и гадко?.. О, как сильно, как глубоко старается он заглянуть в себя, постигнуть причину этого. Он хочет ее понять, он будет строг и беспристрастен к себе... Он действительно дурной мальчик. Он виноват, и он должен искупить свою вину. Он заслужил наказание, и пусть его накажут. Что же делать? И он знает причину, он нашел ее! Всею виною его гадкие, скверные руки! Ведь он не хотел, руки сделали — и всегда руки. И он придет к отцу и прямо скажет ему:

— Папа, зачем тебе сердиться даром? Я знаю теперь хорошо, кто виноват, — мои руки. Отруби мне их, и я всегда буду добрый, хороший мальчик. Потому что я люблю и тебя, и маму, и всех люблю, а руки мои делают так, что я как будто никого не люблю. Мне ни капли их не жалко!

Мальчику кажется, что его доводы так убедительны, так чистосердечны и ясны, что они должны подействовать.

Но цветок по-прежнему лежит на земле... Время идет... Вот отец, встающий раньше матери, покажется, увидит, все сразу поймет, загадочно посмотрит на сына и, ни слова не говоря, возьмет его за руку и поведет... Поведет, чтоб не разбудить мать, не через террасу, а через парадный ход, прямо в свой кабинет. Затворится большая дверь, и он останется с глазу на глаз с ним.

Ах, какой он страшный, какое нехорошее у него лицо!.. И зачем он молчит, не говорит ничего?! Зачем он расстегивает свой мундир?! Какой противный этот желтенький узенький ремешок, который виднеется в складке синих штанов его! Тема стоит и, точно очарованный, впился в этот ремешок. Зачем же он стоит? Он свободен, его никто не держит, он может убежать... Никуда он не убежит. Он будет мучительно-тоскливо ждать. Отец не спеша снимет этот гадкий ремешок, сложит вдвое, посмотрит на сына; лицо отца нальется кровью, и почувствует, бесконечно сильно почувствует мальчик, что самый близкий ему человек может быть страшным и чужим, что к человеку, которого он должен и хотел бы только любить до обожания, он может пи-

тать и ненависть, и страх, и животный ужас, когда прикоснутся к его щекам мягкие, теплые ляжки отца, в которых зажимается голова мальчика.

Маленький Тема, бледный, с широко раскрытыми глазами, стоял перед сломанным цветком, и все муки, весь ужас предстоящего возмездия ярко рисовались в его голове. Все его способности сосредоточились теперь на том, чтобы найти выход, — выход во что бы то ни стало.

Какой-то шорох послышался ему по направлению от террасы. Быстро, прежде чем что-нибудь сообразить, нога мальчика решительно ступает на грядку, он хватает цветок и втискивает его в землю рядом с корнем. Для чего? Смутная надежда обмануть? Протянуть время, пока проснется мать, объяснить ей, как все это случилось, и тем отвратить предстоящую грозу? Ничего ясного не соображает Тема; он опрометью, точно его преследуют все те ведьмы и волшебники, о которых рассказывает ему по вечерам няня, убегает от злополучного места, минуя страшную теперь для него террасу — террасу, где вдруг он может увидеть грозную фигуру отца, который, конечно, по одному его виду сейчас же поймет, в чем дело.

Он бежит, и ноги бессознательно направляют его подалее от опасности. Он видит между деревьями большую площадку, посреди которой устроены качели и гимнастика и где возвышается высокий, выкрашенный зеленой краской столб для гигантских шагов, видит сестер, бонну-немку. Он делает вольт в сторону, незаметно, пригнувшись, торопливо пробирается в виноградник, огибает большой каменный сарай, выходящий в сад своими глухими стенами, перелезает ограду, отделяющую сад от двора, и, наконец, благополучно достигает кухни.

Здесь он только свободно вздыхает.

В закоптелой, обширной, но низкой кухне, устроенной в подвальном этаже, освещенной сверху маленькими окнами, все спокойно, все идет своим чередом.

Повар в грязном белом фартуке, белокурый, ленивый, молодой, из бывших крепостных, Аким, лениво собирается разводить плиту. Ему не хочется приниматься за скучную ежедневную работу, он тянет, хлопает дверцами печки, заглядывает в духовой ящик, внимательно осматривает, точно в первый раз видит, конфорки, фыркает, брюзжит, двадцать раз их то сдвигает, то опять ставит на место...

На большом некрашеном столе в беспорядке валяются грязные тарелки. Горничная Таня, молодая девушка с длинной, еще не чесанной косой, торопливо обглаживает какую-то вчерашнюю холодную кость. Еремей в углу молча

возится с концами упряжных ремней, бесконечно налаживая и пригоняя конец к концу, собираясь сшивать их приготовленными шилом и дратвой. Его жена, Настасья, толстая и грязная судомойка, громко и сердито перемывает тарелки, энергично хватая их со дна дымящейся теплой лоханки. Вытертые тарелки с шумом летят на рядом стоящую скамью. Рукава Настасьи засучены; здоровое белое тело на руках трясется при всяком ее движении, губы плотно сжаты, глаза сосредоточены и мечут искры.

Ровесник Темы — произведение Настасьи и Еремея, — толстопузый рябой Иоська, сидит на кровати, болтает ногами и пристаёт к матери, чтобы та дала ему грошик.

— Не дам, не дам, сто чортив твоей мами! — кричит отчаянно Настасья и еще плотнее стискивает свои губы, еще энергичнее сверкает глазами.

— Г-е? — тянет Иоська плаксивую монотонную ноту. — Дай грошик!

— Отчыпись, прокляте! Будь ты сказано! — кричит Настасья, точно ее режут.

Тема с завистью смотрит на эти простые, несложные отношения. Вот она, кажется, и кричит и бранится, а не боится ее Иоська. Если мать и побить его захочет, — Иоська отлично знает, когда она этого захочет, — он, вырвавшись, убежит во двор. Если мать и бросится за ним и, не догнав, станет кричать своим громким голосом, так кричать, что живот ее то и дело будет подпрыгивать кверху: «Ходи сюда, бисова дытына!», то «бисова дытына» понимает, что ходить не следует, потому что его побьют, а так как ему именно этого и не хочется, то он и не идет, но и не скрывается, инстинктивно сознавая, что очень раздражать не следует. Стоит Иоська где-нибудь поодаль и хнычет лениво и притворно, а сам зорко следит за всяким движением матери; ноги у него расставлены, сам наклонился вперед, вот-вот готов дать нового стрекача.

Мать постоит-постоит, еще сто чертей посулит себе и уйдет на кухню. Иоська фланирует, развлекается, шалит, но голод заставляет его наконец возвратиться в кухню. Подойдет к двери и пустит пробный шар:

— Г-е?!

Это нечто среднее между нахальным требованием и просьбой о помиловании, между хныканьем и криком.

— Только взойды, бодай тебе чертыка взяла! — несется из кухни.

— Г-е! — настойчивее и смелее повторяет Иоська.

Кончается все это тем, что дверь с шумом растворяется. Иоська с быстротой ветра улепетывает подальше, на поро-

ге появляется грозная мать с первым попавшимся поленом в руках, которое и летит вдогонку за блудным сыном.

Дело уже Иоськи увернуться от полена, но после этого путь к столу с объедками барской еды считается свободным.

Иоська сразу сбрасывает свой скромный облик и с видом делового человека, которому некогда тратить время на пустые формальности, прямо и смело направляется к столу.

Если по дороге он все-таки получал иной раз легкую затрещину, он за этим не гнался и, огрызнувшись каким-нибудь упрямым звуком вроде «У-у!», энергично принимался за еду.

— Иеремей, Буланку закладывай! — кричит сверху нянька. — В дрожки!

— Кто едет? — кричит снизу встрепенувшийся Тема.

— Папа и мама в город.

Это целое событие.

— Скоро едут? — спрашивает Тема.

— Одеваются.

Тема соображает, что отец торопится, значит перед отъездом в сад не пойдет, и, следовательно, до возвращения родителей он свободен от всяких взысканий. Он чувствует мгновенный подъем духа и вдохновенно кричит:

— Иоська, игратья!

Он выбегает снова в сад и теперь смело и уверенно направляется к сестрам.

— Будем игратья! — кричит он подбегает. — В индейцев?

И Тема от избытка чувств делает быстрый прыжок перед сестрами.

Пока и бонна и сестры, под предводительством старшей сестры Зины, обсуждают его предложение, он уже решает, отыскивая подходящий материал для луков. Бежать к изгороди слишком далеко, хочется скорей, сейчас... Тема выхватывает несколько прутьев, почему-то торчавших из бочки, пробует их гибкость, но они ломаются, не годятся.

— Тема! — раздается дружный вопль.

Тема замирает на мгновение.

— Это папины лозы! Что ты сделал?

Но Тема уже все и без этого сообразил; у него вихрем мелькает сознание необходимости протянуть время до отъезда, и он небрежно кричит.

— Знаю, знаю, папа приказал их выбросить — они не годятся!

И для большей убедительности он подбирает поломанные лозы и с помощью Иоськи несет их на черный двор. Зина подозрительно провожает его глазами, но Тема искусно играет свою роль — идет тихо, не спеша, вплоть до самой калитки. Но за калиткой он быстро бросает лозы; отчаяние охватывает его. Он стремительно бежит, бежит от мрачных мыслей тяжелой развязки, от туч, неизвестно откуда скопляющихся над его горизонтом. Одно с мучительной ясностью стоит в голове: поскорее бы отец и мать уезжали.

Еремей с озабоченным видом стоит около дрожек, нерешительно чешет спину, мрачно смотрит на немывтый экипаж, на засохшую грязь и окончательно теряется от мысли, что теперь делать: начинать ли мыть, подмазывать ли, или уж так запрягать? Тема волнуется, хлопочет, тащит хомут, понуждает Еремея выводить лошадь, и Еремей под таким энсргичным давлением начинает наконец запрягать.

— Не так, панычику, не так, — громко замечает флегматичный Еремей, тяготясь этой суетливой, бурной помощью.

Теме кажется, что время идет невыносимо медленно.

Наконец экипаж готов.

Еремей надевает свой кучерской парусиновый кафтан с громадным сальным пятном на животе, клеенчатую, с поломанными полями шляпу, садится на козлы, трогает, задевает обязательно за ворота, отделяющие грязный двор от чистого, и подкатывает к крыльцу.

Время бесконечно тянется. Отчего они не выходят? Вдруг не поедут?! Тема переживает мучительные минуты. Но вот парадные двери отворяются, выходят отец с матерью.

Отец, седой, хмурый по обыкновению, в белом кителе, что-то озабоченно соображает; мать в кринолине, черных нитяных перчатках без пальцев, в шляпе с широкими черными лентами. Сестры бегут из сада. Мать наскоро крестит и целует их и спохватывается о Теме; сестры ищут его глазами, но Тема с Иоськой притаились за углом, и сестры говорят матери, что Тема в саду.

— Будьте с ним ласковы.

Тема, благоразумно решивший было не показываться, стремительно выскакивает из засады и стремительно бросается к матери. Если бы не отец, он сейчас бы ей все рассказал. Но он только особенно горячо целует ее.

— Ну, довольно! — говорит ласково мать и смутно соображает, что совесть Темы не совсем чиста.

Но мысль о забытых ключах отвлекает ее.

— Ключи, ключи! — говорит она.

И все стремительно бросаются в комнаты за ключами.

Отец пренебрежительно косится на ласки сына и думает, что это воспитание выработает в конце концов из его сына какую-то противную слюнявку. Он срывает свое раздражение на Еремее.

— Буланка опять закована на правую переднюю ногу? — говорит он.

Еремей перегибается с козел и внимательно всматривается в отставленную ногу Буланки.

Тема озабоченно следит за ними глазами. Еремей прокашливается и говорит каким-то поперхнувшимся голосом:

— Мабуть, оступывся.

Ложь возмущает и бесит отца.

— Болван! — говорит он, точно выстреливает из ружья.

Еремей энергично откашливается, ерзает на козлах и молчит. Тема не понимает, за что отец бранит Еремее, и тоскливое чувство охватывает его.

— Размазня, лентяй! Грязь развел такую, что сесть нельзя!

Тема быстро окидывает взглядом экипаж.

Еремей невозмутимо молчит. Тема видит, что Еремее нечего сказать, что отец прав, и, облегченно вздыхая, чувствует удовлетворение за отца.

Ключи принесли; мать и отец сидят в экипаже, Еремей подобрал вожжи. Настасья стоит у ворот.

— Трогай! — приказывает отец.

Мать крестит детей и говорит: «Тема, не шали», и экипаж торжественно выкатывается на улицу. Когда же он исчезает из глаз, Тема вдруг ощущает такой прилив радости, что ему хочется выкинуть что-нибудь такое, чтобы все, все: и сестры, и бонна, и Настасья, и Иоська — так и ахнули. Он стоит, несколько мгновений ищет в уме чего-нибудь подходящего и ничего другого не может придумать, как стремглав выбежав на улицу, перерезать дорогу какому-то несущемуся экипажу.

Раздается общий отчаянный вопль:

— Тема, Тема, куда?!

— Тема-а! — несется пронзительный крик бонны и достигает чуткого уха матери.

Из облака пыли вдруг раздается голос матери, сразу все понявшей.

— Тема, домой!

Тема, успевший пробежать до половины дороги, останавливается, зажимает обеими руками рот, на мгновение замирает на месте, затем стремглав возвращается назад.

— А хочешь, я на Гнедке верхом поеду, как Еремей?!— мелькает в голове Темы новая идея, с которой он обращается к Зине.

— Ну да! Тебя Гнедко сбросит! — говорит пренебрежительно Зина.

Этого совершенно достаточно, чтобы у Темы явилось непреодолимое желание привести в исполнение свой план. Его сердце усиленно бьется и замирает от мысли, как поражаются все, когда увидят его верхом на Гнедке, и, выждав момент, он лихорадочно шепчет что-то Иоське. Они оба незаметно исчезают.

Препятствий нет.

В опустелой конюшне раздается ленивая, громкая еда Гнедка. Тема дрожащими руками торопливо отвязывает повод. Красивый жеребец Гнедко пренебрежительно обнюхивает маленькую фигурку и нехотя плетется за тянущим его изо всей силы Темой.

— Но, но! — возбужденно понукает его Тема, стараясь губами делать, как Еремей, когда тот выводит лошадь.

Но от этого звука лошадь пугается, фыркает, задирает голову и не хочет выходить из низких дверей конюшни.

— Иоська, подгони ее сзади! — кричит Тема.

Иоська лезет между ног лошади, но в это время Тема кричит ему:

— Возьми кнут!

Получив удар, Гнедко стрелой вылетает из конюшни и едва не вырывается из рук Темы.

Тема замечает, что Гнедко от удара кнутом взял сразу в галоп, и приказывает Иоське, когда он сядет, снова ударить лошадь.

Иоське одно удовольствие лишний раз хлестнуть лошадь.

Гнедко торжественно выводится с черного на чистый двор и подтягивается к близстоящей водовозной бочке. В последний момент к Иоське возвращается благоразумие.

— Упадете, панычику! — нерешительно говорит он.

— Ничего, — отвечает Тема с пересохшим от волнения горлом. — Ты только, как я сяду, крепко ударь ее, чтобы она сразу в галоп пошла. Тогда легко сидеть.

Тема, стоя на бочке, подбирает поводья, опирается руками на холку Гнедка и легко вспрыгивает ему на спину.

— Дети, смотрите! — кричит он, захлебываясь от удовольствия.

— Ай, ай, смотрите! — в ужасе взвизгивают сестры, бросаясь к ограде.

— Бей! — командует, не помня себя от восторга, Тема.

Иоська изо всей силы вытягивает кнутом жеребца. Лошадь, как ужаленная, мгновенно подбегает и делает первый произвольный скачок к улице, куда мордой она была поставлена, но затем, сообразив, она взвизгивает на дыбы, круто на задних ногах делает поворот и полным карьером несется назад, в конюшню.

Теме, каким-то чудом удержавшемуся при этом маневре, некогда рассуждать. Перед ним ворота черного двора, он вовремя успевает наклонить голову, чтобы не разбить ее о перекладину, и вихрем влетает на черный двор.

Здесь ужас его положения обрисовывается ему с неумолимой ясностью.

Он видит в десяти сажнях перед собой высокую каменную стену конюшни и маленькую темную отворенную дверь и сознает, что разобьется о стену, если лошадь влетит в конюшню. Инстинкт самосохранения удесяттеряет его силы, он натягивает, как может, левый повод, лошадь сворачивает с прямого пути, налетает на торчащее дышло, спотыкается, падает смаху на землю, а Тема летит дальше и распластывается у самой стены, на мягкой, теплой куче навоза. Лошадь вскакивает и влетает в конюшню. Тема тоже вскакивает, запирает за нею дверь и оглядывается.

Теперь, когда все благополучно миновало, ему хочется плакать, но он видит в воротах бонну, сестер и соображает по их вытянувшимся лицам, что они все видели. Он бодрится, но руки его дрожат; на нем лица нет, улыбка выходит какой-то жалкой, болезненной гримасой.

Град упреков сыплется на его голову, но в этих упреках он чувствует некоторое уважение к себе, удивление к его молодечеству и мирится с упреками. Непривычная мягкость, с какой Тема принимает выговоры, успокаивает всех.

— Ты испугался! — пристаёт к нему Зина. — Ты бледен, как стена, выпей воды, помочи голову.

Тему торжественно ведут опять к бочке и мочат голову. Между ним, бонной и сестрой устанавливаются дружеские, миролюбивые отношения.

— Тема, — говорит ласково Зина, — будь умным мальчиком, не распускай себя. Ты ведь знаешь свой характер, ты видишь: стоит тебе разойтись, тогда уж ты не удержишь себя и наделаешь чего-нибудь такого, чему и сам не будешь рад потом.

Зина говорит ласково, мягко, просит.

Теме это понятно: он сознает, что в словах сестры все — голая правда, и говорит:

— Хорошо, я не буду шалить.

Но маленькая Зина, хотя на год всего старше своего брата, уже понимает, как тяжело будет брату сдержать свое слово.

— Знаешь, Тема, — говорит она как можно вкрадчивее. — ты лучше всего дай себе слово, что ты не будешь шалить. Скажи: любя папу и маму, я не буду шалить.

Тема морщится.

— Тема, тебе же лучше! — подъезжает Зина. — Ведь никогда еще папа и мама не присажали без того, чтобы не наказать тебя. И вдруг придут сегодня и узнают, что ты не шалпл!

Просительная форма подкупает Тему.

— Как люблю папу и маму, я не буду шалить.

— Ну вот, умница, — говорит Зина. — Смотри же, Тема, — уже строгим голосом продолжает сестра, — грех тебе будет, если ты обманешь. И даже потихоньку нельзя шалить, потому что господь все видит, и если папа и мама не накажут, бог все равно накажет.

— Но играть можно?

— Все то можно, что фрейлейн скажет — можно, а что фрейлейн скажет — нельзя, то уже грех.

Тема недоверчиво смотрит на бонну и насмешливо спрашивает:

— Значит, фрейлейн святая?

— Вот видишь, ты уж глупости говоришь! — замечает сестра.

— Ну, хорошо! Будем играть в индейцев! — говорит Тема.

— Нет, в индейцев опасно без мамы: ты разойдешься.

— А я хочу в индейцев! — настаивает Тема, и в его голосе слышится капризное раздражение.

— Ну, хорошо! Спроси у фрейлейн — ведь ты обещал, как папу и маму любишь, слушаться фрейлейн!

Зина становится так, чтобы только фрейлейн видела ее лицо, а Тема — нет.

Тема все ж таки видит, как Зина делает невозможные гримасы фрейлейн, он смеется и кричит:

— Э, так нельзя!

Он бросается к фрейлейн, хватая ее за платье и старается повернуть от сестры. Фрейлейн смеется.

Зина энергично подбегает к брату, кричит: «Оставь фрейлейн!», а сама в то же время старается стать так, чтобы фрейлейн видела ее лицо, а брат не видел. Тема понимает маневр, хохочет, хватая за платье сестру и делает попытку поворотить ее лицо к себе.

— Пусти! — отчаянно кричит сестра и тянет свое платье.

Тема еще больше хохочет и не выпускает сестрино платье, держась другой рукой за платье бонны. Зина вырывается изо всей силы. Вдруг юбка фрейлейн с шумом разрывается пополам, и взбешенная бонна кричит:

— Думмер кнабе!¹

Тема считает, что, кроме матери и отца, никто не смеет его ругать. Озадаченный и сконфуженный неожиданным оборотом дела, но возмущенный, он, не задумываясь, отвечает:

— Ты сама!

— Ах! — взвизгивает фрейлейн.

— Тема, что ты сказал?! — подлетает сестра. — Ты знаешь, как тебе за это достанется?! Проси сейчас прощения!!

Но требование — плохое оружие с Темой; он окончательно упирается и отказывается просить прощения. Доводы не действуют.

— Так ты не хочешь?! — угрожающим голосом спрашивает Зина.

Тема трусит, но самолюбие берет верх.

— Так вот что: уйдем от него все, пусть он один останется.

Все, кроме Иоськи, уходят от Темы.

Сестра идет и беспрестанно оглядывается: не раскаялся ли Тема? Но Тема явного раскаяния не обнаруживает. Хотя сестра и видит, что Тему кошки скребут, но этого, по ее мнению, мало. Ее раздражает упорство Темы. Она чувствует, что еще капельку — и Тема сдастся. Она быстро возвращается, хватая Иоську за рукав и говорит повелительно:

-- Уходи и ты, пусть он совсем один останется!

Неудачный маневр.

Тема кидается на нее, толкает так, что она летит на землю, и кричит:

— Убирайся к черту!

Зина испускает страшный вопль, поднимается на руки, некоторое время не может продолжать кричать от схвативших ее горловых спазм и только судорожно поводит глазами.

Тема в ужасе пятится. Зина испускает наконец новый отчаянный крик, но на этот раз Теме кажется, что крик не совсем естественный, и он говорит:

— Притворяйся, притворяйся!

¹ Глупый мальчик! (немецк.)

Зину поднимают и уводят; она хромает. Тема внимательно следит и остается в мучительной неизвестности: действительно ли Зина хромает, или только притворяется?

— Пойдем, Иоська! — говорит он, подавляя вздох.

Но Иоська говорит, что он боится и уйдет на кухню.

— Иоська, — говорит Тема, — не бойся: я все сам расскажу маме.

Но кредит Темы в глазах Иоськи подорван. Он молчит, и Тема чувствует, что Иоська ему не верит. Тема не может остаться без поддержки друга в такую тяжелую для себя минуту.

— Иоська, — говорит он взволнованно, — если ты не уйдешь от меня, я после завтрака принесу тебе сахару.

Это меняет положение вещей.

— Сколько кусков? — спрашивает нерешительно Иоська.

— Два, три, — обещает Тема.

— А куда пойдешь?

— За горку, — отвечает Тема, выбирая самый дальний угол сада.

Он понимает, что Иоська не желал бы теперь встретиться с барышнями.

Они огибают двор, перелезают ограду и идут по самой отдаленной дорожке.

Тема взволнован и переполнен всевозможными чувствами.

Иоська, — говорит он, — какой ты счастливый, что у тебя нет сестер! Я хотел бы, чтобы у меня ни одной сестры не было. Если б они умерли все вдруг, я ни капельки не плакал бы о них. Знаешь, я попросил бы, чтобы тебя сделали моим братом. Хорошо?

Иоська молчит.

— Иоська, — продолжает Тема, — я тебя ужасно люблю... так люблю, что что хочешь со мной делай...

Тема напряженно думает, чем доказать Иоське свою любовь.

— Хочешь, зарой меня в землю... или, хочешь, плюнь на меня.

Иоська озадаченно глядит на Тему.

— Милый, голубчик, плюнь... Милый, дорогой...

Тема бросается Иоське на шею, целует его, обнимает и умоляет плюнуть.

После долгих колебаний Иоська осторожно плюет на кончик Теминой рубахи.

Край рубахи с плевком Тема поднимает к лицу и растирает по своей щеке.

Иоська пораженно и сконфуженно смотрит...

Тема убежденно говорит:

— Вот... вот как я тебя люблю!

Друзья подходят к кладбищенской стене, отделяющей дом от старого заброшенного кладбища.

— Иоська, ты боишься мертвецов? — спрашивает Тема.

— Боюсь, — говорит Иоська.

Тема предпочел бы похвастаться тем, что он ничего не боится, потому что его отец ничего не боится и что он хочет ничего не бояться, но в такую торжественную минуту он чистосердечно признается, что тоже боится.

— Кто ж их не боится? — раздражается красноречивой тирадой Иоська. — Тут хоть самый первый генерал приди, как они ночью повазятся да рассядутся по стенкам, так и тот убежит. Всякий убежит. Тут побежишь, как за ноги да за плечи тебя хватать станет или вскочит на тебя, да и ну колотить ногами, чтобы вез его, да еще перегнется, да зубы и оскалит; у другого половина лица выгнила, глаз нет. Тут забоишься! Хоть какой, и то...

— Артемий Николаевич! завтракать! — раздается по саду молодой, звонкий голос горничной Тани.

Из-за деревьев мелькает платье Тани.

— Пожалуйста завтракать, — говорит горничная, ласково и фамильярно обхватывая Тему.

Таня любит Тему. Она в чистом, светлом ситцевом **платье**; от нее несет свежестью, густая коса ее аккуратно расчесана, добрые карие глаза смотрят весело и мягко.

Она дружелюбно ведет за плечи Тему, наклоняется к его уху и вселимым шепотом говорит:

-- Немка плакала!

Немку, несмотря на ее полную безобидность, прислуга не любит.

Тема вспоминает, что в его столкновении с боинной у него союзники вся дворня, — это ему приятно, он чувствует подъем духа.

— Она назвала меня дураком. Разве она смеет?

— Конечно, не смеет. Папаша ваш — генерал, а она что? Дрянь какая-то. Зазналась!

— Правда, когда я маме скажу все, меня не накажут?

Таня не хочет огорчать Тему; она еще раз наклоняется и еще раз его целует, гладит его густые золотистые волосы.

За завтраком обычная история: Тема почти ничего не ест. Перед ним лежит на тарелке котлетка, он косится на нее и лениво пощипывает хлеб. Так как с ним никто не говорит, то обязанность уговаривать его есть добровольно берет на себя Таня.

— Артемий Николаевич, кушайте!

Тема только сдвигает брови.

В Зине борется гнев к Теме с желанием, чтобы он ел.

Она смотрит в окошко и, ни к кому особенно не обращаясь, говорит:

— Кажется, мама едет!

— Артемий Николаевич, скорей кушайте, — шепчет испуганно Таня.

Тема в первое мгновение поддается на удочку и хватается вилку, но, убедившись, что тревога ложная, опять кладет вилку на стол.

Зина снова смотрит в окно и замечает:

— После завтрака всем, кто хорошо ел, будет сладкое.

Теме хочется сладкого, но не хочется котлеты.

Он начинает привередничать. Ему хочется налить на котлетку прованского масла.

Таня уговаривает его, что масло не идет к котлетке.

Но ему именно так хочется, и так как ему не дают судка с маслом, он сам лезет за ним. Зина не выдерживает: она не может переваривать его капризов, быстро вскакивает, хватается судок с маслом и держит его в руке под столом.

Тема садится на место и делает вид, что забыл о масле. Зина зорко следит и наконец ставит судок на стол возле себя. Но Тема улавливает подходящий момент, стремительно бросается к судку, Зина схватывает с другой стороны, и судок летит на пол, разбиваясь вдребезги.

— Это ты! — кричит сестра.

— Нет, ты!

— Это тебя бог наказал за то, что ты папу и маму не любишь.

— Неправда, я люблю! — кричит Тема.

— Ляссен зи ин!¹ — говорит бонна и встает из-за стола.

За ней встают все, и начинается раздача пастилы. Когда очередь доходит до Темы, бонна колеблется. Наконец она отламывает меньшую против других порцию и молча кладет перед Темой.

Тема возмущенно толкает свою порцию, и она летит на пол.

— Очень мило, — говорит Зина. — Мама все будет знать!

Тема молчит и начинает ходить по комнате. Зину интересует: отчего сегодня Тема не убегает, по обыкновению, сейчас после завтрака? Сначала она думает, что Тема хочет просить прощения у бонны, и уже вступает в свои пра-

¹ Оставьте его! (немецк.)

ва: она доказывает, что теперь уже поздно, что после этого сделано еще столько...

— Убирайся вон! — перебивает грубо Тема.

— И это мама будет знать! — говорит Зина и окончательно становится в тупик: зачем он не уходит?

Тема продолжает упорно ходить по комнате и наконец достигает своего: все уходят, он остается один. Тогда он мгновенно кидается к сахарнице и запускает в нее руку...

Дверь отворяется. На пороге появляются бонна и Зина. Он бросает сахарницу и стремглав выскакивает на террасу.

Теперь все погребло! Такой поступок, как воровство, даже мать не простит!

К довершению несчастья собирается гроза. По небу полезли со всех сторон тяжелые грозовые тучи; солнце исчезло; как-то сразу потемнело; в воздухе запахло дождем. Ослепительной змейкой блеснула молния, над самой головой оглушительными раскатами прокатился гром. На минуту все стихло, точно притаилось, выжидая. Что-то зашумело — ближе, ближе, и первые тяжелые, большие капли дождя упали на землю. Через несколько мгновений все превратилось в сплошную серую массу. Целые реки полились сверху. Была настоящая южная гроза.

Волей-неволей надо бежать в комнаты, и так как вход туда Иоське воспрещен, то Теме приходится остаться одному, наедине со своими грустными мыслями.

Скучно. Время бесконечно тянется.

Тема уселся на окно в детской и уныло следил, как потоки воды стекали по стеклам, как постепенно двор наполнялся лужами, как бульки и пузыри точно прыгали по мутной и грязной поверхности.

— Артемий Николаевич, кушать хотите? — спросила, появляясь в дверях, Таня.

Теме давно хотелось есть, но ему было лень оторваться.

— Хорошо, только сюда принести хлеба и масла.

— А котлетку?

Тема отрицательно замотал головой.

В ожидании Тема продолжал смотреть в окно. Потому ли, что ему не хотелось оставаться наедине со своими мыслями, потому ли, что ему было скучно и он придумывал, чем бы ему еще развлечься, или, наконец, по общечеловеческому свойству вспоминать о своих друзьях в тяжелые минуты жизни, Тема вдруг вспомнил о своей Жучке. Он вспомнил, что целый день не видал ее. Жучка никогда никуда не отлучалась.

Теме пришли вдруг в голову таинственные недружелюбные намеки Акима, не любившего Жучку за то, что она

таскала у него провизию. Подозрение закралось в его душу. Он быстро слез с окна, пробежал детскую, соседнюю комнату и стал спускаться по крутой лестнице, ведущей в кухню. Этот ход был строго-настрого воспрещен Теме (за исключением тех дней, когда бралась ванна) ввиду возможности падения. Но теперь Теме было не до того.

— Аким, где Жучка? — спросил Тема, войдя в кухню.

— А я откуда знаю! — отвечал Аким, тряхнув своими курчавыми волосами.

— Ты не убивал ее?

— Ну вот, стану я руки марать об этакую дрянь!

— Ты говорил, что убьешь ее?

— Ну! А вы и поверили? Так, шутил.

И, помолчав немного, Аким проговорил самым естественным голосом:

— Лежит где-нибудь, притаившись от дождя. Да вы разве ее не видали ссегодня?

— Нет, не видал.

— Не знаю. Польстился разве кто, украл?

Тема было совсем поверил Аким, но последнее предположение опять смутило его.

— Кто же ее украдет? Кому она нужна? — спросил он.

— Да никому, положим, — согласился Аким. — Дрянная собачонка!

— Побожись, что ты ее не убил! — И Тема впился глазами в Акима.

— Да что вы, панычику? Да ей-богу же, я ее не убивал! Что ж, вы мне не верите?

Теме стало неловко, и он проговорил, ни к кому особенно не обращаясь.

— Куда ж она девалась?

И так как ответа никакого не последовало, то Тема, оглянувши еще раз Акима и всех присутствовавших, причем заметил лукавый взгляд Иоськи, свесившегося с печки и с любопытством наблюдавшего всю сцену, возвратился наверх.

Он опять уселся на окно в детской и все думал: куда могла деваться Жучка?

Перед ним живо рисовалась Жучка, тихая, безобидная Жучка, и мысль, что ее могли убить, наполнила его сердце такой горечью, что он не выдержал, отворил окно и стал звать изо всей силы:

— Жучка, Жучка! На, на, на! Цу-цу! Цу-цу! Фью, фью, фью!

В комнату ворвался шум дождя и свежий, сырой воздух. Жучка не отзывалась.

Все неудачи дня, все пережитые невзгоды, все предстоящие ужасы и муки, как возмездие за сделанное, отодвинулись на задний план перед этой новой бедой: лишиться Жучки.

Мысль, что он больше не увидит своей курчавой Жучки, не увидит больше, как она при его появлении будет жалостно визжать и ползти к нему на брюхе, мысль, что, может быть, уж больше ее нет на свете, переполняла душу Темы отчаянием, и он тоскливо продолжал кричать:

— Жучка! Жучка!

Голос его дрожал и вибрировал, звучал так нежно и трогательно, что Жучка должна была отозваться.

Но ответа не было.

Что делать? Надо немедленно искать Жучку.

Вошедшая Таня принесла хлеб.

— Подожди, я сейчас приду.

Тема опять спустился по лестнице, которая вела на кухню, осторожно пробрался мимо дверей, узким коридором достиг выхода, некоторое время постоял в раздумье и выбежал во двор.

Осмотрев черный двор, он заглянул во все любимые закоулки Жучки, но Жучки нигде не было. Последняя надежда! Он бросился к воротам заглянуть в будку цепной собаки. Но у самых ворот Тема услышал шум колес подъехавшего экипажа и, прежде чем что-нибудь сообразить, столкнулся лицом к лицу с отцом, отворявшим калитку. Тема опрометью бросился к дому.

II. НАКАЗАНИЕ

Коротенькое следствие обнаруживает, по мнению отца, полную несостоятельность системы воспитания сына. Может быть, для девочек она и годится, но натуры мальчика и девочки — вещи разные. Он по опыту знает, что такое мальчик и чего ему надо. Система?! Дрянь, тряпка, негодяй выйдет по этой системе. Факты налицо, грустные факты — воровать начал. Чего еще дожидаться? Публичного позора? Так прежде он сам его своими руками задушит. Под тяжестью этих доводов мать уступает, и власть на время переходит к отцу.

Двери кабинета плотно затворяются.

Мальчик тоскливо, безнадежно оглядывается. Ноги его совершенно отказываются служить, он топчется, чтобы не упасть. Мысли вихрем, с ужасающей быстротой несутся в его голове. Он напрягается изо всех сил, чтобы вспомнить то, что он хотел сказать отцу, когда стоял перед цветком.

Надо торопиться. Он глотает слюну, чтобы смочить пересохшее горло, и хочет говорить прочувствованным, убедительным тоном:

— Милый папа, я придумал... я знаю, что я виноват... Я придумал: отруби мои руки!..

Увы! То, что казалось так хорошо и убедительно там, когда он стоял перед сломанным цветком, здесь выходит очень неубедительно. Тема чувствует это и прибавляет для усиления впечатления новую, только что пришедшую ему в голову комбинацию:

— Или отдай меня разбойникам!

— Ладно, — говорит сурово отец, окончив необходимые приготовления и направляясь к сыну. — Расстегни штаны...

Это что-то новое?! Ужас охватывает душу мальчика; руки его, дрожа, зарыскивают пуговицы штанишек; он испытывает какое-то болезненное замирание, мучительно роется в себе, что еще сказать, и, наконец, голосом, полным испуга и мольбы быстро, несвязно и горячо говорит:

— Милый мой, дорогой, голубчик... Папа! Папа! Голубчик.. Папа, милый папа, постой! Папа?! Ай, ай, ай! Аяяяй!..

Удары сыплются. Тема извивается, визжит, ловит сухую, жилистую руку, страстно целует ее, молит. Но что-то другое рядом с мольбой растет в его душе. Не целовать, а бить, кусать хочется ему эту противную, гадкую руку. Ненависть, какая-то дикая, жгучая злоба охватывает его.

Он бешено рвется, но железные тиски еще крепче сжимают его.

— Противный, гадкий, я тебя не люблю! — кричит он с бессильной злобой.

— Полюбишь!

Тема яростно впивается зубами в руку отца.

— Ах ты, змееныш!

И ловким поворотом Тема на диване, голова его в подушке. Одна рука придерживает, а другая продолжает хлестать извивающегося, рычащего Тему.

Удары глухо сыплются один за другим, отмечая рубец за рубцом на маленьком посинелом теле.

С помертвелым лицом ждет исхода мать, сидя одна в гостиной. Каждый вопль рвет ее за самое сердце, каждый удар терзает до самого дна ее душу.

Ах! Зачем она опять дала себя убедить, зачем связала себя словом не вмешиваться и ждать?

Но разве он смел так связать ее словом?! И, наконец, он, сам увлекающийся, он может и не заметить, как забьет мальчика! Боже мой! Что это за хрип?

Ужас наполняет душу матери.

— Довольно, довольно! — кричит она, врываясь в кабинет. — Довольно!..

— Полюбуйся, каков твой звереныш! — сует ей отец прокушенный палец.

Но она не видит этого пальца. Она с ужасом смотрит на диван, откуда слезает в это время растрепанный, жалкий, огаженный звереныш и дико, с инстинктом зверя, о котором на минуту забыли, пробирается к выходу. Мучительная боль пронизывает мать. Горьким чувством звучат ее слова, когда она говорит мужу:

— И это воспитание?! Это знание природы мальчика? Превратить в жалкого идиота ребенка, вырвать его человеческое достоинство — это воспитание?

Желчь охватывает ее. Вся кровь приливает к ее сердцу. Острой, тонкой сталью впивается ее голос в мужа:

— О жалкий воспитатель! Щенков вам дрессировать, а не людей воспитывать!

— Вон! — ревет отец.

— Да, я уйду, — говорит мать, останавливаясь в дверях, — но объявляю вам, что через мой труп вы перешагнете, прежде чем я позволю вам еще раз высечь мальчика.

Отец не может прийти в себя от неожиданности и негодования. Не скоро успокаивается он и долго еще мрачно ходит по комнате, пока наконец не останавливается возле окна, рассеянно всматривается в заволакиваемую ранними сумерками серую даль и возмущенно шепчет:

— Ну, извольте вы тут с бабами воспитывать мальчика!

III. ПРОЩЕНИЕ

В то же время мать проходит в детскую, окидывает ее быстрым взглядом, убеждается, что Темы здесь нет, идет дальше, пытливо всматривается на ходу в отворенную дверь маленькой комнаты, замечает в ней маленькую фигурку Темы, лежащего на диване с уткнувшимся лицом, проходит в столовую, отворяет дверь в спальню и сейчас же плотно затворяет ее за собой.

Оставшись одна, она тоже подходит к окну, смотрит и не видит темнеющую улицу. Мысли роем носятся в ее голове.

Пусть Тема так и лежит, пусть придет в себя, надо его теперь совершенно предоставить себе... Белье бы переменить... Ах, боже мой, боже мой, какая страшная ошибка! Как могла она допустить это? Какая гнусная гадость! Точ-

но ребенок сознательный негодяй! Как не понять, что если он делает глупости, шалости, то делает только потому, что не видит дурной стороны этой шалости. Указать ему эту дурную сторону, не с своей, конечно, точки зрения взрослого человека, а с его, детской, не себя убедить, а его убедить, задеть самолюбие, опять-таки его детское самолюбие, его слабую сторону, сумеет добиться этого — вот задача правильного воспитания.

Сколько времени надо, пока все это опять войдет в колею, пока ей удастся опять подобрать все эти тонкие, неуловимые нити, которые связывают ее с мальчиком, нити, которыми она втягивает, так сказать, этот живой огонь в рамки повседневной жизни, втягивает, щадя и рамки, щадя и силу огня — огня, который со временем ярко согреет жизнь соприкоснувшихся с ним людей, за который тепло поблагодарят ее когда-нибудь люди. Он, муж, конечно, смотрит с точки зрения своей, солдатской, дисциплины, — его самого так воспитывали, ну, и сам он готов сплеча обрубить все сучки и задоринки молодого деревца, обрубить, даже не сознавая, что рубит с ними будущие ветки...

Няня маленькой Ани просовывает свою по-русски повязанную голову.

— Аню перекрестить...

— Давай! — И мать крестит девочку.

— Артемий Николаевич в комнате? — спрашивает она няню.

— Сидят у окошка.

— Свечка есть?

— Потушили. Так, в темноте сидят.

— Заходила к нему?

— Заходила... Куды!.. Эх!.. — Но няня удерживается, зная, что барыня не любит пытья.

— А больше никто не заходил?

— Таня еще... кушать носила.

— Ел?

— И-и! Боже упаси, и смотреть не стал... Целый день не емши. За завтраком маковой росинки не взял в рот

Няня вздыхает и, понижая голос, говорит:

— Белье бы ему переменить да обмыть... Это ему, поди, теперь пуще всего зазорно...

— Ты говорила ему о белье?

— Нет... Куда!.. Как только наклонилась было, а он этак плечиком как саданет меня... Вот Таню разве послушает.

— Ничего не надо говорить... Никто ничего не замечайте... Прикажи, чтобы приготовили обе ванны поскорее

для всех, кроме Ани... Позови бонну... Смотри, никакого внимания...

— Будье спокойны, — говорит сочувствующим голосом няня.

Входит фрейлейн.

Она очень жалеет, что все так случилось, но с мальчиком ничего нельзя было сделать...

— Сегодня дети берут ванну, — сухо перебивает мать. — Двадцать два градуса.

— Зер гут¹, мадам, — говорит фрейлейн и делает книксен.

Она чувствует, что мадам недовольна, но ее совесть чиста. Она не виновата: фрейлейн Зина свидетельница, что с мальчиком нельзя было справиться. Мадам молчит. Бонна знает, что это значит. Это значит, что ее оправдания не приняты.

Хотя она очень дорожит местом, но ее совесть спокойна. И, в сознании своей невинности, она скромно, но с чувством оскорбленного достоинства берет за ручку.

— Позовите Таню.

— Зер гут, мадам, — отвечает бонна и уже за дверями делает книксен.

В последней нотке мадам бонна услышала что-то такое, что возвращает ей надежду удержать за собой место, и она воскресшим голосом говорит:

— Таню, бариня идить!

Таня оправляется и входит в спальню.

Таня всегда купает Тему. Летом, в те дни, когда детей не мылили, ему разрешалось самому купаться, без помощи Тани, и это доставляло Теме всегда громадное удовольствие: он купался, как папа, один.

— Если Артемий Николаевич пожелает купаться один, пусть купается. Перед тем как вести его в ванную, положи на стол кусок хлеба — не отрезанный, а так, отломанный, как будто нечаянно его забыли. Понимаешь?

Таня все давно поняла и весело и ласково отвечает:

— Понимаю, сударыня!

— Купаться будут все: сначала барышни, а потом Артемий Николаевич. Ванну на двадцать два градуса. Ступай!

Но тотчас же мать снова позвала Таню и прибавила:

— Таня, перед тем как поведешь Артемия Николаевича, убавь в ванной свет в лампе так, чтобы был полумрак. И поведешь его не через детскую, а прямо через девичью...

¹ Очень хорошо (немецк.)

И чтоб никого в это время не было, когда он будет идти. В девичьей тоже убавь свет.

— Слушаю-с.

Купанье — всегда событие и всегда приятное. Но на этот раз в детское оживление слабое. Дети находятся под влиянием наказания брата, а главное — нет поджигателя обычного возбуждения, Темы. Дети идут как-то лениво, купанье какое-то неудачное, поспешное, и через двадцать минут они уже в белых чепчиках гуськом возвращаются назад в детскую.

Под дыханием мягкой южной ночи мать Темы возбужденно ходит по комнате.

По свойству своей оптимистической природы она не хочет больше думать о настоящем: оно будет исправлено, ошибка не повторится — и довольно.

Чтобы развлечь себя, она вышла на террасу подышать свежим воздухом. Она видит в окно возвращающееся из ванной шествие и останавливается.

Вот впереди идет Зина — требовательный к себе и другим суровый, жгучий исполнитель воли. Девочка загадочно-непреклонно смотрит своими черными, как ночь юга, глазами и точно видит уже где-то далеко какой-то ей одной ведомый мир.

Вот тихая, сосредоточенная, болезненная Наташа смотрит своими вдумчивыми глазами, пытливо чуя и отыскивая те тонкие, неуловимые звуки, которые, собранные терпеливо и нежно, чудно зазвучат со временем близким сладкою песнью любви и страданий.

Вот Маня — ясное майское угро, готовая всех согреть, осветить своими блестящими глазами.

Сережик — «глубокий философ», маленький Сережик, только что начинающий настраивать свой сложный маленький механизм, только что пробующий трогать его струны и чутко прислушивающийся к этим тонким, протяжным отзвучьям, — невольно манит к себе.

— Эт-та что? — медленно, певуче тянет он и так же медленно поднимает свой маленький пальчик.

— Синее небо, мой милый!

— Эт-та что?

— Небо, мой крошка, небо, малютка, недостижимое синее небо, куда вечно люди смотрят, но вечно ходят по земле.

Вот и Аня поднялась с своей кровати навстречу идущим — крошечная Аня, маленький вопросительный знак, с теплыми веселыми глазками.

А вот промелькнула в девичьей фигура ее набедокурившего баловня — живого как огонь, подвижного как ртуть, неуравновешенного, вечно взбудораженного, возбужденного, впечатлительного, безрассудного сына. Но в этой сутолоке чувств сидит горячее сердце.

Продолжая гулять, мать обошла террасу и пошла к ванной.

Шествие при входе в детскую заключает маленький Сережик, с откинутыми ручонками, как-то потешно ковыляющий на своих коротеньких ножках.

— А папа Тему би-й, — говорит он, вспоминая почему-то о наказании брата.

— Тс! — подлетает к нему стремительно Зина, строго соблюдавшая установленное матерью правило, что о наказаниях, постигших виновных, не имеют права вспоминать.

Но Сережик еще слишком мал. Он знать не желает никаких правил и потому снова начинает:

— А папа...

— Молчи! — зажимает ему рот Зина.

Сережик уже собирает в хорошо ему знакомую гримасу лицо, но Зина начинает быстро, горячо нашептывать брату что-то на ухо, указывая на двери соседней комнаты, где сидит Тема. Сережик долго недоверчиво смотрит, не решаясь распротиться с сделанной гримасой и извлечь готовый уже вопль, но в конце концов уступает сестре, идет на компромисс и соглашается смотреть картинки зоологического атласа.

— Артемий Николаевич, пожалуйста! — говорит веселым голосом Таня, створяя дверь маленькой комнаты со стороны девичьей.

Тема молча встает и стесненно проходит мимо Тани.

— Одни или со мной? — беспечно спрашивает она вдогонку.

— Один, — отвечает быстро, уклончиво Тема и спешит пройти девичью.

Он рад полумраку. Он облегченно вздыхает, когда затворяет за собой дверь ванной. Он быстро раздевается и лезет в ванну. Обмывшись, он вылезает, берет свое грязное белье и начинает полоскать его в ванне. Ему кажется, он умер бы со стыда, если бы кто-нибудь узнал, в чем дело; пусть лучше будет мокрое. Кончив свою стирку, Тема скомкивает в узел белье и ищет глазами, куда бы его сунуть; он засовывает наконец свой узел за старый, запыленный комод. Успокоенный, он идет одеваться, и глаза его наталкиваются на кусок, очевидно, забытого кем-то хлеба. Мальчик с жадностью кидается на него, так как

целый день ничего не ел. Годы берут свое; он сидит на скамейке, болтает ножками и с наслаждением ест. Всю эту сцену видит мать и взволнованно отходит от окна. Она гонит от себя впечатление этой сцены, потому что чувствует, что готова расплакаться. Она освежает лицо, поворачиваясь навстречу мягкому южному ветру, стараясь ни о чем не думать.

Кончив есть, Тема встал и вышел в коридор. Он подошел к лестнице, ведущей в комнаты, остановился на мгновение, подумал, прошел мимо по коридору и, поднявшись на крыльцо, нерешительно вполголоса позвал:

— Жучка, Жучка!

Он подождал, послушал, вдохнул в себя аромат личного дерева, потянулся за ним и, выйдя во двор, стал пробираться к саду.

Страшно! Он прижался лицом между двух стоек ограды и замер, охваченный весь каким-то болезненным утомлением.

Ночь после бури.

Чем-то волшебным рисуется в серебристом сиянии луны сад. Разорванно пробегают в далеком голубом небе последние влажные облака. Ветер точно играет в пустом пространстве между садом и небом. Беседка задумчиво смотрит на горке. А вдруг мертвецы, соскучившись сидеть на стене, забрались в беседку и смотрят оттуда на Тему? Как-то таинственно-страшно молчат дорожки. Деревья шумят, точно шепчут друг другу: «Как страшно в саду!» Вот что-то черное беззвучно будто промелькнуло в кустах. на Жучку похоже! А может быть, Жучки давно и нет? Как жутко вдруг стало! А там что белеет? Кто-то идет по террасе.

— Артемий Николаевич, — говорит, отворяя калинку и подходя к нему, Таня, — спать пора.

Тема точно просыпается.

Он непрочь, он устал, но перед сном надо идти прощаться, надо пожелать спокойной ночи маме и папе. Ох, как не хочется! Он сжал судорожно-крепко руками перила ограды и еще плотнее прильнул к ним лицом.

— Артемий Николаевич, Темочка, милый мой барин, — говорит Таня и целует руки Темы, — идите к мамаше! Идите, мой милый, дорогой, — говорит она, мягко отрывая и увлекая его за собой, осыпая на ходу поцелуями.

Он в спальне у матери.

Только лампочка льет из киота свой неровный, трепетный свет, слабо освещая предметы.

Он стоит на ковре. Перед ним в кресле сидит мать и что-то говорит ему. Тема точно во сне слушает ее слова, они безучастно летают где-то возле его ума. Зато на маленькую Зину, подслушивающую у двери, речь матери бесконечно сильно действует своей убедительностью. Она не выдерживает больше и, когда до нее долетают вдруг слова матери: «а если тебе не жаль, значит ты не любишь маму и папу», врывается в спальню и начинает горячо:

— Я говорила ему...

— Как ты смела, скверная девчонка, подслушивать?!

И «скверная девчонка», подхваченная за руку, исчезает мгновенно за дверью. Это изгнание его маленького врага пробуждает Тему. Он опять живет всеми нервами своего организма. Все горе дня встает перед ним. Он весь проникается сознанием зла, нанесенного ему сестрой. Обидное чувство, что его никто не хочет выслушать, что к нему несправедливы, охватывает его.

— Все только слушают Зину... Все целый день на меня нападают, меня никто не-е любит и никто не хо-о-чет вы-слу-у...

И Тема горько плачет, закрывая руками лицо.

Долго плачет Тема, но горечь уже вылита.

Он передал матери всю повесть грустного дня, как она слагалась роковым образом. Его глаза распухли от слез; он нервно вздрагивает и нет-нет всхлипывает тройным вздохом. Мать, сидя с ним на диване, ласково гладит его густые волосы и говорит ему:

— Ну, будет, будет... мама не сердится больше... мама любит своего мальчика... мама знает, что он будет у нее хороший, любящий, когда поймет только одну маленькую, очень простую вещь. И Тема может ее уже понять. Ты видишь, сколько горя с тобой случилось, а как ты думаешь, отчего? А я тебе скажу: оттого, что ты еще маленький трус...

Тема, ждавший всяких обвинений, но только не этого, страшно поражен и задет этим неожиданным выводом.

— Да, трус! Ты весь день боялся правды. И из-за того, что ты боялся, все беды твои и случились. Ты сломал цветок. Чего ты испугался? Пойти сказать правду сейчас же. Если б даже тебя и наказали, то ведь, как теперь сам видишь, тем, что не сказал правды, наказания не избег. Тогда как, если бы ты правду сказал, тебя, может быть, и не наказали бы. Папа строгий, но папа сам может упасть, и всякий может. Наконец, если ты боялся папы, отчего ты не пришел ко мне?

— Я хотел сказать, когда вы сидели в дрожки...

Мать вспомнила и пожалела, что не дала хода охватившему ее тогда подозрению.

— Отчего ты не сказал?

— Я боялся папы...

— Сам же говоришь, что боялся, значит — трус. А трусить, бояться правды — стыдно. Боятся правды скверные, дурные люди, а хорошие люди правды не боятся и согласны не только, чтобы их наказали за то, что они говорят правду, но рады и жизнь отдать за правду.

Мать встала, подошла к киоту, вынула оттуда распятие и села опять возле сына.

— Кто это?

— Бог.

— Да, бог, который принял вид человека и сошел с неба на землю. Ты знаешь, зачем он пришел? Он пришел научить людей говорить и делать правду. Ты видишь, у него на руках, на ногах и вот здесь кровь?

— Вижу.

— Это кровь оттого, что его распяли, то есть повесили на кресте; пробили ему гвоздями руки, ноги, пробили ему бок, и он умер от этого... Ты знаешь, что он пальцем вот так пошвелит — и все, все мы сейчас умрем и ничего не будет; ни нашего дома, ни сада, ни земли, ни неба. Как ты думаешь теперь, отчего он позволил себя распять, когда мог бы взглядом уничтожить этих дурных людей, которые его умертвили? Отчего?

Мать замолкла на мгновение и, выразительно, мягко заглядывая в широко раскрытые глаза своего любимца сына, проговорила:

— Оттого, что он не боялся правды, оттого, что правда была ему дороже жизни, оттого, что он хотел показать всем, что за правду не страшно и умереть. И когда он умирал, он сказал: кто любит меня, кто хочет быть со мной, тот должен не бояться правды. Вот когда ты подрастешь и узнаешь, как люди жили прежде, узнаешь, что нельзя было бы жить на земле без правды, когда ты не только перестанешь бояться правды, а полюбишь ее так, что захочешь умереть за нее, — тогда ты будешь храбрый, добрый, любящий мальчик. А тем, что ты сядешь на сумасшедшую лошадь, ты покажешь другим и сам убедишься только в том, что ты еще глупый, не понимающий сам, что делаешь, мальчик, а вовсе не то, что ты храбрый, — потому что храбрый знает, что делает, а ты не знаешь. Вот когда ты знал, что папа тебя накажет, ты убежал, а храбрый так не делает. Папа был на войне: он знал, что там страшно,

а все-таки пошел. Ну, довольно; поцелуй маму и скажи ей, что ты будешь добрый мальчик.

Тема молча обнял мать и спрятал голову на ее груди.

IV. СТАРЫЙ КОЛОДЕЦ

Ночь. Тема спит нервно и возбужденно. Сон то легкий, то тяжелый, кошмарный. Он то и дело вздрагивает. Снится ему, что он лежит на песчаной отмели моря, в том месте, куда их возят купаться, лежит на берегу моря и ждет, что вот-вот накатится на него большая холодная волна. Он видит эту прозрачную зеленую волну, как она подходит к берегу, видит, как пеной закипает ее верхушка; как она вдруг точно вырастает, подымается перед ним высокой стеной; он с замиранием и наслаждением ждет ее брызг, ее холодного прикосновения, ждет привычного наслаждения, когда подхватит его она, стремительно помчит к берегу и выбросит вместе с массой мелкого колючего песку; но вместо холода, того живого холода, которого так жаждет воспаленное от начинающейся горячки тело Темы, волна обдаст его каким-то удушливым жаром, тяжело наваливается и душит... Волна опять отливает, ему опять легко и свободно, он открывает глаза и садится на кровати.

Неясный полусвет ночника слабо освещает четыре детских кровати и пятую большую, на которой сидит теперь няня в одной рубашке, с выпущенной косой, сидит и сонно качает маленькую Аню.

— Няня, где Жучка? — спрашивает Тема.

— И-и, — отвечает няня. — Жучку в старый колодец бросил какой-то ирод. — И, помолчав, прибавляет: — Хоть бы убил сперва, а то так, живьем... Весь день, говорят, визжала, сердечная...

Теме живо представляется старый заброшенный колодец в углу сада, давно превращенный в свал всяких нечистот, представляется скользкое, жидкое дно его, которое иногда с Иоськой они любили освещать, бросая туда зажженную бумагу.

— Кто бросил? — спрашивает Тема.

— Да ведь кто? Разве скажет!

Тема с ужасом вслушивается в слова няни. Мысли роем теснятся в его голове, у него мелькает масса планов, как спасти Жучку, он переходит от одного невероятного проекта к другому и незаметно для себя снова засыпает. Он просыпается опять от какого-то толчка среди прерванного сна, в котором он все вытаскивал Жучку какой-то длинной

петлей. Но Жучка все обрывалась, пока он не решил сам лезть за нею. Тема совершенно явственно помнит, как он привязал веревку к столбу и, держась за эту веревку, начал осторожно спускаться по срубам вниз; он уже добрался до половины, когда ноги его вдруг соскользнули, и он стремглав полетел на дно вонючего колодца. Он проснулся от этого падения и опять вздрогнул, когда вспомнил впечатление падения.

Сон с поразительной ясностью стоял перед ним. Через ставни слабо брезжил начинающийся рассвет.

Тема чувствовал во всем теле какую-то болезненную истому; но, преодолев слабость, решил немедленно выполнить первую половину сна. Он начал быстро одеваться. В голове у него мелькнуло опасение, как бы опять эта затея не затянула его на путь вчерашних бедствий, но, решив, что ничего худого пока не делает, он, успокоенный, подошел к няниной постели, поднял лежавшую на полу коробочку с серными спичками, взял горсть их к себе в карман, на цыпочках прошел через детскую и вышел в столовую. Благодаря стеклянной двери на террасу здесь было уже порядочно светло.

В столовой царил обычный утренний беспорядок — на столе холодный самовар, грязные стаканы, чашки, валялись на скатерти куски хлеба, стояло холодное блюдо жаркого с застывшим белым жиром.

Тема подошел к отдельному столику, на котором лежала куча газет, осторожно выдернул из середины несколько номеров, на цыпочках подошел к стеклянной двери и тихо, чтобы не произвести шума, повернул ключ, нажал ручку и вышел на террасу.

Его обдало свежей сыростью рассвета.

День только что начинался. По бледному голубому небу там и сям точно ключьями повисли мохнатые, пушистые облака. Над садом легкой дымкой стоял туман. На террасе было пусто, и только платок матери, забытый на скамейке, одиноко валялся, живо напомнив Теме вчерашний вечер со всеми его перипетиями и с сладким примирительным концом.

Он спустился по ступенькам террасы в сад. В саду царил такой же беспорядок вчерашнего дня, как и в столовой. Цветы с слепившимися перевернутыми листьями, как их прибил вчера дождь, пригнулись к грязной земле. Мокрые желтые дорожки говорили о силе вчерашних потоков. Деревья, с опрокинутой ветром листвой, так и остались наклоненными, точно забывшись в сладком предрассветном сне.

Тема пошел по главной аллее, потому что в каретнике надо было взять для петли вожжи. Что касается до жердей, то он решил выдернуть их из беседки.

Проходя мимо злополучного места, с которого начинались его вчерашние страдания, Тема увидел цветок, лежавший опрокинутым на земле. Его, очевидно, смыло вчерашним ливнем.

Вот ведь все можно было бы свалить на вчерашний дождь, сообразил Тема и пожалел как-то безучастно, равнодушно. Болезнь быстро прогрессировала. Он чувствовал жар в теле, в голове, общую слабость, болезненное желание упасть на траву, закрыть глаза и так лежать без движения. Ноги его дрожали, иногда он вздрагивал, потому что ему все казалось, что он куда-то падает. Иногда вдруг воскресала перед ним какая-нибудь мелочь из прошлого, которую он давно забыл, и стояла с болезненной ясностью. Тема вспомнил, что года два тому назад дядя Гриша обещал подарить ему такую лошадку, которая сама, как живая, будет бегать.

Он долго мечтал об этой лошадке и все ждал, когда дядя Гриша привезет ее ему, окидывая пытливым взглядом дядю при каждом его приезде и не решаясь напомнить о забытом обещании. Потом он сам забыл об этом, а теперь вспомнил.

В первое мгновение он встрепенулся от мысли, что вдруг дядя вспомнит и привезет ему обещанную лошадку, но потом подумал, что теперь ему все равно, ему уж неинтересна больше эта лошадка. «Я маленький тогда был», — подумал Тема.

Каретник оказался запертым, но Тема знал и без замка ход в него: он пригнулся к земле и подлез в подрытую собаками подворотню. Очутившись в сарае, он взял двое вожжей и захватил на всякий случай длинную веревку, служившую для просушки белья.

При взгляде на фонарь он подумал, что будет удобнее осветить колодец фонарем, чем бумагой, потому что горящая бумага может упасть на Жучку, обжечь ее. Выбравшись из сарая, Тема избрал кратчайший путь к беседке — перелез прямо через стену, отделявшую черный двор от сада. Он взял в зубы фонарь, намотал на шею вожжи, подвязался веревкой и полез на стену. Он мастер был лазить, но сегодня трудно было взбираться: в голову точно стучали два молотка, и он едва не упал. Взобравшись наверх, он на мгновение присел, тяжело дыша, потом свесил ноги и наклонился, чтобы выбрать место, куда прыгнуть. Он увидел под собой сплошные виноградные кусты и только теперь

спохватился, что его всего забрызгает, когда он попадет в свеженамоченную листву. Он оглянулся было назад, но, дорожа временем, решил прыгать. Он все-таки наметил глазами более редкое место и спрыгнул прямо на черневший кусок земли. Тем не менее это его не спасло от брызг, так как надо было пробираться между сплошными кустами виноградника, и он вышел на дорожку совершенно мокрый. Эта холодная ванна мгновенно освежила его, и он почувствовал себя настолько бодрым и здоровым, что пустился рысью к беседке, взобрался проворно на горку, выдернул несколько самых длинных прутьев и большими шагами по откосу горы спустился вниз. С этого места он опять почувствовал слабость и уже шагом пробирался глухой, заросшей дорожкой, стараясь не смотреть на серую кладбищенскую стену.

Он знал, что неправда то, что говорил Иоська, но все-таки было страшно.

Тема шел, смотрел прямо перед собой, и чем больше он старался смотреть прямо, тем ему делалось страшнее.

Теперь он был уверен, что мертвецы сидят на стене и внимательно следят за ним. Тема чувствовал, как мурашки пробегали у него по спине, как что-то страшное лезло на плечи, как чья-то холодная рука, точно играя, потихоньку подымала сзади его волосы. Тема не выдержал и, издавши какой-то вопль, принялся было бежать, но звук собственного голоса успокоил его.

Вид заброшенного, пустынно торчавшего старого колодца среди глухой, поросшей только высокой травой местности, близость цели, Жучка отвлекли его от мертвецов. Он снова оживился и, подбежав к отверстию колодца, вполголоса позвал:

— Жучка, Жучка!

Тема замер в ожидании ответа.

Сперва он ничего, кроме бienia своего сердца да ударов молотков в голове, не слышал. Но вот откуда-то издалека, снизу, донесся до него жалобный, протяжный стон. От этого тона сердце Темы мучительно сжалось, и у него каким-то воплем вырвался новый, громкий оклик:

— Жучка, Жучка!

На этот раз Жучка, узнав голос хозяина, радостно и жалобно завизжала.

Тему до слез тронуло, что Жучка его узнала.

— Милая Жучка! Милая, милая, я сейчас тебя вытащу! — кричал он ей, точно она понимала его.

Жучка ответила новым радостным визгом, и Теме казалось, что она просила его поторопиться исполнением обещания.

— Сейчас, Жучка, сейчас, — ответил ей Тема и принялся, с сознанием всей ответственности принятого на себя обязательства перед Жучкой, выполнять свой сон.

Прежде всего он решил выяснить положение дела. Он почувствовал себя бодрым и напряженным, как всегда. Болезнь куда-то исчезла. Привязать фонарь, зажечь его и опустить в яму было делом одной минуты. Тема, наклонившись, стал вглядываться. Фонарь тускло освещал потемневший сруб колодца, теряясь все глубже и глубже в охватившем его мраке, и наконец на трехсаженной глубине осветил дно.

Тонкой глубокой щелью какой-то далекой панорамы мягко сверкнула перед Темой в бесконечной глубине мрака неподвижная, прозрачная, точно зеркальная, гладь воюющей поверхности, тесно обросшая со всех сторон слизистыми стенками полусгнившего сруба.

Каким-то ужасом смерти пахнуло на него со дна этой далекой, нежно светившейся страшной глади. Он точно почувствовал на себе ее прикосновение и содрогнулся за свою Жучку. С замиранием сердца заметил он в углу черную шевслившуюся точку и едва узнал, вернее угадал, в этой беспомощной фигурке свою некогда резвую, веселую Жучку, державшуюся теперь на выступе сруба. Терять времени было нельзя. От страха, хватит ли у Жучки силы дожждаться, пока он все приготовит, у Темы удвоилась энергия. Он быстро вытащил назад фонарь, а чтобы Жучка не подумала, очутившись опять в темноте, что он ее бросил, Тема во все время приготовления кричал:

— Жучка, Жучка, я здесь!

И радовался, что Жучка отвечает ему постоянно тем же радостным визгом. Наконец все было готово. При помощи вожжей фонарь и два шеста с перекладиной внизу, на которой лежала петля, начали медленно спускаться в колодец.

Но этот так обстоятельно обдуманый план потерпел неожиданное и непредвиденное фиаско благодаря стремительности Жучки, испортившей все.

Жучка, очевидно, поняла только одну сторону идеи, а именно: что спустившийся снаряд имел целью ее спасение, и поэтому, как только он достиг ее, она сделала попытку схватиться за него лапами. Этого прикосновения было достаточно, чтобы петля бесполезно соскочила, а Жучка, потеряв равновесие, свалилась в грязь.

Она стала барахтаться, отчаянно визжа и тщетно отыскивая оставленный ею выступ.

Мысль, что он ухудшил положение дела, что Жучку можно было еще спасти и теперь он сам виноват в том, что она погибнет, что он сам устроил гибель своей любимице, заставляет Тему, не думая, благо план готов, решиться на выполнение второй части сна — самому спуститься в колодец.

Он привязывает вожжу к одной из стоек, поддерживающих перекладину, и лезет в колодец. Он сознает только одно: что времени терять нельзя ни секунды.

Его обдает вонью и смрадом. На мгновение в душу закрадывается страх, как бы не задохнуться, но он вспоминает, что Жучка сидит там уже целые сутки; это успокаивает его, и он спускается дальше. Он осторожно щупает спускающейся ногой новую для себя опору и, найдя ее, сначала пробует, потом твердо упирается и спускает следующую ногу. Добравшись до того места, где застряли брошенные жердь и фонарь, он укрепляет покрепче фонарь, отвязывает конец вожжи и спускается дальше. Вонь все-таки дает себя чувствовать и снова беспокоит и пугает его. Тема начинает дышать ртом. Результат получается блестящий: воня нет, страх окончательно улетучивается. Снизу тоже благополучные вести. Жучка, опять уже усевшаяся на прежнее место, успокоилась и веселым попискиванием выражает сочувствие безумному предприятию.

Это спокойствие и твердая уверенность Жучки передаются мальчику, и он благополучно достигает дна.

Между ним и Жучкой происходит трогательное свидание друзей, не чаявших уже больше свидеться в этом мире. Он наклоняется, гладит ее, она лижет его пальцы, и — так как опыт заставляет ее быть благоразумной — она не трогается с места, но зато так трогательно, так нежно визжит, что Тема готов заплакать и уже, забывшись, судорожно начинает втягивать носом воздух, необходимый для первого произвольного всхлипывания, но зловоние отрезвляет и возвращает его к действительности.

Не теряя времени, он, осторожно, держась зубами за изгаженную вожжу, обвязывает свободным ее концом Жучку, затем поспешно карабкается наверх. Жучка, видя такую измену, подымает отчаянный визг, но этот визг только побуждает Тему быстрее подниматься.

Но подниматься труднее, чем спускаться! Нужен воздух, нужны силы, а того и другого у Темы уже мало. Он судорожно ловит в себя всеми легкими воздух колодца, рвется вперед, и чем больше торопится, тем скорее остав-

ляют его силы. Тема поднимает голову, смотрит вверх, в далекое ясное небо, видит где-то высоко над собою маленькую веселую птичку, беззаботно скачущую по краю колодца, и сердце его сжимается тоской: он чувствует, что не долезет. Страх охватывает его. Он растерянно останавливается, не зная, что делать: кричать, плакать, звать маму? Чувство одиночества, бессилия, сознания гибели закрадывается в его душу. Он ясно видит, хотя инстинктивно не хочет смотреть, хочет забыть, что под его ногами. Его уже тянет туда, вниз, по этой гладкой, скользкой стене, — туда, где отчаянно визжит Жучка, где блестящее вонючее дно ждет равнодушно свою едва обрисовывающуюся во мраке обессиленную жертву.

Ему уже хочется поддаться страшному, болезненному искушению — бросить вожжи, но страх падения на мгновение отрезвляет его.

— Не надо бояться, не надо бояться! — говорит он дрожащим от ужаса голосом. — Стыдно бояться! Трусы только бояться! Кто делает дурно, боится, а я дурного не делаю, я Жучку вытаскиваю, меня и мама и папа за это похвалят. Папа на войне был, там страшно, а здесь разве страшно? Здесь ни капельки не страшно. Вот отдохну и полезу дальше, потом опять, опять отдохну и опять полезу, так и вылезу, потом и Жучку выташу. Жучка рада будет, все будут удивляться, как я ее вытащил.

Тема говорит громко, у него голос крепнет, звучит энергичнее, тверже, и наконец, успокоенный, он продолжает взбираться дальше.

Когда он снова чувствует, что начинает уставать, он опять громко говорит себе:

— Теперь опять отдохну и потом опять полезу. А когда я вылезу и расскажу, как я смешно кричал сам на себя, все будут смеяться, и я тоже.

Тема улыбается и снова спокойно ждет прилива сил.

Таким образом незаметно его голова высывается наконец над верхним срубом колодца. Он делает последнее усилие, вылезает сам и вытаскивает Жучку.

Теперь, когда дело сделано, силы быстро оставляют его. Почувствовав себя на твердой почве, Жучка энергично встряхивается, бешено бросается на грудь Темы и лижет его в самые губы. Но этого мало, слишком мало для того, чтобы выразить всю ее благодарность, — она кидается еще и еще. Она приходит в какое-то безумное неистовство.

Тема бессильно, слабеющими руками отмахивается от нее, поворачивается к ней спиной, надеясь этим маневром спасти хоть лицо от липкой, вонючей грязи.

Занятый одной мыслью — не испачкать о Жучку лицо, — Тема ничего не замечает, но вдруг его глаза случайно падают на кладбищенскую стену, и Тема замирает на месте.

Он видит, как из-за стены медленно поднимается чья-то черная, страшная голова.

Напряженные нервы Темы не выдерживают, он испускает неистовый крик и без сознания валится на траву к великой радости Жучки, которая теперь уже свободно без препятствий выражает ему свою горячую любовь и признательность за спасение.

Еремей (это был он), подымавшийся со свеженакошенной травой со старого кладбища — ежедневная дань с покойников в пользу двух барских коров, — увидев Тему, довольно быстро на этот раз сообразил, что надо спешить к нему на помощь.

Чрез час Тема, лежа на своей кроватке с ледяными компрессами, пришел в себя.

Но уж связь событий потерялась в его воспаленном мозгу; предметы, мысли проходили перед ним вопросами: отчего все так встревожено толпятся вокруг него? Вот мама...

— Мама!

Отчего мама плачет? Отчего ему тоже хочется плакать? Что говорит ему мама? Отчего так вдруг хорошо ему стало? Но зачем же уходит от него мама, зачем уходят все и оставляют его одного? Отчего так темно сделалось? Как страшно вдруг стало! Что это лезет из-под кровати?!

— Это папа... милый папа!!

«Ах, нет, нет, — тоскливо мечется мальчик, — это не папа, это что-то страшное лезет».

— Иди, иди, иди себе! — с диким страхом кричит Тема. — Иди! — и крик его переходит в какой-то низкий, полный ужаса и тоски рев.

— Иди! — несется по дому. И с напряженной болью прислушиваются все к этому тяжелому, горячечному бреду.

Всем жаль маленького Тему. Холодное дыхание смерти ярко колеблет вот-вот готовое навсегда погаснуть разгоревшееся пламя маленькой свечи. Быстро тает воск; быстро тает оболочка тела, и уже стоит перед всеми горячая, любящая душа Темы, стоит обнаженная и тянет к себе.

V. НАЕМНЫЙ ДВОР

Проходили дни, недели в томительной неизвестности. Наконец здоровый организм ребенка взял верх.

Когда в первый раз Тема показался на террасе, поху-девший, выросший, с коротко остриженными волосами, — на дворе уже стояла теплая осень.

Щурясь от яркого солнца, он весь отдался веселым, радостным ощущениям выздоравливающего. Все ласкало, все веселило, все тянуло к себе: и солнце, и небо, и видневшийся сквозь решетчатую ограду сад.

Ничего не переменялось со времени его болезни. Точно он только часа на два уезжал куда-нибудь в город.

Та же бочка стоит посреди двора, по-прежнему такая же серая, разохшаяся, с еле держащимися широкими колесами, с теми же запыленными деревянными осями, ма-занными, очевидно, еще до его болезни. Тот же Еремей тянет к ней ту же упирающуюся по-прежнему Буланку. Тот же петух озабоченно что-то толкует под бочкой своим ку-рам и сердится по-прежнему, что они его не понимают.

Все то же, но все радует своим однообразием и будто говорит Теме, что он опять здоров, что все точно только и ждали его выздоровления, чтобы снова, вступив в прежнюю связь с ним, зажить одной общею жизнью.

Ему даже казалось, что вся его болезнь была каким-то сном... Только лето прошло...

До его слуха долетели из отворенного окна кабинета голоса матери и отца и заставили его еще раз почувство-вать прелесть выздоровления.

Речь между отцом и матерью шла о нем.

Разговора в подробностях он не понял, но суть его уло-вил. Она заключалась в том, что ему, Теме, разрешат бе-гать и играть на наемном дворе.

Наемный двор — громадное пустопорожнее место, при-надлежавшее отцу Темы, примыкало к дому, где жила вся семья, отделяясь от него сплошной стеной. Место было грязное, покрытое навозом, сорными кучами и только там и сям ютились отдельные землянки и низкие крытые чере-пицей флигельки. Отец Темы, Николай Семенович Карта-шев, сдавал его в аренду еврею Лейбе. Лейба, в свою очередь, сдавал по частям: двор — под заезд, лавку — ев-рею Абрумке, в кабаке сидел сам, а квартиры в землянках и флигелях отдавал внаем всякой городской голытьбе. У этой голи было мало денег, но зато много детей. Дети — оборванные, грязные, но здоровые и веселые — целый день бегали по двору.

Мысль о наемном дворе давно уже приходила в голову матери Темы, Аглаиде Васильевне.

Нередко, сидя в беседке за книгой, она невольно обра-щала внимание на эту ватагу вечно возбужденных, весе-

лых ребятишек. Наблюдая в бинокль за их играми, за их неутомимой беготней, она часто думала о Теме.

Нередко и Тема, прильнув к щелчке ворот, разделявших оба двора, с завистью следил из своей сравнительно золотой темницы за резвой толпой. Иногда он заикался о разрешении побегать на наемном дворе; мать слушала и нерешительно отклоняла его просьбу.

Но болезнь Темы, упрек мужа относительно того, что Тема не воспитывается как мальчик, положили конец ее колебаниям.

Как натура непосредственная и впечатлительная, Аглаида Васильевна мыслила и решала вопросы так, как мыслят и решают только такие натуры. С виду ее решения часто бывали для окружающих чем-то неожиданным; в действительности же тот процесс мышления, результатом которого получалось такое с виду неожиданное решение, несомненно существовал, но происходил, так сказать, без сознательного участия с ее стороны. Факты накапливались, и когда их собиралось достаточно для данного вывода, — довольно было ничтожного толчка, чтобы запутанное до того времени положение вещей освещалось сразу, с готовыми уже выводами.

Так было и теперь. Упрек мужа был этим толчком, и Аглаида Васильевна пошла в кабинет к нему поговорить о пришедшей ей в голову идее. Результатом разговора было разрешение Теме посещать наемный двор.

* * *

Через две недели Тема уже носился с ребятишками наемного двора. Он весь отдался ощущениям совершенно иной жизни своих новых приятелей, — жизни, ни в чем не схожей с его прежней, своим контрастом неизгладимыми образами отпечатлевшейся в его памяти.

Наемный двор, как уже было сказано, представлял собою сплошной пустырь, заваленный всевозможными кучами.

Для всех эти кучи были грязным сором, выбрасываемым раз в неделю, по субботам, из всех этих нищенских лачуг, но для оборванных мальчишек они представляли собою неисчерпаемые источники богатств и наслаждений. Один вид их — серый, пыльный, блестящий от кусочков битого стекла, сиявших на солнце всеми переливами радуги — уже радовал их сердца. В этих кучах были зарыты целые клады: костяшки для игры в пуговки, бабки, нитки. С каким наслаждением, бывало, в субботу, когда выбра-

сывался свежий сор, накидывалась на него ватага жадных ребятишек, и в числе их — Тема с Иоськой.

Вот дрожащими от волнения руками тянется кусочек серой нитки и пробуется ее крепость. Она годится для пускания змея; ничего, что коротка, — она будет связана с другими такими же нитками; ничего, что в ней запутались какие-то волосы и что-то прилипло, что она вся сбитая в один запутанный комок, — тем больше наслаждения будет, когда, собравши свою добычу, ватага перелезет через кладбищенскую стену и, усевшись где-нибудь на старом памятнике, станет приводить в порядок свое богатство.

Тема сидит, весь поглощенный своей трудной работой. Глаза его машинально блуждают по старым покосившимся памятникам, и он думает, какой он глупый был, когда испугался головы Еремея.

Гераська, главный атаман ватаги, рассказывает о ночных похождениях тех, которых зарывают без отпевания.

— Прикинст тебе дорогу и ведет... ведет, ведет... Вот будто, вот сейчас домой... Так и дотянет до петухов... Как кочета закричат, ну и будет, — глядишь, а ты на том же месте стоишь. Верно! Накажи меня бог! — крестится в подтверждение своих слов Гераська.

— Что ж? Это ни капельки не страшно, — пренебрежительно замечает Тема.

— Не страшно? — воспаляется Гераська. — А попади-ка к ним под сочельник, они тебе покажут, как не страшно! Погляжу я на тебя, когда Пульчиха...

Пульчиха, старая, восьмидесятилетняя, высокая, толстая одинокая баба, занимала одну из лачуг наемного двора. Она всегда отличалась угрюмым, сосредоточенным, необщительным нравом и всегда нагоняла на детей какой-то инстинктивный ужас своим низким, грубым голосом, когда гоняла, бывало, их подальше от своих дверей.

Однажды дверь обыкновенно аккуратной Пульчихи оказалась затворенной, несмотря на то, что все давно уже встали. Гераська сейчас же, заметив эту ненормальность, заглянул осторожно в окошечко лачуги и с ужасом отскочил назад: выпученные глаза Пульчихи страшно смотрели на него со своего вздутого, посинелого лица.

Преодолев ужас, Гераська опять заглянул и разглядел тонкую бечевку, тянувшуюся с потолка к ее шее. Пульчиха, казалось, стояла на коленях, но не касаясь пола, а как-то на воздухе. Подняли тревогу, выломали дверь, вытащили старуху из петли, но уж все было кончено — Пульчиха умерла. Ее отнесли к «висельникам», а лачуга так и осталась пустой, не привлекая к себе новых квартирантов.

Эта неожиданная, страшная смерть Пульчихи произвела на ватагу сильное, потрясающее впечатление.

— Ты думаешь, — продолжал Гераська, воодушевляясь, и мурашки забегали по спинам ватаги, — ты думаешь, она подохла? Держи карман! Вот пусть-ка снимет кто ее хату! А-га! Вот тогда и узнает, где эта самая Пульчиха, как она, подлая, ночью притащится на четвереньках под окно и станет смотреть, что там делают. Рожа страшная, с-и-и-няя, вздутая, зубами ляскает, а глазищи так и ворочаются, так и ворочаются... Накажи меня бог! Она и сейчас каждую ночь шляется, сволочь; и пока ей в брюхо не забьют основной кол, она так и будет лазить. А забьют, ну и шабаш!

Рассказ производит потрясающее впечатление. Тема давно сорван со своих скептических подмостков и с напряженным лицом следит за каждым движением Гераськи.

Напряженнее всех всегда слушает Коляка, у которого даже жилы надуваются на лбу, а рот остается открытым и тогда, когда все остальные уже давно пришли в себя.

— У-у! — ткнет ему бывало Яшка пальцем в открытый рот.

Поднимается хохот. Коляка вспыхнет и наметит обидчику прямо в ухо. Но Яшка увернется и со смехом отбежит в сторону. Коляка пустится за ним, Яшка — от него. Смех и общее веселье.

Солнце окончательно исчезает за деревьями; доносятся крикливые голоса матерей всех этих Герасек, Колек, Яшек; ватага шумно карабкается по стене, с размаху прыгает во двор и расходится. Тема некоторое время наблюдает, как родители встречают запоздалых друзей шлепками, и нехотя возвращается со своим оруженосцем Иоськой домой. Все ему так нравится, все внутри так живет у него, что он жалеет в эту минуту только о том, что не может вечно оставаться на наемном дворе — вечно играть со своими новыми друзьями.

Вечером за чайным столом сидит вся семья, сидит Тема, и образы двора толпятся перед ним. Он как-то смутно вслушивается в разговор и оживляется лишь тогда, когда до его слуха долетает жалоба пришедшего арендатора на то, что номер Пульчихи по-прежнему не занят.

— Он и не будет никогда занят, — авторитетно заявляет Тема.

На вопрос «почему» Тема сообщает причину. Заметив, что рассказ производит впечатление, Тема продолжает, стараясь подражать во всем Гераське:

— Как кто наймет, она, подлая, ползет к окну, морда с-и-и-няя, зубами ляскает, сама вздутая, подлая...

Тема все силы напрягает на последнем слове.

— Боже мой! Что это! — восклицает мать.

Тема немного озадачен, но доканчивает:

— А вот если ей в брюхо кол осиновый загнать, она, сволочь, перестанет ходить.

На другой день Тему на наемный двор не пускают, и весь день посвящается чистке от нравственного сора, накопившегося в душе Темы.

Тщательное следствие никакого, впрочем, особенного сора не обнаруживает, хотя одна не совсем красивая история как-то сама собой выплывает на свет божий.

В числе игр, развлекавших ребятишек, были и такие, в которых сорные кучи были ни при чем, а именно: «дзига» — вид волчка, свайка, мяч и орехи. Последняя игра требовала уже денег, так как орехов Абрумка даром не давал. Был, конечно, способ достать орехов в саду. Но орехи сада не годились: они были слишком крупны, шероховаты, а для игры требовались маленькие орехи, круглые и легкие. Ничего, что внутри их все давно сгнило, зато они хорошо катились в ямку. В случае крайности за три садовых ореха Теме давали один Абрумкин. Эти садовые орехи тоже нелегко давались. Тема должен был рвать их с риском попасться; иногда ломались ветви под его ногами, что тоже мог заметить зоркий глаз отца. Тема придумал выход более простой. Он пришел раз к Абрумке и сказал:

— Абрумка, скоро будет мое рождение, и мне подарят двадцать копеек. Дай мне теперь орехов, а в рождение я тебе отдам деньги.

Абрумка дал. Таким образом набралось на двадцать копеек. Тема некоторое время не ходил к Абрумке, но нужда заставила, и, придя к нему, он сказал:

— Абрумка, дай мне еще орехов.

Но Абрумка напомнил Теме, что в рождение ему подарят только двадцать копеек.

Тогда Тема сказал Абрумке:

— Я забыл, Абрумка, мне Таня общала еще десять копеек подарить.

Абрумка подозрительно покосился на Тему. Тема покраснел и почувствовал к Абрумке что-то враждебное и злое. Он уже хотел убежать от гадкого Абрумки и отказаться от своего намерения взять у него еще орехов, но так как Абрумка пошел в лавку, то и Тема передумал и направился за ним. Абрумка копался за темным, грязным прилавком, отыскивая между загаженными мухами полками грязную банку с гнилыми орехами, и Тема ждал, пугливо косясь на соседнюю, тоже темную, комнату, где в по-

лумраке на кровати обрисовывалась фигура больной жены Абрумки. Она уже давным-давно не вставала и лежала на своей кровати, казалось, засунутая в пуховую перину, — вечно больная, бледная, изможденная, с горевшими черными глазами, со всклокоченными волосами, и изредка тихо, мучительно стонала.

Получив орехи, Тема опрометью бросился из лавки, подальше от страшной жены Абрумки, у которой Гераська как-то умудрился заметить хвостик и сам своими глазами видел, как она однажды верхом на метле, ночью под шабаш, вылетела в трубу. Так как Гераська при этом снял шапку, перекрестился и сказал: «Накажи меня бог!», то сомнения быть не могло в справедливости его слов.

Получив орехи и проиграв их, Тема больше уже не решался идти к Абрумке. Он чувствовал, что надул его, и это его мучило. Ему казалось, что и Абрум это понял. Тема чувствовал свою вину перед ним и без щемящего чувства не мог смотреть на угнетенную фигуру вечно торчавшего у своих дверей Абрумки.

Иногда вдруг, среди веселой игры, мелькнет перед Темой образ Абрумки, вспомнится близость дня рождения, безвыходность положения, и тоскливо замрет сердце. Только одно утешение и было: что день рождения еще не так близок. Но беда пришла раньше, чем ждал Тема. Однажды Абрумка, никогда не отходивший ни на шаг от своей лавочки, вдруг, заметив Тему во дворе, пошел к нему.

Тема при его приближении вильнул было, как будто играя, в кирпичный сарай, но Абрумка вошел в сарай и потребовал от Темы денег, мотивируя нужду в деньгах неожиданной смертью жены.

Тема уже с утра слышал от своих товарищей, что жена Абрумки умерла; слышал даже подробный рассказ, как Абрумка сам задушил ее ночью, наложив ей на голову подушку, и, усевшись, сидел на этой подушке до тех пор, пока его жена не перестала хрипеть; затем он слез и лег спать, а утром пошел и сказал всем, что его жена умерла.

— Ты сам видел? — спросил с широко открывшимися глазами Тема.

— Накажи меня бог, видел! — проговорил Гераська и в доказательство снял шапку и перекрестился.

Теперь этот Абрумка, как будто он никогда не душил своей жены, стоял перед Темой в темном сарае и требовал денег.

Теме стало страшно: а вдруг и его злой Абрумка сейчас задушит и пойдет скажет всем, что Тема взял и сам умер?

— У мсня нет денег, — отвстил Тема коснеющим языком.

— Ну, так я лучше папеньке скажу, — просительно проговорил Абрумка, — очень нужно; нечем хоронить мою бедную Химку...

И Абрум вытер скатившуюся слезу.

— Нет, не говори, я сам скажу, — быстро проговорил Тема. — Я сейчас же принесу тебе.

У Темы пропал всякий страх к Абрумке.

Искреннее, неподдельное горе, звучавшее в его словах, повернуло к нему сердце Темы. Он решил немедленно идти к матери и сознаться ей во всем.

Он застал мать за чтением.

Тема горячо обнял мать.

— Мама, дай мне тридцать копеек.

— Зачем тебе?

Тема замялся и сконфуженно проговорил:

— Мне жалко Абрумки, ему нечем похоронить Химку, я обещал ему.

— Это хорошо, что тебе жаль его, но все-таки обещать ты ему не имел никакого права. Разве у тебя есть свои деньги? Только своими деньгами можно располагать.

Тема напряженно, сконфуженно слушал, и когда Аг-ланда Васильевна вынесла ему деньги, он обнял ее и горячо ответил ей, мучимый раскаянием за свою ложь:

— Милая моя мама, я никогда больше не буду.

-- Ну, иди, иди, — ласково отвечала мать, целуя его.

Тема бежал к Абрумке, и в воображении рисовалось его лицо, полное блаженства, когда он увидит принесенные ему Темой деньги.

Раскрасневшись, с блестящими глазами, он влетел в лавочку и, чувствуя себя хорошо и смело, как до того времени, когда он еще не сделался должником, проговорил восторженно:

— Вот, Абрумка!

Абрумка, рывшийся за прилавком, молча поднял голову и равнодушно-уныло взял протянутые ему деньги. Но, взглянув на разочарованного Тему, Абрумка инстинктивно понял, что Теме нет дела до его горя, что Тема поглощен собой и требует награды за свой подвиг. Движимый добрым чувством, Абрумка вынул одну конфетку из банки, подал ее мальчику и, потрепав его по плечу, проговорил рассеянно:

— Хороший панич!

Теме не по душе была фамильярность Абрумки, не по душе было равнодушие, с каким последний принял от него

деньги, и восторженное чувство сменилось разочарованием. То что-то близкое, что он на мгновение до этого чувствовал к обездоленному, тихому Абрумке, сменилось опять чем-то чужим, равнодушным, безразличным. Тема уже хотел оттолкнуть конфетку и убежать, хотел сказать Абрумке, что он не смеет трепать его по плечу, потому что он — Абрумка, а он — Тема, генеральский сын, но что-то удержало его. Он на мгновение почувствовал унижительное бессилие от своей неспособности обрезать так, как, наверно, обрезала бы Зина, и, скрывая безразличность, разочарование, раздражение и сознание бессилия, молча взял конфетку и, не глядя на Абрумку, уже собирался поскорее вильнуть из лавки, как вдруг дверь отворилась, и Тема увидел, что происходило в другой комнате. Там толпа грязных евреек суетливо доканчивала печальный обряд. Тема увидел что-то белое спеленутое и догадался, что это что-то было тело жены Абрумки. В комнате, обыкновенно темной, было теперь светло от открытых окон; кровать, на которой лежала больная, была пуста и прибрана. «И никогда уж больше не будет лежать на ней жена Абрумки», — подумал Тема. Ее сейчас принесут на кладбище, зароят, и останется она там одна с червями, тогда как он, Тема, сейчас выбежит из лавочки и, счастливый, полный радости жизни, будет играть, смотреть на веселое солнце, дышать воздухом. А она не может дышать. Ах, как хорошо дышать! И Тема вздохнул всей грудью. Как хорошо бегать, смеяться, жить!.. А она не может жить, она никогда не откроет глаз и никогда, никогда не ляжет больше на эту кровать. Как пусто, тяжело стало на душе Темы! Какой мрак и тоска охватили его от формулированного в первый раз понятия о смерти! Да, это все пройдет. Не будет ни Абрумки, ни всех, ни его, Темы, ни этой лавочки, — все, все когда-нибудь исчезнет. И все равно когда-нибудь смерть придет, и никуда нельзя от нее уйти, никуда... Вот жена Абрумки... А если б она спряталась под кровать?! Нет, нельзя: смерть и там нашла бы ее. И его найдет... И от этой мысли у Темы захватило дыхание, и он стремительно выбежал из лавки на свежий воздух.

Скучно стало Теме. Точно все, все умерли вдруг, и никого, кроме него, не осталось, и все так пусто, тоскливо кругом. Когда Тема прибежал к игравшей в пуговки ватаге, озабоченно и взволнованно следившей за движениями Гераськи, в третий раз победоносно собиравшегося бить кон, Тема облегченно вздохнул, но по-прежнему безучастный, присел на пыльную землю, прижавшись к стене избушки, возле которой происходила игра. Он рассеянно сле-

дил за тем, как мелькали по воздуху отскакивавшие от стены медные пуговики, как, сверкнув в лучах яркого солнца, они падали на пыльную мягкую землю, мгновенно покрываясь серым слоем, следил за напряженными, возбужденными лицами, и невольная параллель контрастов — того, что было у Абрумки, и что происходило здесь — смутно давила его. Тут радуются, а там смерть, им нет дела до Абрумки, а Абрумке — до них, и нельзя так сделать, чтобы и Абрумка радовался. Если его позвать играть с ними? Он не пойдет. Это им, детям, весело, а большие не любят играть. Как скучно большим жить — ничего они не любят: ни бабок, ни пуговиц, ни мяча. И он будет большой, и он ничего этого не будет любить, — скучно будет. Нет, он будет любить! Он условится вот с Яшкой, Гераськой, Колькой, чтобы всегда любить играть, и будет им всегда весело... Нет, не будет — он тоже разлюбит... Нет, не разлюбит, ни за что не разлюбит! И, вскочив, точно боясь, что может отвыкнуть, он энергично закричал:

— Мой кон!

И вдруг в тот момент, когда Тема так живо почувствовал желание играть, жить, у него неприятно екнуло сердце при мысли, что он обманул мать.

«Ничего! Когда я просил у мамы прощения, я думал, что прошу за то, что обманул ее; я когда-нибудь расскажу ей все».

Успокоив себя, Тема забыл и думать обо всем этом. И вдруг все открылось как-то так, что он оглянуться не успел, как сам же спутал себя.

К удивлению Темы, Аглайда Васильевна отнеслась к этой истории очень мягко и только взяла с Темы слово, что на будущее время он будет говорить ей всегда правду, — иначе ворота наемного двора для него навсегда запрутся.

* * *

Прошел год. Тема вырос, окреп и развернулся. В жизни ватаги произошла некоторая перемена. Приятно было бегать по двору, лазить на кладбище, но еще приятнее было убежать в ту сторону, где синело необъятное море. В таких прогулках было столько заманчивого!.. Тема забывал, что он еще маленький мальчик. Он стоял на берегу моря; нежный, мягкий ветер гладил его лицо, играл волосами и вселял в него неопределенное желание чего-то, еще неизведанного. Он следил за исчезающим на горизонте пароходом с каким-то особенно щемящим, замирающим чувст-

вом, полный зависти к счастливым людям, уносившимся в туманную даль. Рыбаки, пускавшиеся в море на своих утлых челноках, были в глазах Темы и всей ватаги какими-то полубогами. С каким уважением он и ватага смотрели на их загорелые лица! С каким благоговейным напряжением выбивались они из сил, помогая такому собиравшемуся в путь рыбаку стащить в море с гравелистого берега лодку!

— Дяденька, пояс! — кричал какой-нибудь счастливчик, заметив забытый рыбаком на берегу пояс.

Какой завистью горели глазенки остальных, какой удовлетворенной гордостью блистали глаза счастливца, на долю которого досталось оказать последнюю услугу отважному неразговорчивому рыбаку! Напрасно глаза жадно ищут еще чего-нибудь, забытого на песке.

— Мальчик! Поднеси-ка корзинку! Вон, вон на песке! — кричит с выступающего камня другой рыболов, поймавший на удочку рыбу.

Новая работа: ребяташки вперегонку пускаются за корзинкой, и какой-нибудь счастливец уже несется с ней.

— О-го! Здоровый! — разрешает он себе замечание, принимая в корзинку пойманную рыбу.

Рыболов снова погружается в безмолвное созерцание неподвижного поплавка, корзинка относится на место, и мальчишки ищут новых занятий. Они собирают на берегу плоские камешки и с размаху пускают их по воде. Раз, два, три, четыре — скользя, полетел камень по гладкой поверхности.

— Чебурых! — презрительно говорит кто-нибудь, когда камень, пущенный неумелой рукой, с места зарезывается в воду, вместо того чтобы летать касательно.

А то, засучив по колено штаны, ватага лезет в воду и ловит под камнями рачков, разных ракушек. Поймает, полюбуется и съест. Ест и Тема и испытывает бесконечное наслаждение.

Однажды ватага забрела на бойню. Тема, увлекшись, не заметил, как очутился в самом дворе как раз в тот момент, когда рассвирепевший бык, оторвавшись от привязи, бросился на присутствовавших, а в том числе и на Тему. Тему едва спасли. Мясник, выручивший его, на прощанье надрал ему уши. Тема был рад, что его спасли, но обиделся, что его выдрали за уши. Он стоял сконфуженный, избегая любопытных взглядов ватаги, и обдумывал план мести. Между тем мясники, кончив свою работу, нагрузили телеги и поехали в город. Тема знал, что их путь лежит мимо дома его отца, и потому отправился за ними. Увидев у калитки дома Еремея, Тема обогнал обоз и стал у калитки

с камнем в руках. Когда выдравший его за ухо мясник поравнялся с ним, Тема размахнулся и пустил в него камнем, который и попал мяснику в лицо.

— Держи, держи! — закричали мясники и бросились за маленьким разбойником.

Влететь в калитку и задвинуть засов было делом одного мгновения. На улице раненый мясник благим матом вопил:

— Батюшки, убил! Убил, разбойник!

Мясники на все голоса кричали:

— Грабеж, караул! Караул, режут!

«Убил!» — пронеслось в голове Темы.

На крыльцо выскочили из дому испуганные сестры, бонна, а за ней и сама Аглайда Васильевна, бледная, перепуганная непонятной тревогой.

Физиономия Темы, его растерянный вид ясно говорили, что в нем кроется причина всего этого шума.

— Что? Что такое? Что ты сделал?

— Я... я убил мясника!.. — заревел благим матом Тема, приседая от ужаса к земле.

Было не до расспросов. Аглайда Васильевна бросилась в кабинет мужа. Появление генерала дало делу более спокойный оборот. Все объяснилось, рана оказалась неопасной. Обиженный получил на водку, и через несколько минут мясники снова отправились в путь. У Темы отлегло от сердца.

— Негодный мальчик! — проговорила, входя с улицы, мать.

Тема потупился и почувствовал себя действительно негодным мальчиком. Николай Семенович был не того мнения.

— За что ж ты ругаешь его? — возмущенно обратился он к жене. — Что ж, по-твоему, ему уши будут рвать, а он ручки за это должен целовать?

Аглайда Васильевна, в свою очередь, была озадачена.

— Ну, так и берите себе этого разбойника, а мне он больше не сын, — проговорила она и быстро ушла в комнаты.

Тема не почувствовал никакой радости от поддержки отца и удовлетворенно вздохнул только тогда, когда последний ушел. На душе у него было беспокойно: лучше было бы, если бы отец его выругал, а мать похвалила. Походив с час, Тема отправился к матери и, как полагалось, когда мать на него сердилась, проговорил:

— Мама, я больше не буду.

— Скверный мальчик! Что ты больше не будешь? Ты понимаешь, в чем ты виноват!

— В том, что дрался.

— В том, что ты такой же грубый, как и тот мясник, в которого ты швырнул камнем. Ты знаешь, что если бы не он, бык разорвал бы тебя?

— Знаю.

— Если бы ты тонул и тебя за волосы вытащили бы из воды, ты тоже бросил бы камнем в того, кто тебя вытащил?

— Ну да... А зачем он меня за руку не взял?

— А зачем ты без позволения к нему во двор пошел? Зачем ставишь себя в такое положение, что тебя могут взять за ухо? Зачем ты без позволения на бойне был? Зачем ты злой? Зачем ты волю рукам даешь, негодный ты мальчик? Мясник грубый, но добрый человек, а ты грубый и злой!.. Иди, я не хочу такого сына!

Тема приходил и снова уходил, пока наконец само собой как-то не осветилось ему все: и его роль в этом деле, и его вина, и несознаваемая грубость мясника, и ответственность Темы за созданное положение дела.

— Ты, всегда ты будешь виноват, потому что им ничего не дано, а тебе дано; с тебя и спросится.

Закончилось все уже вечером притчей о талантах и рассуждением на тему: кому много дано, с того много и спросится.

Тема внимательно и с интересом слушал, задавал вопросы, в которых чувствовалось, что он сознательно переживает смысл сказанного. Горячая Аглаида Васильевна не могла удержаться, чтобы в такой удобный момент не подбросить несколько лишних полен...

— Ты большой уже мальчик, тебе десятый год. Один мальчик в твои годы уже царем был.

Глаза Темы широко раскрылись.

— А я когда буду царем? — спросил он, уносясь мыслью в сказочную обстановку Ивана Царевича.

— Ты царем не будешь, но если захочешь, ты можешь помогать царю. Вот такой же мальчик, как ты...

И Тема узнал о Петре Великом, о Ломоносове, Пушкине. Он услышал коротенькие стихи, которые мать так звучно и красиво прочла ему:

Сети рыбак расстилал по берегу студеного моря:
Мальчик ему помогал. Мальчик, оставь рыбака!
Сети иные тебя ожидают...
Будешь умы уловлять, будешь помощник царям.

Теме рисовалась знакомая картина. Морской берег, загорелые рыбаки, он, нередко помогавший им расстилать на берегу для просушки мокрые сети, и, вздохнув от избытка чувств, он проговорил удовлетворенно:

— Мама, я тоже помогал расстилать сети рыбакам. Засыпая в этот вечер, Тема чувствовал себя как-то особенно возвышенно настроенным.

В сладких неясных образах носились перед ним и рыбки, и сети: и неведомый мальчик, отмеченный какой-то особой печатью, и десятилетний грозный царь, и все это, согреваемое сознанием чего-то близкого, соприкосновенного, ярко переливало в сонном мозгу Темы.

«А все-таки я хорошо сделал, что хватил мясника: теперь уж никто не захочет взять меня за ухо!» — пронеслось вдруг последней сознательной мыслью, и Тема безмятежно заснул.

VI. ПОСТУПЛЕНИЕ В ГИМНАЗИЮ

Еще год прошел. Подросла гимназия. Тема держал в первый класс и выдержал. Накануне начала уроков Тема в первый раз надел форму.

Это был счастливый день.

Все смотрели и говорили, что форма ему очень идет. Тема отпросился на наемный двор. Он шел сияющий и счастливый.

Было августовское воскресенье; яркие лучи заливали сверху, глаза тонули в мягкой синеве чистого неба. Акации, окаймлявшие кладбищенскую стену, точно спали в сиянии веселого, ласкового дня.

Семья Кейзера, вся налицо, сидит за обедом перед дверями своей квартиры. Благообразный старик, точильщик Кейзер, чопорно и сухо меряет Тему глазами. С тою же неприветливостью смотрит и похожий на отца старший сын. Зато «Кейзеровна» вся исчезла в доброй, ласковой улыбке, и ее белый высокий чепчик усердно кивает Теме. Маленький Кейзер — младшая ветвь, весь в мать — тоже растаял и переводит свои блаженные глаза с чепчика матери на Темин мундир.

— Здравствуйте, здравствуйте, Темочка! — говорит Кейзеровна. — Ну, вот вы, слава богу, и гимназист... совсем как генерал...

Тема сомневается, чтобы он был похож на генерала.

— Папеньке и маменьке радость, — продолжает Кейзеровна. — Папенька здоров?

— Здоров, — отвечает Тема, смотря в пространство и роя сапогом землю.

— И маменька здорова? и братик? и сестрички? Ну слава богу, что все здоровы.

Тема чувствует, что можно идти дальше, и тихо, чинно двигается вперед.

У дверей своей лачуги сидит громадный Яков и наслаждается. Его красное лицо блестит, маленькие черные глаза блестят, разутые большие ноги греются, вытянутые на солнце. Он уже пропустил перед обедом... В отворенное окно несется писк и шипение сковороды, на которой жарится одна из пойманных сегодня камбал. Яков каждое воскресенье ходит удить рыбу. Шесть дней он переносит пятипудовые мешки на своих плечах с телег на суда, а в седьмой до обеда удит, а с обеда до вечера кеифует и наслаждается отдыхом. С ним живет старуха мать и больше никого. Была когда-то жена, но давно сбежала, и давно уже ничего о ней не знает Яков.

— Яков, я уже поступил в гимназию, — говорит Тема, останавливаясь перед ним.

— В гимназию... — добродушно тянет Яков и улыбается.

— Это мой мундир.

— Мундир? — повторяет Яков и опять улыбается.

Наступает молчание. Яков смотрит на большой палец ноги, как-то особенно загнувшийся к соседу, и протягивает к нему руки.

— Много наловил? — спрашивает Тема.

— Наловил, — отвечает Яков, отставив рукой большой палец ноги, который как только его выпустил Яков, еще плотнее насел на соседний.

— А мне уж нельзя больше с тобой ходить, — говорит Тема вздыхая, — я теперь гимназист.

— Гимназист, — повторяет Яков и опять улыбается.

Тема идет дальше, и везде, где только сидят, он останавливается, чтобы показать себя. Только заметив Ивана Ивановича, он спешит пройти мимо. Тема не любит разговаривать с Иваном Ивановичем, когда он пьян. А Иван Иванович, отставной унтер-офицер, сослуживец отца, несомненно пьян. Он сидит на завалинке, качается и поводит кругом мутными глазами.

— Стой! — кричит он, увидав Тему. — На караул!

— Дурак, — отвечает, не останавливаясь, Тема.

— Стой!! Едят ты мухи с комарами!

И Иван Иванович делает вид, что бросается за Темой. Тема пускается в рысь, а Иван Иванович весело визжит: — Держи, держи!

Тема скандализован; он заворачивает за угол, оправляется и опять чинно идет дальше.

Появление Темы перед ватагой произвело надлежащий эффект. Тема наслаждается впечатлением и рассказывает с чужих слов, какие в гимназии порядки.

— Если кто шалит, а придет учитель и спросит, кто шалит, а другой скажет, — тот ябеда. Как только учитель уйдет, его сейчас поведут в переднюю, накроют шинелями и бьют.

Ватага, поджав свои босые грязные ноги, сидела под забором и с разинутыми ртами слушала Тему. Когда небольшой запас сведений Темы о гимназии был исчерпан, кто-то предложил идти купаться. Поднялся вопрос, можно ли теперь идти и Теме. Тема решил, что если принять некоторые меры предосторожности, то можно. Он приказал ватаге идти поодаль, потому что теперь уже неловко ему — гимназисту — идти рядом с ними. Тема шел впереди, а вся ватага, сбившись в тесную кучу, робко шла сзади, не сводя глаз со своего преобразившегося сочлена. Тема выбирал самые людные улицы, шел и беспрестанно оглядывался назад. Иногда он забывал и, по старой памяти, равнялся с ватагой, но вспомнив, опять уходил вперед. Так они все дошли до берега моря.

Ах, какое чудное было море! Все оно точно золотыми кружками отливало и сверкало на солнце и тихо, едва слышно, билось о мягкий песчаный берег. А там, на горизонте, оно, уже совсем спокойное и синее-синее, уходило в бесконечную даль. Там, казалось, было еще прохладнее.

Но и тут хорошо, когда скинешь горячий мундир и останешься в одной рубашке. Тема оглянулся, где бы уложить новенький мундир.

— А вот дайте я подержу, — проговорил вдруг высокий, худой старик.

Тема с удовольствием принял предложение.

— Да вы бы, сударь, немного подальше от этих... неловко вам, — шепнул Теме на ухо старик, когда Тема собрался было раздеваться.

«Это верно!» — подумал Тема и, обратившись к ватаге, сказал:

— Нам в гимназии нельзя... нам запрещено вместе... Вы здесь купайтесь, а я пойду подальше...

Ватага переглянулась, а Тема со стариком ушли.

— Ну, вот здесь уж можно, — проговорил старик, когда ватага скрылась из глаз благодаря выступающему камню.

Тема разделся и полез в воду. Пока он купался, старик сидел на берегу и не мог надивиться искусству Темы. А Тема старался.

— Я могу вон до тех пор доплыть под водой! — кричал он и с размаху бросался в воду. — Я и на спине могу! — кричал опять Тема. — Я могу и смотреть в воде!

Тема опускался в воду, открывал глаза и видел желтые круги.

— А я могу... — начал снова Тема, да так и замер: ни старика, ни платья не было больше на берегу.

В первую минуту Тема и не догадался о печальной истине: ему просто стало жутко от одиночества и пустоты, которые вдруг охватили его с исчезновением старика, и он бросился к берегу. Он думал, что старик просто перешел на другое место. Но старика нигде не было. Тогда он понял, что старик обокрал его. Растерянный, он пришел к ватаге, уже выкупавшейся и одетой, и сообщил ей свое горе. Розыски были бесполезны. Все пространство, какое охватывал глаз, было безлюдно. Старик точно провалился сквозь землю.

— Может, это нечистый был, — сделал кто-то предположение, и у всех пробежали мурашки по телу.

— Пойдем, — предложил Яшка, не отличавшийся храбростью, и, быстро вскочив, напялил шапку на мокрые волосы.

— А я как же? — жалобно проговорил Тема.

Была одна комбинация: остаться Теме на берегу и ждать, когда дадут знать домой. Но одному было страшно, а из ватаги никто не хотел оставаться с ним. Всех напугал нечистый, всем было страшно, все спешили уйти, и Тема волей-неволей потянулся за всеми.

— У-ла-ла-а! Голый мальчик!

— Голый мальчик! Голый мальчик! — И толпа городских ребятишек, припрыгивая и улюлюкая, бежала за Темой.

Голый мальчик не каждый день ходит по улицам, и все спешили посмотреть на голого мальчика. Тема шел и горько плакал. Почти каждый прохожий желал знать, в чем дело. Но Тема так плакал, что говорить сам не мог; за него говорили его друзья. Это было очень трогательно. Все останавливались и слушали, слушал и Тема. Когда рассказ доходил до мундира, Тема не выдерживал и начинал снова рыдать.

— Но почему же вы не возьмете извозчика? — спросил Тему господин в золотых очках.

«Извозчика?!» — думал Тема. Разве мало убытков папе и маме от пропавшего платья! Нет, он не возьмет извозчика.

Два господина остановили процессию и тоже пожелали узнать, в чем дело. Выслушав, один из них спросил Тему:

— Как ваша фамилия?

— Ка-ка-рташев, — ответил, захлебываясь, Тема.

— Генерала Карташева? — переспросил удивленно господин и, посмотрев насмешливо на своего спутника, проговорил пренебрежительно: — Венгерский герой!

— Ага! — протянул небрежно его спутник.

И оба прошли, чему-то улыбаясь.

Сердце Темы болезненно сжалось от этих туманных, насмешливых намеков. Ему ясно было одно: над его отцом смеются! И ему стало так больно, что он забыл, что он голый, и весь потонул в мучительной мысли. Теперь, когда спрашивали его, как фамилия, Тема отвечал уже нерешительно и робко. Съежившись, он снова ждал какого-нибудь обидного намека и пытливым взглядом смотрел в глаза спрашивавших.

— Вы сын генерала?

— Да, — отвечал почти шепотом Тема.

— Бедный мальчик! Возьмите извозчика.

Слава богу, этот ничего не сказал.

— Генерала Карташева?! Николая Семеныча?

Тема стоял ни жив ни мертв. Это было на базарной площади, и говорил высокий, здоровый, немного пьяный старик.

«А вдруг он меня сейчас ударит?!» — подумал Тема.

— Батюшки мои! Да ведь это мой генерал! Я ведь с ним, когда он эскадронным еще... Лизка! Лизка-а!

Подошла толстая, краснощекая торговка.

— Воз давай! — орал старик.

— Какой еще воз?

— Давай воз! Генеральский сын! Того генерала, что жизнь мою... Помнишь, дура, говорил тебе сколько раз... Офицер на войне... Ну вот из-под лошади... Э, дура!

«Дура» вспомнила и с любопытством осматривала Тему.

— Ну, так вот сын его... Ну давай, что ли, воз! Сам повезу... С рук на руки сдам. Вот что!

— А кавуны? С десяток еще осталось!

— Ну их! Какие тут кавуны! Давай воз! Ах ты, грех какой! Ну, беда! Ах он, окаянный!

Так, причитая, размахивая руками, то наклоняясь к Теме, то опять выпрямляясь, ораторствовал старик, пока дочь его, сидя на краю телеги, поворачивала лошадь в толпе.

— Вот какое дело вышло! — продолжал кричать старик, обращаясь к окружающим.

Старик уже сидел на возу и только молча, одобрительно кивал головой на сочувственные отзывы толпы. Сидел и Тема, укутанный в свиту, с наслаждением прислушиваясь к словам старика.

— Ты хорошо знаешь моего отца? — спрашивал Тема.

— Ах ты, мой милый, милый! — говорил старик. — Отца твоего я во как знаю. Я двадцать лет его изо дня в день видал.

Ватага не отставала от Темы и вся шла тут же, возле телеги.

— Вы тут что? — накинулся было на них старик.

— Это мои мальчики, они со мной! — вступился Тема. — Они у нас живут в доме.

— Вот как! Дружки, значит? Так что ж... айда в телегу и вы!

Ватага не заставила себя упрашивать и, живо вскарабкавшись, разместились кто как мог. Через несколько минут ребятишки веселым шепотом еще раз передавали случившееся, на этот раз передавая все с комическим оттенком. Как ни был печален Тема, но и он не мог удержаться и фыркал, когда Яшка передавал, как они утекали от пещистого. Нередко на чью-нибудь меткую остроту раздавался дружный сдержанный смех остальной компании.

— Прысь, прысь! — говорил старик, за спиной которого шушукались дети, как котята в мешке.

И, откинувшись к ним, старик долго любовался своим грузом.

— Вишь, как они!.. Как мухи к меду... Не брезгуешь... — И, повернувшись назад, старик убежденно закончил: — И господь не побрезгует тобой.

* * *

Только через неделю была готова новая форма.

Когда Тема появился первый раз в классе, занятия были уже в полном разгаре.

Тему проводили из дому с большим почетом. Приехавший батюшка отслужил молебен. Мать торжественно перекрестила его с надлежащими наставлениями новеньким образом, который и повесила ему на шею. Он перецеловался со всеми, как будто уезжал на несколько лет. Сережику он обещал принести из гимназии лошадку. Мать, стоя на крыльце, в последний раз перекрестила отъезжавших отца и сына. Отец сам вез Тему, чтобы сдать его с рук на руки гимназическому начальству. На козлах сидел Еремей, больше чем когда-либо торжественный. Сам Гнедко вез

Тему. В воротах стоял Иоська и сиротливо улыбался своему товарищу. Из наемного двора высыпала вся ватага ребятшек, с разинутыми ртами провожающая глазами своего члена. Тут были все налицо: Гераська, Яшка, Колька, Тимошка, Петька, Васька... В открытые ворота мелькнул наемный двор, всевозможные кучи, вросшие в землю избушки, чуть блеснула стена старого кладбища. Вспомнилось прошлое, мелькнуло сознание, что все это уж назади, как ножом отрезано... Что-то сжало горло Темы, но он покосился на отца и удержался. Дорогой отец говорил Теме о том, что его ждет в гимназии, о товариществе, как в его время преследовали ябед — накрывали шинелями и били...

Тема слушал знакомые рассказы и чувствовал, что он будет надежным хранителем товарищеской чести. В его голове рисовались целые картины геройских подвигов.

У дверей класса Тема поцеловался в последний раз с отцом и остался один.

Сердце его немного дрогнуло при виде большого класса, набитого массою детских фигур. Одни на него смотрели с любопытством, другие насмешливо, но все равнодушно и безучастно; их было слишком много, чтобы интересоваться Темой. Вошел Иван Иванович, высокий, черный надзиратель, совсем молодой еще, конфузливый, добрый, и крикнул:

— Господа, есть еще место?

На каждой скамейке сидело по четыре человека. Свободное место оказалось на последней скамейке.

— Ну, вот и садись, — проговорил Иван Иванович и, постояв еще мгновение, вышел из класса.

Тема пошел скрепя сердце па последнюю скамейку. Из рассказов отца он знал, что там сидят самые лентяи, но делать было нечего.

— Сюда! — строго скомандовал высокий, плотный, краснощекий мальчик лет четырнадцати.

Тему поразил этот верзила, составлявший резкий контраст со всеми остальными ребятами.

— Полежай! — скомандовал Вахнов и довольно бесцеремонно толкнул Тему между собой и маленьким черным гимназистом, точно шапкой покрытым мохнатыми, нечесаными волосами.

Из-под этих волос на Тему сверкнула пара косых черных глаз и снова куда-то скрылась.

Несколько человек бесцеремонно подошли к соседним скамьям и смотрели на конфузившегося, не знавшего куда девать свои руки и ноги Тему. Из них особенно впился в Тему белобрысый некрасивый гимназист Корнев, с заплыв-

шими небольшими глазами, как-то в упор, пренебрежительно и недружелюбно осматривая его. Вахнов, облокотившись локтем о скамейку, подперев щеку рукой, тоже осматривал Тему сбоку с каким-то бессмысленным любопытством.

— Как твоя фамилия? — спросил он наконец у Темы.

— Карташев.

— Как? Руль нашел? — переспросил Вахнов.

— Очень остроумно! — едко проговорил белобрысый гимназист и, пренебрежительно отвернувшись, пошел на свое место.

— Это сволочь! — шепнул Вахнов на ухо Теме.

— Ябеда? — спросил тоже на ухо Тема.

Вахнов кивнул головой.

— Его били под шинелями? — спросил опять Тема.

— Нет еще, тебя дожидались, — как-то загадочно проговорил Вахнов.

Тема посмотрел на Вахнова.

Вахнов молча, сосредоточенно поднял вверх палец.

Вошел учитель географии, желтый, расстроенный. Он как-то устало, небрежно сел и раздраженно начал переключку. Он то и дело харкал и плевался во все стороны. Когда дошло до фамилии Карташева, Тема по примеру других, сказал:

— Есть!

Учитель остановился, подумал и спросил:

— Где?

— Встань! — толкнул его Вахнов.

Тема встал.

— Где вы там? — перегнулся учитель и чуть не крикнул: — Да подите сюда! Прячется где-то... ищи его.

Тема выбрался, получив от Вахнова пинка, и стал перед учителем.

Учитель смерил глазами Тему и сказал:

— Вы что ж? Ничего не знаете из пройденного?

— Я был болен, — ответил Тема.

— Что ж мне-то прикажете делать? С вами отдельно начинать с начала, а остальные пусть ждут?

Тема ничего не ответил. Учитель раздраженно проговорил:

— Ну, так вот что, как вам угодно; если через неделю вы не будете знать всего пройденного, я вам начну ставить единицы до тех пор, пока вы не нагоните. Понятно?

— Понятно, — ответил Тема.

— Ну, и ступайте.

— Ничего, — прошептал успокоительно Вахнов. — Уж без того не обойдется все равно, чтоб не застрять на второй год. Ты знаешь, сколько лет я уже высидел?

— Нет.

— Угадай!

— Больше двух лет, кажется, нельзя.

— Три. Это только для меня, потому что я сын севастопольского героя.

Следующий урок был рисование. Теме дали карандаш и бумагу.

Тема начал выводить с модели какой-то нос, но у него не было никаких способностей к рисованию. Выходило что-то совсем несообразное.

— Ты совсем не умеешь рисовать? — спросил Вахнов.

— Не умю, — ответил Тема.

— Сотри! Я тебе нарисую.

Тема стер. Вахнов в несколько штрихов красиво нарисовал ему большой, выпуклый, с шишкой нос.

— Разве он похож на этот нос? — спросил огорченно Тема, сравнивая его с моделью римского носа.

— Ну, вот глупости! Ты можешь рисовать всякий, какой захочешь... Лишь бы был нос. Ну, скажешь, что у дяди твоего такой нос... Вот и все. Это все глупости. А вот, хочешь, я покажу тебе фокус, только крепко держи.

Вахнов сунул в руку Темы какой-то продолговатый предмет.

— Крепко держи!

— Ты что-нибудь сделаешь?

— Ну вот... только держи... крепче! — и Вахнов с силой дернул шнурок.

В то же мгновение Тема с пронзительным криком, уколотый двумя высунувшимися иголками, хватил со всего размаху Вахнова по лицу.

Учитель встал со своего места и пошел к Теме.

— Только выдай, сегодня же отделаем под шинелями, — прошептал Вахнов.

Учитель, с каким-то болезненным, прозрачным лицом, с длинными бакенбардами, с стеклянными глазами, подошел и устался на Тему.

— Как фамилия?

— Карташев.

— Встаньте!

Тема встал.

— Вы что ж, в кабак сюда пришли?

Тема молчал.

— Ваше рисование?

Тема протянул свой нос.

— Это что ж такое?

— Это моего дяди нос, — отвечал Тема.

— Вашего дяди? — загадочно переспросил учитель. — Хорошо-с, ступайте из класса!

— Я больше не буду, — прошептал Тема.

— Хорошо-с, ступайте из класса. — И учитель ушел на свое место.

— Идти, это ничего, — прошептал Вахнов. — Постоишь до конца урока и придешь назад. Молодец! Первым товарищем будешь!

Тема вышел из класса и стал в темном коридоре у самых дверей. Немного погодя в конце коридора показалась фигура в форменном фраке. Фигура быстро подвигалась к Теме.

— Вы зачем здесь? — наклоняясь к Теме, спросил как-то неопределенно мягко господин.

Тема увидел перед собой черное, с козлиной бородой лицо, большие черные глаза с массой тонких синих жилок вокруг них.

— Я... Учитель сказал мне постоять здесь.

— Вы шалили?

— Н...нет.

— Ваша фамилия?

— Карташев.

— Вы маленький негодяй, однако! — проговорил господин, совсем близко приближая свое лицо, таким голосом, что Теме показалось, будто господин этот оскалил зубы.

Тема задрожал от страха. Его охватило такое же чувство ужаса, как в сарае, когда он остался с глазу на глаз с Абрумкой.

— За что Карташев выслан из класса? — спросил он, распахнув дверь.

При появлении господина весь класс шумно встал и вытянулся в струнку.

— Дерется, — проговорил учитель. — Я дал ему модель носа, а он вот что нарисовал и говорит, что это нос его дяди.

Светлый класс, масса народу успокоили Тему. Он понял, что сделался жертвой Вахнова, понял, что необходимо объясниться, но, на свое счастье, он вспомнил и наставление отца о товариществе. Ему показалось особенно удобным именно теперь, перед всем классом, заявить, так сказать, себя сразу, и он заговорил взволнованным, но уверенным и убежденным голосом:

— Я, конечно, никогда не выдам товарищей, но я все-таки могу сказать, что я ни в чем не виноват, потому что меня очень нехорошо обманули и ска...

— Молчать! — заревел благим матом господин в форменном фраке. — Негодный мальчишка!

Теме, не привыкшему к гимназической дисциплине, пришла другая несчастная мысль в голову.

— Позвольте... — заговорил он дрожащим, растерянным голосом. — Вы разве смеете на меня так кричать и ругать меня?

— Вон!! — заревел господин во фраке и, схватив за руку Тему, потащил за собой по коридору.

— Постойте... — упирался сбившийся окончательно с толку Тема. — Я не хочу с вами идти... Постойте...

Но господин продолжал волочить Тему. Дотащив его до дежурной, господин обратился к выскочившему надзирателю и проговорил, задыхаясь от бешенства:

— Везите этого дерзкого сорванца домой и скажите, что он исключен из гимназии.

Отец, успевший только что возвратиться из города, передавал жене гимназические впечатления. Мать сидела в столовой и занималась с Зиной и Наташей. Из открытых дверей детской доносилась возня Серезжика с Ансй.

— Так все-таки испугался?

— Струсил, — усмехнулся отец. — Глазенки забегали. Привыкнет.

— Бедный мальчик, трудно ему будет! — вздохнула мать и, посмотрев на часы, проговорила: — Второй урок кончается. Сегодня надо будет ему торжественную встречу сделать. Надо заказать к обеду все любимые его блюда.

— Мама, — вмешалась Зина, — он любит больше всего компот.

— Я подарю ему свою записную книжечку.

— Какую, мама? Из слоновой кости? — спросила Зина.

— Да.

— Мама, а я подарю ему свою коробочку. Знаешь? Голубенькую.

— А я, мама, что подарю? — спросила Наташа. — Он шоколад любит... я подарю ему шоколаду.

— Хорошо, милая девочка. Все положим на серебряный поднос и, когда он войдет в гостиную, торжественно поднесем ему.

— Ну, и я ему тоже подарю: кинжал в бархатной оправе, — проговорил отец.

— Ну, уж это будет полный праздник ему...

Звонok прервал дальнейшие разговоры.

— Кто б это мог быть? — спросила мать и, войдя в спальню, заглянула на улицу.

У калитки стоял Тема с каким-то незнакомым господином в помятой шляпе.

Сердце матери тоскливо ёкнуло.

— Что с тобой?! — окликнула она Тему, входившего с каким-то взбудораженным, перевернутым лицом.

На этом лице было в это мгновение все: стыд, растерянность, какая-то тупая напряженность, раздражение, оскорбленное чувство, — одним словом, такого лица мать не только никогда не видала у своего сына, но даже и представить себе не могла, чтобы оно могло быть таким. Своим материнским сердцем она сейчас же поняла, что с Темой случилось какое-то большое горе.

— Что с тобой, мой мальчик?

Этот мягкий, нежный вопрос, обдав Тему привычным теплом и лаской семьи после всех этих холодных, безучастных лиц гимназии, потряс его до самых тончайших фибр его существа.

— Мама! — мог только закричать он и бросился, судорожно, безумно рыдая, к матери...

После обеда Карташевы, муж и жена, посхалп объясняться к директору.

Господин во фраке, оказавшийся самим директором, принял их в своей гостиной сухо и сдержанно, но вежливо, с порядочностью воспитанного человека.

Горячий пыл матери разбился о нервный, но сдержанный и сухой тон директора. Он деликатно, терпеливо слушал ее взгляды на воспитание, какие именно цели она преследовала, слушал, скрывая ощущение какого-то невольного пренебрежения к словам матери, и когда она кончила, как-то нехотя начал:

— В моем распоряжении с лишком чтыреста детей. Каждая мать, конечно, воспитывает своих детей, как ей кажется, лучше, считает, конечно, свою систему идеальной и решительно забывает только об одном — о дальнейшем, общественном уже воспитании своего ребенка, совершенно забывает о том руководителе, на обязанности которого лежит сплотить всю эту разрозненную массу в нечто такое, с чем, говоря о практической стороне дела, можно было бы совладать. Если каждый ребенок начнет рассуждать с своей точки зрения о правах своего начальника, забудет себе в свою легкомысленную, взбалмошную голову правила какого-то товарищества, цель которого прежде всего скрывать шалости, — следовательно, в основе его уже стремление высвободиться от влияния руководителя, — зачем же тогда

эти руководители? Будем последовательны — зачем же мы тогда? Мне кажется: раз вы почему-либо признаете необходимость для вашего сына общественное воспитание, раз вы почему-либо отказываетесь от его дальнейшего обучения и передаете его нам, вы тем самым обязаны беспресловенно признать все наши правила, созданные не для одного, а для всех. К этому обязывает вас и справедливость: мы не мешались в воспитание вашего сына до поступления его в гимназию...

— Но ведь он остается же моим сыном?

— Во всем остальном, кроме гимназии. С момента его поступления ребенок должен понимать и знать, что вся власть над ним в сфере его занятий переходит к его новым руководителям. Если это сознание будет глубоко сидеть в нем, это даст ему возможность благополучно сделать карьеру; в противном случае рано или поздно явится необходимость пожертвовать им для поддержания порядка существующего гимназического строя. Это я прошу вас принять как мой окончательный ультиматум как директора гимназии, а как частный человек могу только прибавить, что если б даже я желал что-нибудь изменить в этом, то мне ничего другого не оставалось бы сделать, как выйти в отставку. Говорю вам это, чтоб яснее обрисовать положение вещей. Сын ваш, конечно, не будет исключен, и я должен был прибегнуть к такой крутой мере только для того, чтобы прескратить невозможную, говоря откровенно — возмутительную сцену. Безнаказанным его поступка тоже нельзя оставить... для других. Я верю в его невинность и в самом скором времени постараюсь удалить эту язву Вахнова, которого мы держим из-за раненого отца, оказавшего в Севастопольскую кампанию большие услуги городу... Но всякому терпению есть границы. Педагогический совет определит сегодня меру наказания вашему сыну, и сегодня же я уведомяю вас. Больше, к сожалению, я ничего не могу для вас сделать.

Мать Карташева молча, взволнованно встала. В ней все бурлило и волновалось, но она как-то совершенно потеряла под собой почву. Она чувствовала свое полное бессилие и вместе с тем чувствовала, что ее все больше охватывало желание чем-нибудь задеть неуязвимого директора. Но она побоялась повредить сыну и предпочла лучше поскорее уехать.

— Я хотел только сказать — проговорил, вставая за женой, Карташев, — я вполне разделяю все ваши взгляды... Я сам военный, и странно было бы не сочувствовать вам... Дисциплина... конечно... Но я хотел вам сказать насчет то-

варищества... Всё ж таки, мне кажется, нельзя отрицать его пользы...

Жена с усудовольствием нетерпеливо ждала конца начатого мужем совершенно бесполезного разговора.

— Совершенно отрицаю в том виде, как оно вообще понимается, — ответил директор; — а именно: скрывать негодяев, заслуживающих наказания.

— Боже мой, — прошептала Карташева, — нашаливший ребенок — негодяй!

И вдруг то, чего она боялась, что еще держала в себе, вылетело как-то само собой:

— Но этот негодяй заслуживает все-таки, чтобы его выслушали, прежде чем осыпать его бранью?

Директор вспыхнул до корня волос.

— Сударыня, если я смею сказать вам у себя в доме... я сказал бы... Я сказал бы, что не считаю себя ответственным в своих поступках перед вами.

Карташева спохватилась.

— Я прошу вас извинить мою невольную горячность... Это так ново... пожалуйста, извините... У вашей жены есть дети? — обратилась она с неожиданным вопросом к директору.

— Есть, — озадаченно ответил он.

— Передайте ей, — дрожащим голосом проговорила Карташева, — что я от всего сердца желаю ей и ее детям никогда не пережить того, что пережили сегодня я и мой сын.

И, едва сдерживая слезы, она вышла на лестницу и поспешно спустилась к экипажу.

Сидя в экипаже, она ждала мужа, который остался еще, чтобы какой-нибудь прощальной фразой смягчить впечатление, произведенное его женой на директора... Мысли беспорядочно, нервно пронеслись в ее голове. Чужая... Совсем чужая... Все пережитое, пережитое, выстраданное не дает никаких прав. Это оценка того, кому непосредственно с рук на руки отдаешь свой десятилетний, напряженный до боли труд. Убийственное равнодушие... Общие соображения?! Точно это общее существует отвлеченно, где-то само для себя, а не для тех же отдельных субъектов... Точно это общее, а не они сами, со временем станет за них в ряды честных, беззаветных работников своей родины... Точно нельзя, не нарушая этого общего, не топтать в грязь самолюбия ребенка.

— Едем, — проговорила она нервно садившемуся мужу, — едем скорее от этих неуязвимых людей, которые ду-

мают только о своих удобствах и не в состоянии даже вспомнить, что сами были когда-то детьми.

Вечером было прислано определение педагогического совета. Тема в течение недели должен был на лишний час оставаться в гимназии после уроков.

На следующий день Тема с надлежащими инструкциями был отправлен в гимназию уже один.

Поднимаясь по лестнице, Тема лицом к лицу столкнулся с директором. Он не заметил сначала директора, который, стоя наверху, молча, внимательно наблюдал маленькую фигурку, усердно шагавшую через две ступени. Когда, поднявшись, он увидал директора, черные глаза последнего строго и холодно смотрели на него. Тема испуганно, неловко стащил шалку и поклонился.

Директор едва заметно кивнул головой и отвел глаза.

VII. БУДНИ

Мелкий ноябрьский дождь однообразно барабанил в окна.

На больших часах в столовой медленно, хрипло пробило семь часов утра.

Зина, поступившая в том же году в гимназию, в форменном коричневом платье, в белой пелеринке, сидела за чайным столом, пила молоко и тихо бурчала себе под нос, постоянно заглядывая в открытую, лежавшую перед ней книгу.

Когда пробили часы, Зина быстро встала и, подойдя к Теминой комнате, проговорила через дверь:

— Тема, уже четверть восьмого.

Из Теминой комнаты послышалось какое-то неопределенное мычание.

Зина возвратилась к книге, и снова в столовой раздался тихий, равномерный гул ее голоса.

В комнате Темы царил мертвая тишина.

Зина опять подошла к двери и энергично произнесла:

— Тема, да вставай же!

На этот раз Тема недовольным, сонным голосом ответил:

— И без тебя встану!

— Осталось всего пятнадцать минут, я тебя ни одной минуты не буду ждать. Я не желаю из-за тебя каждый раз опаздывать.

Тема неохотно поднялся.

Надев сапоги, он подошел к умывальнику, раза два плеснул себе в лицо водой, кое-как обтерся, схватил грешок, сделал небрежный раздел сбоку — кривой и неровный, несколько раз чеснул свои густые волосы; не докончив, пригладил их нетерпеливо руками и, одевшись, застегивая сюртук на ходу, вышел в столовую.

— Мама приказала, чтоб ты непременно стакан молока выпил, — проговорила Зина.

Тема только сдвинул молча брови.

— Я не буду такой бурды пить... Пей сама! — ответил Тема, толкая поданный Таней стакан чаю.

— Артемий Николаевич, мама крепкий же не позволяют.

Тема посидел несколько мгновений, затем решительно вскочил, взял чайник и подлил в стакан крепкого чаю.

Таня посмотрела на Зину, Зина на Тему, а Тема, довольный, что добился своего, макал в чай хлеб и ел его, ни на кого не глядя.

— Молоко будете пить? — спросила Таня.

— Полстакана!

После молока Зина встала и, решительно проговорив: «Я больше ни минуты не жду», начала поспешно собирать свои тетради и книги.

Тема не спеша последовал ее примеру.

Брат и сестра вышли на подъезд, где давно уже ждал их со всех сторон закрытый, точно облитый водой экипаж, мокрая Буланка и такой же мокрый, сгорбившийся одноглазый Еремей.

В экипаже исчезли сперва Зина, а за ней Тема.

Еремей застегнул фартук и поехал.

Дождь уныло барабанил по крыше экипажа. Теме вдруг показалось, что Зина заняла больше половины сиденья, и потому он начал полегоньку теснить Зину.

— Тема, что тебе надо? — спросила будто ничего не понимавшая Зина.

— Ну, да ты расселась так, что мне тесно!

И Тема еще сильнее нажал на Зину.

— Тема, если ты сейчас не перестанешь, — проговорила Зина, упираясь изо всех сил ногами, — я назад поеду, к папе!..

Тема молча продолжал свое дело. Сила была на его стороне.

— Еремей, поезжай назад! — потеряв терпение, крикнула Зина.

— Еремей, пошел вперед! — закричал в то же время Тема.

- Еремей — назад!
— Еремей — вперед!

Окончательно растерявшийся Еремей остановился и, заглядывая через щель единственным глазом к своим неживчивым седам, проговорил:

— Ну ей-же-богу, я слизу с козел, и идьте, як хотьте, бо вже не знаю, кого и слухаты!

Внутри экипажа все стихло. Еремей поехал дальше. Он благополучно добрался до женской гимназии, где сошла Зина. Тема поехал дальше один.

Фантазия незаметно унесла его далеко от действительности, на необитаемый остров, где он, всласть навоевавшись с дикарями и со всевозможными чудовищами мира, надумал наконец умирать.

Умирать Тема любил. Все будут жалеть его, плакать, и он будет плакать... И слезы вот-вот уж готовы брызнуть из глаз Темы... А Еремей давно уже стоит у ворот гимназии и удивленным глазом смотрит в щелку. Тема испуганно приходит в себя, оглядывается, по царящей тишине во дворе соображает, что опоздал, и сердце его тоскливо замирает. Он быстро пробегает двор, лестницу, проворно снимает пальто и старается незамеченным проскользнуть по коридору.

Но высокий Иван Иванович, размахивая своими длинными руками, уже идет навстречу. Он как-то мимоходом ловит за плечо Тему, заглядывает ему в лицо и лениво спрашивает:

— Карташев?

— Иван Иванович, не записывайте, — просит Тема.

— Учитель же все равно запишет, — отвечает флегматично Иван Иванович, у которого не хватает духу прямо отказать.

— У нас батюшка... я попрошу...

Иван Иванович нерешительно, нехотя говорит:

— Хорошо...

Тема отворяет большую дверь и как-то боком входит в свой класс. Его обдает спертым, теплым воздухом, он торопливо кланяется батюшке и спешит озабоченно на свое место.

По окончании урока маленькая фигурка бежит за священником.

— Батюшка, сотрите мне abs¹.

Батюшка идет, переваливаясь с боку на бок, не спеша

¹ abs — отсутствует (от лат. absens).

откидывает свою шелковую рясу, достает платок, сморкается и спрашивает Тему:

— А зачем же вы опаздываете?

За Темой и батюшкой, толкаясь, бежит целый хвост любопытных учеников. Всякому интересно хоть одним ухом послушать, в чем дело.

— У нас часы отстают, — отвечает Тема, понижая голос так, чтобы другие не слышали. — Я теперь их поставлю на четверть часа вперед.

— Вы часов не портите, а лучше сами вставляйте на четверть часа раньше, — говорит батюшка и исчезает в дверях учительской.

Хвост фыркает.

Тема подавляет недоумение, делает беспечную физиономию перед насмешливо смотрящими на него учениками и спешит в класс. Там он садится на свое место, поднимает оба колена, упирается ими в скамью и, стараясь смотреть равнодушно, вдумывается в смысл батюшкиных слов.

Вахнов свернул бумажку и, помочив ее слюнями, водит ею вокруг шеи и лица Темы. Тема досадливо говорит:

— Ну, отстань же!

Но Вахнов не отстает.

— Ну что ты за свинья! — говорит Тема.

В ответ Вахнов хватает Тему за руку и выкручивает ее ему за спину. У Темы закипает бессильная злоба, ему хочется треснуть Вахнова, и он пускается на хитрость.

— Ну, оставь же, — повторяет уже ласково Тема.

Вахнов смягчается, снисходительно дает Теме щелчок и выпускает его руку. Тема быстро вскакивает на скамью и, треснув Вахнова, мчится от него по скамьям. Верзила Вахнов несется за ним. Тема прыгает на пол и бросается к двери. Вахнов настигает его, мнет и со всего размаху бьет ладонью по лопаткам.

— Ну что ты за свинья! — говорит тоскливо Тема.

Вахнов отвечает увесистыми шлепками.

— Оставь же! — уже жалобно молит Тема. — Ну что ты меня мучишь?

В голосе Темы слышатся Вахнову слезы. Ему делается жаль Тему.

— Му-мочка! — говорит Вахнов и опять, уже от избытка чувств, тискает Тему.

По коридору идет молодой, в очках, учитель латинского языка Хлопов. При входе учителя все уже по местам. Хлопов внимательно осматривает класс, быстро делает переключку, затем сходит со своего возвышения и весь урок гуляет по классу, не упуская ни на мгновение никого из виду.

Проходя мимо скамьи, где сидит маленький с кудрявой головой и потешной птичьей физиономией Герберг, учитель останавливается, нюхает воздух и говорит:

— Опять чесноком воняет?!

Герберг краснеет, так как аромат несется из его ящика, где лежит аппетитный кусок принесенной им для завтрака фаршированной щуки.

— Я вас в класс не буду пускать! Что это за гадость?! Сейчас же вынесите вон! — И, помолчав, говорит вслед уносящему свое лакомство Гербергу:

— Можете себе наслаждаться, когда уж так нравится, дома.

Ученики фыркают, смотрят на Герберга, но на лице последнего, кроме непонимания: как может не нравиться такая вкусная вещь, как фаршированная щука, — ничего другого не отражается. Тема с любопытством смотрит на Герберга, потому что он сын Лейбы, и Тема, постоянно видевший Мошку за прилавком отца, никак не может освоиться с фигурой его в гимназическом сюртуке.

— Корнев, склоняйте, — говорит учитель.

Корнев встает, перекашивает свое и без того некрасивое, вздутое лицо и кисло начинает хриплым, низким голосом.

Учитель слушает и раздраженно морщится.

— Да, что вы скрипите, как немазаная телега? Ведь, наверно же, во время рекреации умеете говорить другим голосом.

Корнев прокашливается и начинает с более высокой ноты.

— Иванов, продолжайте...

Сосед Темы, Иванов, встает, смотрит своими косыми глазами на учителя и продолжает.

— Неверно! Вахнов, поправить!

Вахнов востропанно вскакивает и молчит.

— Карташев!

Тема вскакивает и поправляет.

— Ну? Дальше!

— Я не знаю, — угрюмо отвечает Иванов.

— Вахнов!

— Я вчера болен был.

— Болен, — кивает головой учитель. — Карташев!

Тема встает и вздыхает: недаром он хотел повторить перед уроком — все выскочило из головы.

— Ну, не знаете, говорите прямо!

— Я вчера учил.

— Ну, так говорите же!

Тема сдвигает брови и усленно смотрит вперед.

— Садитесь!

Учитель в упор осматривает Вахнова, Карташева и Иванова.

Вахнов самодовольно водит глазами из стороны в сторону. Иванов, сдвинув брови, угрюмо смотрит в скамью. Затянутый, бледный Тема огорченно, пылливо всматривается своими испуганными голубыми глазами в учителя и говорит:

— Я вчера знал. Я испугался...

Учитель пренебрежительно фыркает и отворачивается.

— Яковлев, фразы!

Встает первый ученик Яковлев и уверенно, спокойно говорит:

— *Asinus excitatur baculo.*

— Швандер! Переводите.

Встает ненормально толстый, упитанный, чистенький мальчик. Он корчит болезненные рожи и облизывается.

— Пошел облизываться! Да что вы меня есть собираетесь, что ли?

Ученики смеются.

Швандер судорожно нажимает большим пальцем на скамью, делает усилие и говорит:

— Оссл...

— Ну?

— Погоняется...

Швандер делает еще одну болезненную гримасу и кончает:

— Палкою.

— Слава богу, родил!

— Вторая половина урока посвящается письменному ответу.

Учитель ходит и внимательно следит, чтобы не списывали. Глаза его встречаются с глазами Данилова, в которых вдруг что-то подметил пронизательный учитель.

— Данилов, дайте вашу книжку.

— У меня нет книжки, — говорит, краснея, Данилов и словком поднимается с места, зажимая в то же время коленями латинскую грамматику.

Учитель заглядывает и собственноручно вытаскивает злополучную книгу.

Данилов сконфуженно смотрит в скамью.

— Тихоня, тихоня, а мошенничать уже научился! Стыдно! Станьте без места!

Симпатичная сутуловатая фигура Данилова как-то решительно идет к учительскому месту и становится лицом к

классу. Его сконфуженные, красивые глаза смотрят добродушно и открыто прямо в глаза учителю.

Раздается давно ожидаемый, отраднй для ученического слуха звонок.

— К следующему классу...

Учитель задает по грамматике, потом фразы с латинского на русский, затем сам диктует с русского на латинский и, отняв еще пять минут из рекреационных, наконец уходит.

Больше всего огорчают учеников эти лишние пять минут.

После уроков Хлопова как-то мало оживления. Большинство сидит в любимой позе — с коленками, упертыми в скамью, и устало, бесцельно смотрит.

На учительском возвышении неожиданно появляется старый, толстый учитель русского языка.

— У попугая на шесте было весело! — монотонно, нараспев тянет он и чешет свою лысину о приставленную к ней линейку.

Теме с Вахновым тоже весело, и никакого дела им нет ни до попугая, ни до учителя, ни до его системы, в силу которой учитель считал необходимым прежде всего ознакомить детей с синтаксисом.

— Герберг, где подлежащее?

— На шесте, — вскакивает Герберг и впивается своей птичьей физиономией в учителя.

— Дурак, — тем же тоном говорит учитель, — ты сам на шесте... Карташев!..

Тема, только что получивший в самый нос щелчок, встрепанно вскакивает и в то же мгновение совсем исчезает, потому что Вахнов ловким движением своей ноги стаскивает его на пол.

— Карташев, ты куда девался? — кричит учитель.

Тема, красный, появляется и объясняет, что он провалился.

— Как ты мог провалиться, когда под тобою твердый пол?

— Я поскользнулся...

— Как ты мог поскользнуться, когда ты стоял?

Вместо ответа Тема опять едет под скамью. Он снова появляется и с ожесточенным отчаянием смотрит украдкой на Вахнова. Вахнов, положив локоть на скамью, прижимает ладонью рот, чтобы не прыснуть, и не смотрит на Тему. Тема срывает сердце незаметным пинком Вахнову в плечо, но учитель увидел это и обиделся.

— Карташеву единицу за поведение!

Лысая, как колено, голова учителя наклоняется и ищет фамилию Карташева. Тема, пока учитель не видит, еще раз срывает свой гнев и теребит Вахнова за волосы.

— Карташев, где подлежащее?

Тема мгновенно бросает Вахнова и ищет глазами подлежащее.

Яковлев, отвалившись вполуоборот с передней скамьи, смотрит на Тему. «Подскажи!» — молят глаза Темы.

— У попугая, — шепчет Яковлев, и ноздри его раздуваются от предстоящего наслаждения.

— У попугая, — подхватывает радостно Тема.

Общий хохот.

— Дурак, ты сам попугай... С этих пор Карташев — не Карташев, а попугай. Герберг — не Герберг, а шест. Попугай на шесте — Карташев на Герберге.

Класс хохочет. Яковлев стонет от восторга.

Толстая, громадная фигура учителя начинает слегка колыхаться. Добродушные маленькие серые глаза прищуриваются, и некоторое время старческое «хе-хе-хе» несется по классу.

Но вдруг лицо учителя опять делается серьезным, класс стихает, и тот же монотонный голос нараспев продолжает:

— В классе — где подлежащее?

Гробовое молчание.

— Дурачье! — добродушно, нараспев говорит учитель.— Все попугай и шесты. Сидят попугай на шестах.

Между тем Тема не спускал глаз с Яковлева.

— Разве он смеет подсказывать глупости? — не то советуется, не то протестует Тема, обращаясь к Вахнову.

Как только раздается звонок, он бросается к Яковлеву:

— Ты смеешь глупости подсказывать?

— А тебе вольно повторять, — пренебрежительно фыркает Яковлев.

— Так вот же тебе! — говорит Тема и со всего размаху бьет его кулаком по лицу. — Теперь подсказывай!

Яковлев первое мгновение растерянно смотрит и затем порывисто, не удастая никого взглядом, быстро уходит из класса. Немного погодя появляется в дверях бритое, широкое лицо инспектора, а за ним весь в слезах Яковлев.

— Карташев, подите сюда! — сухо и резко раздается в классе.

Тема поднимается, идет и испуганно смотрит в выпученные голубые глаза инспектора.

— Вы ударили Яковлева?

— Он...

— Я вас спрашиваю: ударили вы Яковлева?

И голос инспектора переходит в сухой треск.

— Ударил, — тихо отвечает Тема.

— Завтра на два часа без обеда.

Инспектор уходит. Тема, воспрянувший от милостивого наказания, победоносно обращается к Яковлеву и говорит:

— Ябеда!

— А по-твоему, ты будешь по морде бить, а тебе ручки за это целовать? — грызя ногти и впиваясь своими маленькими глазами в Тему, ядовито-спокойно спросил Корнев.

Вошел новый учитель — немецкого языка. Борис Борисович Кноп. Это была маленькая, тщедушная фигурка. Такие фигурки часто попадают между фарфоровыми статуэтками: в клетчатых штанах и синем фраке с длинными, узкими рукавами. Он шел тихо, медленной походкой, которую ученики называли «раскарякой».

В Борисе Борисовиче ничего не было учительского. Встретив его на улице, можно было бы принять за портного, садовника, мелкого чиновника, но не за учителя.

Ученики ни про одного учителя ничего не знали из его домашней жизни, но про Бориса Борисовича знали все. Знали, что у него жена злая, две дочки — старые девы, мать — слепая старуха, горбатая тетка. Знали, что Борис Борисович бедный, что он трепещет перед начальством не хуже любого из них. Знали и то, что Борису Борисовичу можно перо смазывать салом, в чернильницу сыпать песок, а в потолок, нажевав бумаги, пускать бумажных чертей.

В последнее время Борис Борисович стал заметно подаваться.

Сделав перекличку, он с трудом сошел с возвышения, на котором стоял его стол, и расслабленно, по-стариковски, остановившись перед классом, начал не спеша вынимать из заднего кармана фрака носовой платок.

Высморкавшись, Борис Борисович поднял голову и обратился к ученикам с благодушною речью, в которой предложил им не шуметь, слушать спокойно урок и быть хорошими, добрыми детьми.

— Пожалуйста, — кончил Борис Борисович, и в голове его зазвучала просьба усталого, больного человека.

Но Борис Борисович сейчас же спохватился и уже более строго прибавил:

— А кто не захочет смиренно сидеть, того я без жалости буду совсем строго наказывать.

Несколько минут все шло хорошо. Болезненный вид учителя смирил учеников. Но Вахнов, уже наладив опыт-

ной рукой перо, издал им тонкий, тревожный, хорошо знакомый учителю звук.

Борис Борисович вскоchl:

— Вы свиньи, и с вами нельзя по-человечески говорить... Вы тогда только чувствуете уважение к человеку, когда он вас вот как душить будет.

И, дрожа от бешенства, Борис Борисович поднял свой кулачок и показал, как будет душить.

— Ах ты, немецкая селетка! — прошептал кто-то и, разжевав бумагу, искусно вклеил ее в борт фрака Бориса Борисовича.

Учитель опешил. Несколько секунд длилось молчание.

— Хорошо, — наконец как-то подавленно проговорил он. — Я вот так с этим и пойду к директору. Я покажу ему это. Я расскажу ему, что вы со мной делаете, как вы меня мучаете. Я приведу его в класс, и пусть он сам смотрит на всех этих чертей, — учитель показал на висевших по потолку на ниточке чертей, — на это перо и на эту чернильницу, и я скажу, что самый главный и злой, самый грубый, бессмысленный скот — это Вахнов.

— За что вы ругаетесь?! — вскоchl Вахнов. — Вы всегда надо мной издеваетесь. Я ничего не делаю, а вы ругаетесь.

И Вахнов вдруг завыл благим матом.

Учитель растерялся и полез в карман за табакеркой. Он медленно вынул ее из кармана, постучал по ней пальцем, открыл крышку, достал щепотку табаку и, не сводя глаз с Вахнова, начал потихоньку нюхать. Вахнов продолжал выть, внимательно наблюдая сквозь пальцы учителя.

— Я пойду жаловаться инспектору, — проговорил Вахнов, перестав вдруг завывать, и порывисто направился к двери.

— Вахнов, назад! — остановил его нерешительно учитель.

— А за что вы ругаетесь? Вы меня поймали? Когда поймаете...

— А не пойман, так не вор? Эхе-хе... Вахнов... Нехорошо...

В ответ Вахнов, садясь на место, дернул за перо.

— Ты и теперь скажешь, что не ты?

— Теперь я со злости.

— Со злости? — огорченно переспросил учитель и покачал головой. — Вахнов, Вахнов...

Учитель глубоко вздохнул и задумался.

Вахнов начал пищать так, как пищат маленькие, еще слепые щенки.

— Ва-а-хнов! — уныло проговорил учитель.

— Я давно знаю, что я Вахнов.

— Ты знаешь... Ты много знаешь... У тебя хорошее сердце, Вахнов... Сердце лошади... иди, жалуйся.

Борис Борисович закрыл глаза и опустил голову на руку. Он чувствовал какой-то особенный упадок сил.

— Иди, жалуйся на меня, — повторил он снова, с трудом открывая глаза. — Иди скажи, что тебе надоел старый, больной Борис Борисович, у которого пять человек на плечах...

Вахнов опять задергал перо.

Учитель бессильно опустил голову.

— Да брось, — обратился к Вахнову Касицкий, — ведь болен же человек!

Но на Вахнова нашло. Он, спрятав голову под скамью, начал хрюкать. Борис Борисович беспомощно оглянулся.

— Послушай ты, идиот! — вскочил Корнев, обращаясь к Вахнову. — Господа, да уймите же его! — обратился он к ближайшим товарищам Вахнова.

Серб Августич, сорвавшись с места, каким-то клубком подлетел к Вахнову и, как зверь, скаля зубы, с налитыми кровью глазами, прохрипел своим твердым наречием:

— Скотына! Убью!

Вахнов так и обмер.

— Дрань!

— Я больной, — прошептал тихо Борис Борисович. — Пожалуйста, скорее позовите надзирателя.

Августич бросился в коридор. Дети испуганно стихли.

— Ничего, ничего, это пройдет, — тоскливо шептали побелевшие губы учителя.

В классе воцарилась мертвая тишина. Учитель точно застыл, наклонившись и едва держась рукой за край стола. Весь класс замер в неподвижных позах, и только бумажные черти, подвешенные к потолку и приводимые в движение сквозняком, тянувшим из отворенной в коридор двери, медленно и беззвучно раскачивались над головой больного.

— Пожалуйста... — тоскливо обратился учитель к вошедшему Ивану Ивановичу. — Я немножко болен. Пожалуйста, помогите мне.

И учитель с помощью надзирателя, грузно опершись на его руку, медленно и тихо потащился из класса.

Последний урок был Томылина, учителя естественной истории.

Ученики свободно и непринужденно встретили входившего средних лет, представительного, полного учителя.

Он шел и легко, красиво нес в своих руках фигуры разных зверей. Положив их на стол, он вынул чистый, белый платок, смахнул им пыль с рукавов своего безукоризненно сидевшего на нем синего фрака и вытер руки. Еще на ходу, окинув весело класс, он бросил свое обычное, как будто небрежное:

— Здравствуйте, дети!

Но это «здравствуйте, дети» током пробежало по детским сердцам и заставило их весело встрепенуться.

Сделав переключку, учитель поднял голову и проговорил:

— Я принес вам, дети, прекрасный экземпляр чучела очковой змеи.

Учитель взял коробку и осторожно вынул змею. Он высоко поднял руку, и ученики приподнялись, с напряжением всматриваясь в страшную змею с большими желтыми, точно в очках, глазами.

— Очковая змея, — проговорил учитель, — ядовита. Укус ее смертелен. Яд помещается так же, как и у других ядовитых змей, в голове, возле зубов.

Томылин нажал пружину, и змея открыла рот.

— Просунь осторожно палец, — сказал Томылин, обращаясь к Августичу. — Не бойся!..

Когда Августич просунул палец, Томылин отпустил пружину, и змея снова закрыла рот.

Августич нервно отдернул палец. Все и Томылин рассмеялись.

— Ты видишь на своем пальце черные полосы: это безвредная простая жидкость, заменяющая собою яд. Теперь смотри, как этот яд из головы проходит в зубы змеи.

Учитель поднял часть кожи на голове змеи, и Августич через стеклянный череп увидел возле зубов маленькое черное пятнышко с тоненькими ниточками, исчезающими в зубах.

Ученики вскочили с своих мест и наперебой спешили заглянуть в аппарат.

— Не теснитесь, всем покажу, — произнес Томылин.

Когда осмотр кончился и класс снова пришел в порядок, Томылин заговорил:

— Дети, сегодня эта дверь затворилась, и, может быть, навсегда, за вашим учителем, потому что Борис Борисович страдает тяжелой, неизлечимой болезнью. Там, за этой дверью, ждут его пять бедных, неспособных зарабатывать себе хлеб женщин, которые без него останутся без куска хлеба...

Учитель замолчал, прошелся по классу и проговорил:

— Ну, начнем. Тема, отвечай!

Тема, всегда добросовестно учивший естественную историю, на этот раз не знал урока, потому что, по расписанию, Томылин должен был в этот урок рассказывать.

Тема сгорел от стыда, прежде чем открыл рот. Когда он кончил, Томылин, огорченный, не то спросил, не то сказал:

— Не выучил?

Тема сел и расплакался.

Томылин вызвал другого, третьего и, казалось, забыл о Теме.

Тема перестал плакать и угрюмо-сконфуженно сидел, облокотившись на локоть. В нем шевелилось злое чувство и на себя, и на весь класс — свидетелей его слез, — и на Томылина. И он еще угрюмее сдвигал брови.

— К следующему классу выучишь урок? — спросил вдруг мимоходом Томылин, по обыкновению положив руку на волосы Темы и слегка поднимая его голову.

Тема нехотя поднял глаза, но встретил такой приветливый, ласковый взгляд учителя, взгляд, проникавший в самую глубь его души, что сердце Темы екнуло, и он быстро ответил:

— Выучу.

— Отчего ты сегодня не выучил?

— Я думал, что вы будете рассказывать.

— Ну, выучи, я еще раз спрошу.

Последний урок кончился. Ученики толпами валят на улицу.

Тема заходит за Зиной, и они оба идут пешком домой.

Зина весела. Она получила пять и вдобавок несет матери целый ворох самых интересных, самых свежих новостей.

— Спрашивали? — обращается она к Теме. — Сколько?

— Тебе какос дело?

— А мне пять, — говорит Зина.

— Ваша пятерка меньше нашей тройки, — отвечает Тема презрительно.

— Поче-е-му?

— А потому, что вы двсочки, а учителя больше любят девочек, — говорит авторитетно Тема.

— Какие глупости!

— Вот тебе и глупости!

За обедом Зина ест с аппетитом и говорит, говорит, Тема сст лениво, молчит и равнодушно-устало слушает Зипу. К общему обеду они опоздали. В столовой тем не менее, кроме отца, все налицо. Мать сидит, облокотившись

на стол, и любит свою смуглой, раскрасневшейся дочкой. Переводя глаза на сына, мать тоскливо говорит:

— Ты совсем зеленый стал... Отчего ты ничего не ешь?

— Мама, оттого, что он всегда на свои деньги сласти покупает.

— Неправда! — отвечает Тема, пораженный сообразительностью Зины.

— Ну да, неправда!

— Я поеду и попрошу директора, чтоб он устроил для желающих завтраки, — говорит мать.

Теме представляется фигура матери с ее странным проектом и сдержанная, стройная фигура директора. От одной мысли ему делается неловко за мать, и он торопится предупредить ее, говоря совершенно естественно:

— Одна мать уже приехала, и директор не согласился.

После обеда Тема идет в сад, где ветер уныло качает обнаженные деревья, сквозь которые видны все заборы сада, и кажется Теме, что меньше как будто стал сад. Из сада Тема идет к Иоське, который в теплой, грязной кухне, сидя где-нибудь в уголке и распустив свои толстые губы, возится над чем-то. Тема идет на наемный двор, пробирается между кучами и ищет глазами ватагу. Но уже нет прежних приятелей. И Гераська, и Яшка, и Колька — все они за работой. Гераська — за верстаком, Яшка и Колька ушли в город помогать родителям.

У забора копошатся остатки ватаги. Много новых, все маленькие: красные, в лохмотьях, посиневшие от холода, усердно потягивают носом и с любопытством смотрят на чужого им Тему. Знакомая пуговка блестит на воздухе, но нет уже больше ее веселых хозяев. Тема любовно, тоскливо узнает и всматривается в эту пережившую своих хозяев пуговку, и еще дороже она ему. Какие-то обрывки неясных, грустных и сладких мыслей — как этот замирающий день, здесь холодный и неприветливый, а там, между туч, в том кусочке догорающего неба, охватывающий мальчика жгучим сожалением, — толпятся в голове Темы и не хотят, и мешают, и не пускают на свободу где-то там, глубоко, в голове или в сердце как будто сидящую отчетливую мысль.

— Темочка, зайдите на часок ко мне, — выскакивает, увидев в окно Тему, Кейзеровна.

Тема входит в теплую, чистую избу, вдыхает в себя знакомый запах глины с навозом, которой заботливая хозяйка смазывает пол и печку, скользит глазами по желтому чистому полу, белым стенам, маленьким занавесочкам, потемневшему лицу рыхлой Кейзеровны и ждет.

— Темочка, кто у вас учитель немецкого языка?
— Борис Борисович, — отвечает Тема.
— Вы знаете, Темочка, у Бориса Борисовича моя сестра в услужении.

Тема ласково, осторожно говорит:

— Он сегодня немножко заболел.
— Заболел? Чем заболел? — встрепенулась Кейзеровна.
— У него голова заболела, он не закончил урока.
— Голова? — И Кейзеровна делает большие глаза, и губы ее собираются в маленький, тесный кружок. — Ох, Темочка, сестре они больше тридцати рублей должны. Надо иттить.

Тема слышит тревожную, тоскливую нотку в этом «иттить», и эта тревога передается и охватывает его.

В его воображении рисуются больной учитель и пять старых женщин, которых Тема никогда не видал, но которые вдруг, как живые, встали перед ним: вот горбатая, морщинистая старуха — это тетка; вот слепая, с длинными седыми волосами — мать.

— Кейзеровна, у матери учителя бельма на глазах?

— Нет.

— Они бедные?

— Бедные, Темочка! Не дай бог его смерти — хуже моего им будет.

— Что ж они будут делать?

— А уж я не знаю... Старуху и тетку, может, в богадельню возьмут... пастор устроит, а жена и дочери — хоть милостыньку на улицу иди просить.

— Милостыньку? — переспрашивает Тема, и его глаза широко раскрываются.

— Милостыньку, Темочка. Вот когда вырастете, будете ехать в карете и дадите им копеечку...

— Я рубль дам.

— Что бросите, за все господь заплатит. Бедному человеку подать — все равно что господу встретить... и удача всегда во всем будет. Ну, Темочка, я пойду.

Тема неохотно встает. Ему хочется расспросить и об учителе еще, и об этих женщинах, которые обречены на милостыньку. Мысли его толпятся около этой милостыньки, которая представляется ему неизбежным выходом.

Придя домой, он утомленно садится на диван возле матери и говорит:

— Знаешь, мама, Борис Борисович заболел... Кейзеровны сестра у них служит. Я ей сказал, что он заболел... Знаешь, мама, если он умрет, его мать и тетку в богадельню возьмут, а жена и две дочки пойдут милостыню просить.

— Кейзеровна говорит?

— Да, Кейзеровна. Мама, можно мне яблока?

— Можно.

Тема пошел, достал себе яблоко, и, усевшись у окна, начал усердно, в то же время озабоченно грызть его.

— А ты хочешь поехать к Борису Борисовичу?

— С кем?

— Со мной.

Тема нерешительно заглянул в окно.

— Тебе хочется?

— А это не будет стыдно?

— Стыдно? Отчего тебе кажется, что это стыдно?

— Ну хорошо, поедем, — согласился Тема.

В доме учителя Тема неловко сидел на стуле, посматривая то на старушку — мать его, маленькую, худенькую женщину в черном платье, с зеленым зонтиком на глазах, то на высокую, худую девицу с белым ликом и черненькими глазками, ласково и приветливо посматривавшими на Тему. Только жена не понравилась Теме, полная, недовольная, бледная женщина.

Сказали учителю и повели Тему к нему. За ситцевыми ширмами стояла простая кровать, столик с баночками, вышитые красивые туфли.

«Какой же он бедный, — пронеслось в голове Темы, — когда у него такие туфли?»

Тема подошел к кровати и испуганно посмотрел в лицо Бориса Борисовича. Ему бросились в глаза бледное, жалкое лицо учителя и тонкая, худая рука, которую Борис Борисович держал на груди. Борис Борисович поднял эту руку и молча погладил Тему по голове. Тема не знал, долго ли он простоял у кровати. Кто-то взял его за руку и опять повел назад. Он вошел в гостиную и остановился.

Его мать разговаривала с Томылиным. Тему как-то поразило сочетание красивого лица учителя и возбужденного молодого лица матери. Мать приветливо улыбнулась сыну своими выразительными глазами.

Теме вдруг показалось, что он давно-давно уже видел где-то вместе и мать, и Томылина, и себя.

— Здравствуй, Тема! — проговорил Томылин, ласково притянул его к себе и, обняв его рукой, продолжал слушать Аглаиду Васильевну.

— Я понимаю, конечно, — говорила она, — и все-таки можно было бы иначе устроить. Все основано на форме, на дисциплине, на страхе старших уронить как-нибудь свое достоинство, но из-за этого достоинство ребенка ни во что не ставится и безжалостно попирается на каждом шагу

нашими педагогами. Я не о вас говорю... Ваши уроки совершенно отвечают тому, как, по-моему, должно быть поставлено дело. И я не могу удержаться, чтобы не сказать, Томылин... — Мать посмотрела на Тему, на мгновение остановилась в нерешительности, вскинула глазами на Томылина и быстро продолжала по-французски: — ...Чем вы влияете на детей и чем получаете широкий доступ к их сердцам: вы щадите чувство собственного достоинства ребенка, он знает, что его маленькое самолюбие вам так же дорого, как и ваше собственное.

— Если приятна деятельность, то еще приятнее оценка ее...

— Она приятна и необходима, по-моему. Поверьте, что мы, родители, ничем не повредили бы вам, если бы имели возможность почаще делиться с вами, учителями, впечатлениями. А в теперешнем виде ваша гимназия мне напоминает суд, в котором есть и председатель, и прокурор, и постоянный подсудимый, и только нет защитника этого маленького и, потому что маленького, особенно нуждающегося в защитнике подсудимого...

Томылин молча улыбнулся.

— Ах, какая прелесть твой Томылин! — сказала дорогой мать, полная впечатлений неожиданной встречи.

Тема был счастлив за своего учителя и тоже переживал наслаждение от бывшего свидания.

— Мама, за что тебя у Бориса Борисовича благодарил?

— Я предложила им переговорить с тетей Надей, чтобы устроить одну дочь классной дамой, — а другую — учительницей музыки.

— В институте?

— В институте. Вот видишь, и не будут просить милостыню, если даже, не дай бог, и умрет Борис Борисович.

Теме после всего пережитого совсем не хотелось приниматься за приготовление уроков для другого дня.

Зина давно уже сидела за уроками, а Тема все никак не мог найти нужной ему тетради. Брат и сестра занимались в маленькой комнатке всегда под непосредственным наблюдением матери, которая обыкновенно в это время читала, сидя поодаль в кресле.

Тема уже двадцатый раз рассеянно переходил от стола к этажерке, где на отдельной полке в невозможном беспорядке, в контрасте с полкой сестры, валялась перепутанная хаотическая куча книг и тетрадей.

Зина не выдержала и молча, бросив работу, наблюдала за братом.

— Показать тебе, Тема, как ты ходишь? — спросила она и, не дожидаясь, встала, вытянула шею, сделала бессмысленные глаза, открыла рот, опустила руки и с согнутыми коленками начала ходить бесцельно, толкаясь от одной стенки к другой.

Теме решительно все равно было, как ни тянуть время, лишь бы не заниматься, и он с удовольствием смотрел на сестру.

Мать, оторвавшись от чтения, строго прикрикнула на детей.

— Мама, — проговорила Зина, — я уже полстраницы написала.

— Моя тетрадь где-то затерялась, — в оправдание проговорил нараспев Тема.

— Сама затерялась? — строго спросила мать, опуская книгу.

— Я се вот здесь положил вчера, — ответил Тема и при этом точно указал место на своей полке, куда именно он положил.

— Может быть, мне поискать тебе тетрадь?

Тема сдвинул недовольно брови и уже сосредоточенно стал искать тетрадь, которую и вытащил наконец из перепутанной кучи.

— Я ее сам закинул, — проговорил он улыбаясь.

На некоторое время воцарилось молчание.

Тема погрузился в писание и с чувством начал выводить буквы, или вернее, невозможные каракули.

Зина, вскинув глазами на брата, так и замерла в наблюдательной позе.

— Тема, показать тебе, как ты пишешь?

Тема с удовольствием оставил свое писание, и, предвкушая наслаждение, устался на сестру.

Зина, расставив локти как можно шире, совсем легла на стол, высунула на щеку язык, скосила глаза и застыла в такой позе.

— Неправда, — проговорил сомнительно Тема.

— Мама, Тема хорошо сидит, когда пишет?

— Отвратительно.

— Правда — похоже?

— Хуже даже.

— А, что? — торжествующе обратилась Зина к брату.

— А зато я быстрее тебя стихи учу, — ответил Тема.

— И вовсе нет.

— Ну, давай пари: я только два раза прочитаю и уж буду знать на память.

— Вовсе не желаю.

— Зато через час и забудешь, — проговорила мать, — а Зина всю жизнь будет помнить. Надо учить так, как Зина.

— А, что? — обрадовалась Зина.

— Ну да, если б я все так учил, как ты, — проговорил самодовольно Тема, помолчав, — я бы давно уж дураком был.

— Мама, слышишь, что он говорит?

— Это почему? — спросила мать.

— Это папа говорил.

— Кому говорил?

— Дяде Ване. Если б я, говорит, все учил, что надо, я бы и вышел таким дураком, как ты.

— А дядя Ваня что ж сказал?

— А дядя Ваня рассмеялся и говорит: ты умный, оттого ты и генерал, а я не генерал и глупый... Нет, не так: ты генерал, что умный... Нет, не так...

— То-то — не так. Слушаешь, не понимаешь и выдерживаешь, что тебе нравится. И выйдешь недоучкой.

Опять водворилось молчание.

— Зато я играю лучше тебя, — проговорила Зина.

— Это бабья наука, — ответил пренебрежительно Тема.

Зина озадаченно промолчала и принялась опять писать.

— А как же Кравченко? — вдруг спросила она, вспомнив своего учителя музыки. — Он, значит, баба?

— Баба, — ответил уверенно Тема, — оттого у него и борода не растет.

— Мама, это правда? — спросила Зина.

— Глупости! — ответила мать. — Не видишь разве, что он смеется над тобою?

— У него и хвостик есть, вот такой маленький, — проговорил Тема, показывая рукой размер хвоста.

— Мама?!

— Тема, перестань глупости говорить!

Тема смолк, но продолжал показывать руками размер хвоста.

— Мама?!

— Тема, что я сказала?

— Я ничего не говорю.

— Он показывает руками — какой хвостик.

— Еще одно слово, и я вас обоих в угол поставлю, — не глядя на Тему, ответила мать.

Он безбоязненно опять показал Зине размеры хвоста. Зина мгновение подумала и в отместку высунула язык. Тема в долгу не остался и начал делать ей гримасы. Зина отвечала тем же, и некоторое время они усердно старались

перещеголять друг друга в этом искусстве. Тема окончательно взял верх, скорчив такое лицо, что Зина не выдержала и фыркнула.

— Тема, садись за маленький столик спиною к Зине и не смей вставать и поворачиваться, пока не кончишь уроков. Стыдись! Ленивый мальчик!

Водворилась тишина, и Тема наконец благополучно кончил свои занятия. Последнюю латинскую фразу ему лень было учить, и он, отвечая матери и указывая, до каких пор ему было задано, показал пальцем до выпущенных им предлогов. Вообще проверка по латинскому языку была слаба: мать в нем знала меньше Темы и познакомилась с языком при помощи самого же Темы с целью хоть как-нибудь проверять занятия своего ленивого сына. Но это приносило скорее вред, чем пользу, и Тема, ради одного школьничества, часто морочил мать, смотря на нее как на подготовительную для себя школу по части надувания более опытных своих учителей.

Когда уроки кончились, Тема, посмотрев на часы, с наслаждением подумал об остающемся до сна часе, совершенно свободном от всяких забот. Он заглянул в темную переднюю и, заметив там Еремея, топившего соломою печь, через ворох соломы перебрался к нему и, сев рядом с ним, стал, как и Еремей, смотреть в ярко горевшую печь. Все новая и новая солома быстро исчезала в огне. Тема усердно помогал Еремею задвигать солому и с интересом ждал, когда потемневшая печь справится с новой порцией. Вот только искры да пепел сквозят через свежую охапку, и кажется — никогда она не загорится; вот как-то лениво вспыхнуло в одном, другом, третьем месте, и, охваченная вдруг вся сразу, солома с страшною, откуда-то взявшеюся силой огня уже рвется и исчезает бесследно в пожирающем ее пламени. Ярко и тепло до боли. И опять оба, и Еремей и Тема, ждут нового взрыва.

— Еремей, ты от брата получил письмо из деревни?

— Получил, — отвечает Еремей.

— Что он пишет?

— Пишет, что, слава богу, урожай был. Четвертую лошадь купил.

Еремей оживляется и рассказывает Теме о земле, посеиве, хозяйстве, которое совместно с ним ведет брат.

— Вот к празднику, если бог даст, попрошусь у папы в деревню, — говорит Еремей.

— Как, на елке не будешь?

Еремей снисходительно улыбается и говорит:

— Там же ж у меня рыдня — сваты, дружки...

— Ты кого больше всех любишь?

— Я всех люблю.

И от сладкой мысли свидания у Еремея рисуются приятные сердцу картины: повязанные головы хохлуш, хустки, тяжелые чоботы, расписная хата, на столе вареники, галушки, горилка, а за столом разгоревшиеся, добродушные, веселые и «ледащие лыца» Грицко, Остапов, Дунь и Марусенок.

— Как ты думаешь, Еремей, мне что подарят на елку?

Еремей оставляет мечты и внимательно смотрит своим одним глазом в огонь:

— Мабуть, ружье?

— Настоящее?

— Настоящее, должно быть, — нерешительно говорит Еремей.

— Вот, Темочка, — говорит подошедшая и присевшая Таня, — вырастайте скорее да в офицеры поступайте... сабля сбоку, усики такие...

— Я не буду офицером, — равнодушно говорит Тема, задумчиво смотря в огонь.

— Отчего не будете? Офицером хорошо.

И Еремей соглашается, что офицером хорошо.

— Енералом будете, як папа ваш.

— Мама не хочет, чтобы я был офицером.

— А вы попросите.

— Не хочу! Я ученым буду... как Томылин.

— Не люблю я их! Я одного учителя видала: такой некрасивый, худой... Военные лучше... усики.

— У меня тоже будут усы, — говорит Тема и старается посмотреть на свою верхнюю губу.

Таня смотрит и целует его. Тема недовольно отстраняется.

— Зачем ты целуешь?

— Скорее расти будут усы.

— Отчего скорее?

Таня молча смотрит лукаво на Еремея и улыбается. Тема переводит глаза на Еремея, который тоже загадочно улыбается и весело глядит в печку.

— Еремей, отчего?

— Да так, она шуткует, — говорит Еремей и медленно встает, так как топка печки кончилась.

Тема тоже встает и идет.

В столовой Зина, придвинув свечку, осторожно держит над нею сахар, который тает и желтыми прозрачными каплями падает на ложку, которую Зина держит другой

рукой. Наташа, Сережа и Аня внимательно следят за каждой каплей.

— И я, — говорит Тема, бросаясь к сахарнице.

— Тема, это для Наташи, у нее кашель, — протестует Зина.

— У меня тоже кашель, — отвечает Тема и с сахаром и ложкой лезет на стол.

Он усаживается с другой стороны свечи и делает то же, что Зина.

— Тема, если ты только меня толкнешь, я отниму свечку... Это моя свечка.

— Не толкну, — говорит Тема, весь поглощенный работой, с высунутым от усердия языком.

У Темы на ложку падают какие-то совсем черные, пережженные, с копотью, капли.

— Фу, какая гадость! — говорит Зина.

Маленькая компания вссело хохочет.

— Ничего, — отвечает Тема, — больше будет...

И он с наслаждением набивает себе рот леденцами в саже.

— Дети, спать пора, — говорит мать.

Тема, Зина и вся компания идут к отцу в кабинет, целуют у него руку и говорят:

— Папа, покойной ночи!

Отец отрывается от работы и быстро, озабоченно одного за другим рассеянно крестит.

Тема у себя в комнате.

Медленно где-то за окном, с каким-то однообразным отзвуком, капля за каплей падает с крыши вода на каменный пол террасы.

«День, день, день», — раздается в ушах Темы. Он прислушивается к этому звону, смотрит куда-то вперед. Он весь потонул в ощущениях прожитого дня: Еремей, Кейзеровна, дочка Бориса Борисовича, Томылин с матерью.

«Вот хорошо, если бы Томылин был мой отец», — думает вдруг почему-то Тема.

Эта откуда-то взявшаяся мысль тут же неприятно передергивает Тему. Томылин в эту минуту как-то сразу делается ему чужим, и взамен его выдвигается образ сурового, озабоченного отца.

«Я очень люблю папу, — проносится у него приятное сознание сыновней любви. — И маму люблю, и Еремея, и Бориса Борисовича, всех, всех».

— Артемий Николаевич, — заглядывает Таня, — ложитесь уже, а то завтра долго будете спать.

Тема неприятно оторван.

Да, завтра опять вставать в гимназию — и завтра, и послезавтра, и целый ряд скучных, тоскливых дней...
Тема тяжело вздыхает.

VIII. ИВАНОВ

Через несколько дней Борис Борисович умер. Мать его и тетка поступили в приют, жена и старшая дочь заботами Аглаиды Васильевны попали в институт: жена — экономкой, дочь — классной дамой. Младшую дочь Аглаида Васильевна взяла к себе, а бывшую у нее фрейлейн устроила надзирательницей детского приюта.

На место Бориса Борисовича пришел толстый, краснощекий молодой немец Роберт Иванович Клау.

Ученики сразу почувствовали, что Роберт Иванович — не Борис Борисович.

Дни шли за днями, бесцветные своим однообразием, но сильные и бесповоротные своими общими результатами.

Тема как-то незаметно сошелся с своим новым соседом, Ивановым.

Косые глаза Иванова, в первое время неприятно поражавшие Тему, при более близком знакомстве начали производить на него какое-то манящее к себе, особенно сильное впечатление. Тема не мог дать отчета, что в них было привлекательного: глубже ли взгляд казался, светлее ли как-то был он, но Тема так поддался очарованию, что стал и сам косить, сначала шутя, а потом уже не замечая, как глаза его сами собою вдруг скашивались.

Матери стоило большого труда отучить его от этой привычки.

— Что ты уродуешь свои глаза? — спрашивала она.

Но Тема, чувствуя себя похожим в этот момент на Иванова, испытывал бесконечное наслаждение.

Иванов незаметно втянул Тему в сферу своего влияния.

Вечно тихий, неподвижный, никого не трогавший, как-то равнодушно получавший единицы и пятерки, Иванов почти не сходил со своего места.

— Ты любишь страшное? — тихо спросил однажды, закрывая рукою рот, Иванов во время какого-то скучного урока.

— Какое страшное? — повернулся к нему Тема.

— Да тише! — нервно проговорил Иванов. — Сиди так, чтобы незаметно было, что ты разговариваешь. Ну, про страшное: ведьм, чертей...

— Люблю.

— В каком роде любишь?

Тема подумал и ответил:

— Во всяком роде.

— Я расскажу тебе про один случай в Испании. Да не поворачивайся же!.. Сиди, как будто слушаешь учителя. Ну, так... В одном замке, в Испании, пришлось как-то заночевать одному путешественнику.

У Темы по спине забегали уже мурашки от предстоящего удовольствия.

— Его предупреждали, что в замке происходит по ночам что-то страшное. Ровно в двенадцать часов отворялись все двери...

У Темы широко раскрылись глаза.

— Опустит глаза!.. Что смотришь так?.. Заметят... Когда страшно делается, смотри в книгу!.. Вот так. Ровно в двенадцать часов отворялись сами собою двери, зажигались все свечи, и в самой дальней комнате показывалась вдруг высокая, длинная фигура, вся в белом... Смотри в книгу!.. Я брошу рассказывать.

Тема, как очарованный, слушал.

Он любил эти страшные рассказы, неистощимым источником которых являлся Иванов. Бывало, скажет Иванов во время рекреации: «Не ходи сегодня во двор, буду рассказывать», и Тема, как прикованный, оставался на месте. Начнет и сразу захватит Тему. Подопрется, бывало, коленом о скамью и говорит, говорит — так и льется у него. Смотрит на него Тема, смотрит на маленький, болтающийся в воздухе порыжелый сапог Иванова, на лопнувшую кожу этого сапога, смотрит на едва выглядывающий засаленный, покрытый перхотью форменный воротничок, смотрит в его добрые светящиеся глаза и слушает, и чувствует, что любит он Иванова, так любит, так жалко ему почему-то этого маленького, бедно одетого мальчика, которому ничего, кроме его рассказов, не надо, что готов он, Тема, прикажи ему только Иванов, все сделать, все для него пожертвовать.

— Как много ты знаешь! — сказал раз Тема. — Как ты все это можешь выдумать?

— Какой ты смешной! — ответил Иванов. — Разве это моя фантазия? Я читаю.

— Разве такие вещи печатают?

— Конечно, печатают. Ты читаешь что-нибудь?

— Как читаю?

— Ну, как читаешь? Возьмешь какой-нибудь рассказ, сядешь и читаешь.

Тема удивленно слушал Иванова. В его голове не вмещалось, чтоб можно было добровольно, без урока, сидеть и читать.

— Ты вот попробуй, когда-нибудь я принесу тебе одну занимательную книжку... Только не порви.

Во втором классе Тема уже читал Гоголя, Майн Рида, Вагнера и втянулся в чтение. Он любил, придя из гимназии, под вечер, с куском хлеба, забраться куда-нибудь в каретник, на чердак, в беседку, — куда-нибудь подальше от жилья, и читать, переживая все ощущения выводимых героев.

Он познакомился с Ивановым по дому и, узнав его жизнь, еще больше привязался к нему. Добрый, кроткий с теми, кого он любил, Иванов был круглый сирота, жил у богатых родственников, помещиков, но как-то заброшенно, в стороне от всей квартиры, в маленькой, возле самой кухни, комнатке. К нему никто не заглядывал, он тоже не любил ходить в общие комнаты и всегда почти просиживал один у себя.

— Тебе он нравится, мама? — приставал Тема по сто раз к своей матери и, получая утвердительный ответ, переживал наслаждение за своего друга. — Мама, скажи, что тебе больше всего в нем нравится?

— Глаза.

— Правда, глаза? Знаешь, мама, его мать умерла перед тем, как он поступил в гимназию. Я видел ее портрет. Она казачка, мама... Такая хорошенькая... Он на груди в маленьком медальоне носит ее портрет. Он мне показывал, только сказал, чтобы я никому ничего не говорил. Ты тоже, мама, никому не говори. Ах, мама, если б ты знала, как я его люблю!

— Больше мамы?

Тема сконфуженно опускал голову и нерешительно произносил:

— Одинаково...

— Глупый ты мальчик! — улыбаясь, говорила мать.

— Мама, он говорит, чтобы летом я ехал к ним в деревню. Там у них пруд есть, рыбу будем ловить, сад большой, у него большой кожаный диван под окнами, и вишни прямо в окно висят. У дяди его есть пропасть книг... Мы вдвоем запремся и будем читать. Пустишь меня, мама?

— Если перейдешь в третий класс, пущу.

— Ах, вот счастье будет! Я тебе привезу много вишен. Хорошо?

— Хорошо, хорошо. Пора уж заниматься.

— Так не хочется... — говорил Тема, сладко потягиваясь.

— А в деревню хочется?

— Хочется, — смеялся Тема.

Иногда утром, когда Теме не хотелось вставать, когда почему-либо перспектива идти в гимназию не представляла ничего заманчивого, Тема вдруг вспоминал своего друга, и сладкое чувство охватывало его, — он вскакивал и начинал одеваться. Он переживал наслаждение от мысли, что опять увидит Иванова, который уж будет ждать его и весело сверкнет своими добрыми черными глазами из-под мохнатой шапки волос. Поздуются друзья, сядут поближе друг к другу и радостно будут улыбаться Корневу, который, грызя ногти, насмешливо скажет:

— Сто лет не видались... Поцелуйтесь на радостях.

В такие минуты Тема считал себя самым счастливым человеком.

IX. ЯБЕДА

Но ничто не вечно под луною. И дружба Темы с Ивановым прекратилась, и мечты о деревне не осуществились, и на самое воспоминание об этих лучших днях детства Темы жизнь безжалостно наложила свою гадливую печать, как бы в отместку за доставленное блаженство.

Учитель французского языка Бошар, скромно начавший карьеру с кучера, сохранивший свою представительную фигуру, заседал на своем учительском месте так же величественно и добродушно, как в былые дни восседал на козлах своего фиакра. Как прежде, бывало, он по временам стегал свою клячу длинным бичом, так и теперь от времени до времени он хлопал своей широкой, пухлой ладонью и кричал громким, равнодушным голосом:

— *Voions, voions donc!*¹

Однажды, по заведенному порядку, шел урок Бошара. Очередной переводил, остальной класс был в каком-то среднем состоянии между сном и бодрствованием.

В маленькое круглое окошко класса, сделанное в дверях, заглянул чей-то глаз.

Вахнов сложил машинально кукиш, любовался им сначала сам, а затем предложил полюбоваться и смотревшему в окошечко.

¹ Эй, вы, потише! (франц.)

При всем своем добродушии Иван Иванович, который и смотрел в окошко, не вытерпел и, отворив дверь, пригласил Вахнова к директору.

Вахнов струсил и стал божиться, что это не он. В подтверждение своих слов он сослался на Бошара, будто бы видевшего, как он, Вахнов, сидел смиренно.

Бошар, видевший все и с любопытством естествоиспытателя наблюдавший сам зверька низшей расы — Вахнова, проговорил с пренебрежением удовлетворенного наблюдателя:

— Allez, allez, bête animal! ¹

Вахнов скрепя сердце пошел за Иваном Ивановичем в коридор, но, когда дверь затворилась и они остались одни с глазу на глаз, Вахнов, недолго думая, встал на колени и проговорил:

— Иван Иванович, не губите меня! Директор исключит за это, а отец убьет меня. Честное слово, я говорю правду: вы знаете моего отца.

Иван Иванович хорошо знал отца Вахнова, который был в полном смысле слова зверь по свирепости и крутости нрава. Он славился на весь город этими своими качествами, наряду, впрочем, и с другими, признанными обществом: идеальной честностью и беззаветным мужеством.

— Встаньте скорей! — сконфуженно и растерянно заговорил Иван Иванович и сам бросился поднимать Вахнова.

Вахнов для усиления впечатления, вставая, чмокнул надзирателя в руку, Иван Иванович, окончательно растерявшись, опрометью бросился от Вахнова, отмахиваясь и отплевываясь на ходу. Вахнов, постояв немного в коридоре, снова вошел в класс.

Какими-то судьбами эта история все-таки дошла до директора, и педагогическим советом Вахнов был приговорен к двухнедельному аресту по два часа каждый день.

Убедившись, что донес не Иван Иванович, Вахнов остановился на Бошаре, как на единственном человеке, который мог донести. Это было и общее мнение всего класса. Хотя и не горячо, но почти все высказывали порицание Бошару.

«Идиот» Вахнов на мгновение приобрел если не уважение, то сочувствие. Это сочувствие пробудило в Вахнове затоптанное сперва отцом, а потом гимназией давно уже спавшее самолюбие. Он испытывал сладкое нравственное удовлетворение, которое чувствует человек от сочувствия

¹ Пошел, пошел, глупое животное! (франц.)

к нему общества. Но что-то говорило ему, что это сочувствие ненадежное, и, чтоб удержать его, от него, Вахнова, требовалось что-то такое, что заставило бы навсегда забыть его прошлое.

Бедная голова Вахнова, может быть, в первый раз в жизни была полна другими мыслями, чем те, какие внушало ей здоровое, праздное тело пятнадцатилетнего отупевшего отрока. Его мозги тяжело работали над трудной задачей, с которой он справился наконец.

За мгновение до прихода Бошара Вахнов не удержался, чтобы не сказать Иванову и Теме (по настоянию Иванова, они и во втором классе продолжали сидеть втроем и по-прежнему на последней скамейке) о том, что он всунул в стул, на который сядет Бошар, иголку.

Так как на лицах Иванова и Темы изобразился какой-то ужас вместо ожидаемого одобрения, то Вахнов на всякий случай проговорил:

— Только выдайте!

— Мы не выдадим, но не потому, что испугались твоих угроз, — ответил с достоинством Иванов, — а потому, что к этому обязывают правила товарищества. Но это такая гнусная гадость...

Тема только взглядом ответил на так отчетливо выраженные Ивановым его собственные мысли.

Спорить было поздно. Бошар уже входил, величественный и спокойный. Он поднялся на возвышение, стал спиной к стулу, не спеша положил книги на стол, оглянул взглядом сонного орла класс и, раздвигая слегка фалды, грузно опустился.

В то же мгновение он вскочил, как ужаленный, с пронзительным криком, нагнулся и стал щупать рукой стул. Разыскав иголку, он вытащил ее с большим трудом из сиденья и бросился из класса.

Совершенно бледный, с провалившимися вдруг куда-то внутрь глазами, откуда они горели огнем, влетел в класс директор и прямо бросился к последней скамейке.

— Это не я! — прижатый к скамье, в диком ужасе закричал Тема.

— Кто?! — мог только прохрипеть директор, схватив его за руку.

— Я не знаю! — ответил высоким визгом Тема.

Рванув Тему за руку, директор одним движением выдернул его в проход и потащил за собой.

Тема каким-то вихрем понесся с ним по коридору. Как-то тупо застыв, он безучастно наблюдал ряды вешалок, шинелей, грязную калошу, валявшуюся посреди коридора...

Он пришел в себя, только очутившись в директорской, когда его слух поразил зловеще щелкнувший замок запиравшейся на ключ двери.

Смертельный ужас охватил его, когда он увидел, что директор, покончив с дверью, стал как-то тихо, беззвучно подбираться к нему.

— Что вы хотите со мной делать?! — неистово закричал Тема и бросился в сторону.

В то же мгновение директор схватил его за плечо и проговорил быстрым, огнем охватившим Тему шепотом:

— Я ничего не сделаю, по не шутите со мною: кто?!

Тема помертвелыми глазами, застыв на месте, с ужасом смотрел на раздувавшиеся ноздри директора.

Впившиеся черные, горящие глаза ни на мгновение не отпускали от себя широко раскрытых глаз Темы. Точно что-то помимо воли раздвигало ему глаза и входило через них властно и сильно, с мучительной болью вглубь, в Тему, туда... куда-то далеко, в ту глубину, которую только холодом прикосновения чего-то чужого впервые ощущал в себе онемевший мальчик.

Ошеломленный, удрученный, Тема почувствовал, как он точно погружался куда-то...

И вот, как жалобный посвист в бурю, рядом с диким воем звучали в его ушах и посыпались его бессвязные, слабеющие слова о пощаде, слова мольбы, просьбы и опять мольбы о пощаде и еще... ужасные, страшные слова, бессознательно слетавшие с помертвелых губ... а!— более страшные, чем кладбище и черная шапка Еремея, чем розги отца, чем сам директор, чем все, что бы то ни было на свете. Что смрад колодца?! Там, открыв рот, он больше не чувствовал его... От смрада души, охватившего Тему, он бешено рванулся.

— Нет! Нет! Не хочу! — с безумным воплем бесконечной тоски бросился Тема к вырвавшему у него признание директору.

— Молчать!— со спокойным, холодным презрением проговорил удовлетворенный директор и, втолкнув Тему в соседнюю комнату, запер за ним дверь.

Оставшись одни, Тема как-то бесильно, тупо оглянулся, точно отыскивая потерянную связь событий. Затихавшие в отдалении шаги директора дали ему эту связь. Ослепительной, мучительной болью сверкнуло сознание, что директор пошел за Ивановым.

— И-и! — ухватил себя ногтями за щеки Тема и завертелся волчком. Натолкнувшись на что-то, он так и затих, охваченный какой-то бесконечной пустотой.

В соседнюю комнату опять вошел директор. Снова раздался его бешеный крик. Тема пришел в себя и замер в томительно-напряженном ожидании ответа Иванова.

— Я не могу... — тихой мольбой донеслось к Теме, и сердце его сжалось мучительной болью.

Опять загремел директор, и новый залп угроз оглушил комнату.

— Я не могу, я не могу!.. — доносился как будто с какой-то бесконечной высоты до слуха Темы быстрый, дрожащий голос Иванова. — Делайте со мной, что хотите, я приду на себя всю вину, но я не могу выдать...

Наступило гробовое молчание.

— Вы исключаетесь из гимназии, — проговорил холодно и спокойно директор. — Можете отправляться домой. Лица с таким направлением не могут быть терпимы...

— Что же делать?! — ответил раздраженно Иванов. — Выгоняйте, но вы все-таки не заставите меня сделать подлость.

— Вон!!

Тема уж ничего не чувствовал. Все как-то онемело в нем.

Через полчаса состоялось определение педагогического совета. Вахнов исключался. Родным Иванова предложено было добровольно взять его. Карташев наказывался на неделю оставаться во время обеда в гимназии, по два часа каждый день.

Теме приказали идти в класс, куда он и пошел, подавленный, униженный, тупой, чувствуя отвращение и к себе, и к директору, и к самой жизни, чувствуя одно бесконечное желание — чтобы жизнь отлетела сразу, чтобы сразу перестать чувствовать.

Но жизнь не отлетает по желанию, чувствовать надо, и Тема почувствовал, решившись поднять наконец глаза на товарищей, что нет Иванова, нет Вахнова, но есть он, ябеда и доносчик, пригвожденный к своему позорному месту... Неудержимой болью охватила его мысль о том светлом, безвозвратно погибшем времени, когда и он был чистым и незапятнанным; охватило его горькое чувство тоски — зачем он живет? — и рыдания подступили к его горлу.

Но он удержал их, и только какой-то тихий, жалобный писк успел вырваться из его горла — писк, замерший в самом начале. Что-то забытое, напомнившее Теме Жучку в колодце, мелькнуло в его голове...

Тема быстро, испуганно оглянулся... Но никто не смотрел на него.

Передавая дома эту историю, Тема скрыл, что выдал товарища.

Отец, выслушав, проговорил:

— Иначе ты и не мог поступить... И без наказания нельзя было оставить: Вахнова давно пора было выгнать; Иванов, видно, за что-нибудь намечен, а ты, как меньше других виноватый, поплатился недельным наказанием. Что ж, отсидишь.

Сердце Темы тоскливо ныло, и, еще более униженный, он стоял и не смел поднять глаз на отца и мать.

Аглайда Васильевна ничего не сказала и ушла к себе.

Не дотронувшись почти до еды, Тема тоскливо ходил по комнатам, отыскивая такие, в которых никого не было, и, останавливаясь у окон, неподвижно, без мысли, замирал, смотря куда-то. При малейшем шорохе он быстро уходил от своего места и испуганно оглядывался.

Когда наступили сумерки, ему стало еще тяжелее, и он как-то бессознательно потянулся к матери. Он рассмотрел ее возле окна и молча подошел.

— Тема, расскажи мне, как все было... — мягко, ласково, но требовательно-уверенно проговорила мать.

Тема замер и почувствовал, что мать уже догадалась.

— Все расскажи.

Этот ласковый, вперед прощающий голос охватил Тему какую-то жгучей потребностью — все до последнего передать матери.

Передав истину, Тема горько оборвал рассказ и униженно опустил голову.

— Бедный мой мальчик! — произнесла охваченная той же тоской унижения и горечи мать.

Тема облокотился на спинку ее кресла и тихо заплакал.

Мать молча вытирала капавшие по его щекам слезы. Собравшись с мыслями и дав время успокоиться сыну, она сказала:

— Что делать? Если мы видим свои недостатки и если, замечая их, стараемся исправиться, то и ошибки наши уже являются источниками искупления. Сразу ничего не приходит. Все достается тяжелой борьбой в жизни. В этой борьбе ты уже нашел сегодня одну свою слабую сторону... Когда будешь молиться, попроси у бога, чтобы он послал тебе твердость и крепкую волю в минуты страха и опасности.

— Ах, мама, как я вспомню про Иванова, как вспомню... так бы, кажется, и умер сейчас!

Мать молча гладила голову сына.

— Ну, а если б ты пошел к нему? — спросила она ласково.

Тема не сразу ответил.

— Нет, мама, я не могу, — сказал он дрогнувшим голосом. — Когда я знаю, что больше не увижу его... так жалко... я так люблю его... а как подумаю, что пойду к нему... и больше не люблю его, — тоскливо закончил Тема, и слезы опять брызнули из его глаз.

— Ну и не надо, не ходи. Когда-нибудь в жизни, когда ты выйдешь хорошим, честным человеком, бог даст — ты встретишься с ним и скажешь ему, что если ты вышел таким, то оттого, что ты всегда думал о нем и хотел быть таким же честным, хорошим, как он. Хорошо?

Тема молча вздохнул и задумался. Мать тоже замолчала и только продолжала ласкать своего не устоявшего в первом бою сына.

Вечером, в кровати, Тема осторожно поднял голову и, убедившись, что все уже спят, беззвучно спустился на пол и, весь проникнутый горячим экстазом, охваченный каким-то особенным, так редко, но с такой силой посещающим детей огнем веры, жарко молился, прося бога послать ему силы ничего не бояться.

И вдруг, среди молитвы, Тема вспомнил Иванова, его добрые глаза, так ласково, доверчиво смотревшие на него, вспомнил, что больше его никогда не увидит... и, как-то завизжав от боли, впился зубами в подушку и замер в безысходной тоске...

Х. В АМЕРИКУ

Тоскливо, холодно и неприветливо потекла гимназическая жизнь Темы. Он не мог выносить классной комнаты — этой свидетельницы его бывшего счастья и падения, хотя между товарищами Тема и встретил неожиданную для него поддержку. Через несколько дней после тяжелого одиночества Касицкий, подойдя и улегшись на скамейке перед Темой, подперев подбородок рукой, спросил его ласково и сочувственно, смотря в глаза:

— Как это случилось, что ты выдал? Струсил?

— Черт его знает, как это вышло! — заговорил Тема, и слезы подступили к его глазам. — Раскричался, затопал, я и не помню...

— Да, это неприятно... Ну, теперь ученый будешь...

— Теперь пусть попробует! — вспыхнул Тема, и глаза его сверкнули. — Я ему, подлецу, в морду залеплю...

— Вот как... Да, свинство, конечно... Жалко Иванова?

— Э, за Иванова я полжизни бы отдал!

— Конечно... водой ведь вас, бывало, не разольешь. А моя-то сволочь, Яковлев, радуется.

Каждый день Касицкий подсаживался к Теме и с удовольствием заводил с ним разговоры.

— Послушай, — предложил однажды Касицкий, — хочешь, я пересяду к тебе?

Тема вспыхнул от радости.

— Ей-богу... у меня там такая дрянь.

И Данилов все чаще и чаще стал оглядываться на Тему. Данилов подолгу, стараясь это делать незаметно, вдумчиво всматривался в бледное, измученное лицо выдавшего, и в душе его живо рисовались муки, которые переживал в это время Тема. Чувство стыдливости не позволяло ему выразить Теме прямо свое участие, и он ограничивался тем, что только как-то особенно сильно жал при встрече утром руку Темы и краснел. Тема чувствовал расположение Данилова и тоже украдкой смотрел на него и быстро отводил глаза, когда Данилов замечал его взгляд.

— Ты куда? — спросил Данилов Касицкого, который с ворохом тетрадей и книг несся весело по классу.

— А вот, перебраться задумал...

Эта мысль понравилась Данилову; он весь урок что-то соображал, а в рекреацию, подойдя решительно к Теме и став как-то, по своей привычке, вполуборот к нему, спросил краснея:

— Ты ничего не будешь иметь против, если и я пересяду к тебе?

— Я очень рад, — ответил Тема, в свою очередь краснея до волос.

— Ну, и отлично!

— И ты? — увидав Данилова, проговорил возвратившийся откуда-то в это время Касицкий обрадованно.

И он заорал во все горло:

— «Вот мчится тройка удалая!»

Один из двух старых соседей Касицкого, Яковлев, шепнул на ухо Филиппову:

— Карташев и им удружит...

И оба весело рассмеялись.

— Моя дрянь смеется, — проговорил Касицкий, перестав петь. — Сплетничают что-нибудь. Черт с ними!.. Пойдите, теперь надо так рассестся: ты, Данилов, как самый солидный, садись в корень между нами, двумя сорванцами.

Ты, Карташев, полезай к стене, а я, так как не могу долго сидеть на месте, сяду поближе к проходу.

Когда все было исполнено, он проговорил:

— Ну вот, теперь настоящая тройка! Ничего, отлично заживем.

* * *

— Ты любишь море? — спросил однажды Данилов у Темы.

— Люблю, — отвечал Тема.

— А на лодке любишь кататься?

— Люблю, только я еще ни разу не катался.

Данилов никак не мог понять, как, живя в приморском городе, до сих пор ни разу не покататься на лодке. Он давно уже умел и грести, и управлять рулем. Он, сколько помнил себя, все помнил то же безбрежное море, их дом, стоявший на самом берегу, всегда вдыхал в себя свежий запах этого моря, перемешанный с запахом пеньки смоляных канатов и каменноугольного дыма пристани. Сколько он помнил себя, всегда его ухо ласкал шум моря — то тихий и мягкий, как шепот, то страстный и бурный, как стон и вопль разъяренного дикого зверя. Он любил это море, сроднился с ним; любовь эту поддерживали и развили в нем до страсти молодые моряки, бывавшие у его отца, капитана порта.

Он спал и грезил морем. Он любовался у открытого окна, когда, бывало, вечером луна заливала своим чудным светом эту бесконечную водную даль со светлой серебряной полосой луны, сверкавшей в воде и терявшейся на далеком горизонте; он видел, как вдруг выплывшая лодка попадала в эту освещенную полосу, разрезая ее дружными, мерными взмахами весел, с которых, как серебряный дождь, сбегала напитанная фосфорическим блеском вода. Он любил тогда море, как любят маленьких хорошеньких детей. Но не этой картиной море влекло его душу, вызывало восторг и страсть к себе. Его разжигала буря, в нем подымались неизведанная страсть в утлой лодке померяться силами с расвирипевшим морем, когда оно, взбешенное как титан, швыряло далеко на берег свои бешеные волны. Тогда Данилов уже не был похож на мягкого, обыкновенного Данилова. Тогда, вдохновенный, он простаивал по целым часам на морском берегу, наблюдая расходившееся море. Он с какой-то завистью смотрел в упор на своих бешено набегавших врагов — волны, которые тут же, у его ног, разбивались о берег.

— Не любишь! — с наслаждением шептали его побледневшие губы, а глаза уже впивались в новый набегавший вал, который, точно разбежавшийся человек, споткнувшись с размаху, высоко взмахнув руками, тяжело опрокидывался на острые камни.

«Э-эх!» — злорадно отдавалось в его сердце.

Однажды Данилов сказал Теме и Касицкому:

— Хотите завтра покататься на лодке?

Тема, замирая от счастья, восторженно ответил:

— Хочу.

Касицкий тоже изъявил согласие.

— Так прямо из гимназии и пойдем. Сначала пообедаем у меня, а потом и кататься.

Вопрос у Темы был только в том, как отнесутся к этому дома. Но и дома он получил разрешение.

Прогулки по морю стали излюбленным занятием друзей в третьем классе. Зимой, когда море замерзло и нельзя было больше ездить, верные друзья ходили по берегу, смотрели на расстилавшуюся перед ними ледяную равнину, на темную полосу воды за ней — там, где море сливалось с низкими свинцовыми тучами, — щелкали зубами, синели от холода, ежились в своих форменных пальтишках, прятали в короткие рукава красные руки и говорили все о том же море. Главным образом говорил Данилов, Тема с раскрытым ртом слушал, а Касицкий и слушал, и возражал, и развлекался.

— А вот я знаю такой случай, — начинал, бывало, Касицкий. — Один корабль опрокинулся...

— Килевой? — спрашивал Данилов.

— Килевой, конечно.

— Ну и врешь, — отрезывал Данилов, — такой корабль не может опрокинуться...

— Ну, уж это дудки! Ах, оставьте, пожалуйста! Так может...

— Да понимаешь ты, что не может! Единственный случай был...

— Был же? Значит, может...

— Да ты послушай. Этот корабль...

Но Касицкий уже не слушал, он завидел собаку и бежал доказывать друзьям, что собака его не укусит. Эти доказательства нередко кончались тем, что собака из выжидательного положения переходила в наступательное и стремительное, рвала у Касицкого то брюки, то пальто, вследствие чего у него не было такого платья, на котором не нашлось бы непочиненного места. Но он не смущался и

всегда находил какое-нибудь основание, почему собака его укусила. То оттого, что она бешеная, то нарочно...

— Нарочно подразнил, — говорил снисходительно Касицкий.

— Ну да, нарочно! — смеялся Тема.

— Дура, нарочно! — смеялся и Касицкий, падвигая Теме на лицо фуражку.

Если ничего другого не оставалось для развлечения, то Касицкий не брезговал и колесом пройтись по панели, за что Данилов снисходительно называл его «мальчишкой», Данилов вообще был старшим в компании — не летами, но солидностью, которая происходила от беспредельной любви к морю: о нем только думал оп, о нем только и говорил и ничего, никого, кроме своего моря, не признавал. Одно терзало его: что он не может посвятить всего своего времени этому морю, а должен тратить это дорогое время и на сон, и на еду, и на гимназию. В последнем ему сочувствовали и Тема, и Касицкий.

— Есть люди с твердой волей, которые и без гимназии умели прокладывать себе дорогу в жизни, — говорил Данилов.

Тема только вздыхал:

— Есть, конечно, есть... Робинзон... А все эти юнги, с детства попавшие случайно на пароход, прошедшие сквозь огонь и медные трубы, закалившиеся во всех неудачах. Боже мой! Чего они не видали, где не бывали: и пустыни, и львы, и тигры, и америкашские индейцы.

— А ведь такие же, как и мы, люди, — говорил Данилов.

— Конечно, такие.

— Тоже и отца, и мать, и сестер имели, тоже, вероятно, страшно сначала было, а пересилили, не захотели избитым путем пошлой жизни жпть, и что ж — разве они жалели? Никогда не жалели: все они всегда вырастали без этих дурацких единиц и экзаменов, женились всегда, на ком хотели, стариками делались, и все им завидовали.

И вот понемногу план созрел: попытать счастья и с первым весенним днем удрать в Америку на первом отходящем пароходе. Мысль эту бросил Касицкий и сейчас же забыл о ней.

Данилов долго вдумывался и предложил однажды привести ее в исполнение. Тема дал согласие, не думая, главным образом ввиду далеской еще весны. Касицкий дал согласие, так как ему было решительно все равно: в Америку, так в Америку. Данилов все тонко, во всех деталях обдумал. Прежде всего совсем без денег ехать нельзя; поло-

жим, юнге даже платят сколько-нибудь, но до юнги надо доехать. А потому необходимо было пользоваться каждым удобным моментом, чтобы откладывать все, что можно. Все ресурсы должны были поступать в кассу: деньги, выдаваемые на завтраки, — раз, именинные — два, случайные (вроде на извозчика), подарки дядей и пр. и пр. — три. Данилов добросовестно отбирал у друзей деньги сейчас же по приходе их в класс, так как опыт показал, что у Касицкого и Темы деньги в первую же рекреацию улетучивались. Результатом этого был волчий голод компании во время уроков, то есть с утра до двух-трех часов дня. Данилов крепился, Касицкий без церемонии отламывал куски у первого встречного, а Тема терпел, терпел и тоже кончал тем, что просил у кого-нибудь кусочек, а то отправлялся на поиски по скамьям, где и находил всегда какую-нибудь завалявшуюся корку.

Было, конечно, довольно простое средство избавиться от таких ежедневных мук — это брать с собой из дому хоть запасной кусок хлеба. Но вся беда заключалась в том, что после утреннего чая, когда компания отправлялась в гимназию, им не хотелось есть, и с точки зрения этого настоящего они каждый день впадали в ошибочную уверенность, что и до конца уроков им не захочется есть.

— На что ты похож стал?! Под глазами синяки, щеки втянуло, худой как скелет! — допытывалась мать.

Хуже всего, что, удерживаясь, Тема дотягивал обыкновенно до последней рекреации, и уж когда голод чуть не заставлял его кричать, тогда он только отправлялся на фуражировку. Вследствие этого аппетит перебивался, и так основательно, что, придя домой, Тема ни до чего, кроме хлеба и супа, не касался.

Обдумывая в подробностях свой план, Данилов пришел к заключению, что прямо в гавани сесть на корабль не удастся, потому что, во-первых, узнают и не пустят, а во-вторых, потребуют заграничные паспорта. Поэтому Данилов решил так: узнав, когда отходит подходящий корабль, заблаговременно выбраться в открытое море на лодке и там, пристав к кораблю, объяснить, в чем дело, и уехать на нем. Вопрос о дальнейшем был решен в утвердительном смысле на том простом основании, что кому же даровых работников не надо? Гораздо труднее был вопрос о лодке. Чтоб отослать ее назад, нужен был проводник. Этим подводился проводник. Если пустить лодку на произвол судьбы — пропажа казенного имущества, — отец подводился. Все это привело Данилова к заключению, что надо строить свою лодку. Отец Данилова отозвался сочувственно, дал

им лесу, руководителей, и компания приступила к работе. Выбор типа лодки подвергался всестороннему обсуждению. Решено было строить килевую, и отдано было предпочтение ходу перед вместимостью.

— Весь секрет, чтобы было как можно меньше сопротивление. Чем она уже...

— Ну, конечно, — перебивал нетерпеливый Касицкий.

— Понимаешь? — спрашивает Данилов Темя.

— Понимаю, — отвечал Темя, понимавший больше потому, что это было понятно Данилову и Касицкому: что там еще докапываться? Уже, так уже.

— Мне даже кажется, что эта модель, самая узкая из всех, и та широка!

— Конечно, широка, — энергично поддержал Касицкий. — К чему такое брюхо?

— Отец настаивает, — нерешительно проговорил Данилов.

— Еще бы ему не настаивать — у него живот-то слава богу: ему и надо, а нам на что?

— А мы, чтоб не дразнить его, сделаем уже, а ему благоразумно умолчим.

— Подлец, врать хочешь...

— Не врать — молчать буду. Спросит — ну, тогда признаюсь.

Всю зиму шла работа: сперва киль выделали, затем шпангоуты насадили, потом обшивкой занялись, а затем выкрасили в белый цвет, с синей полоской кругом.

Собственно говоря, постройка лодки продвигалась непропорционально труду, какой затрачивался на нее друзьями, и секрет этот объяснялся тем, что им помогали какие-то таинственные руки. Друзья благоразумно молчали об этом, и когда лодка была готова, они с гордостью объявили товарищам:

— Мы кончили.

Впрочем, Касицкий не удержался и тут же сказал, подмигивая Темя.

— Мы?!

— Конечно, мы! — ответил Темя. — Матросы помогали, а все-таки мы.

— Помогали?! Рыло!

И Касицкий, рассмеявшись, добавил:

— Кой черт — мы! Ну, Данилов действительно работал, а мы вот с этим подлецом все больше насчет глаз. Да ей-богу же! — кончил он добродушно. — Зачем врать?

— Я считаю, что и я работал.

— Ну да — ты считаешь! Ну, считай, считай.

— Да зачем вам лодка? — спросил Корнев, грызя, по обыкновению, ногти.

— Лодка? — переспросил Касицкий. — Зачем нам лодка? — обратился он к Теме.

Тему подмывало.

— Свинья! — смеялся он, чувствуя непреодолимое желание выболтать.

— Чтоб кататься, — ответил Данилов, не сморгнув, что называется, глазом.

Корнев видел, что тут что-то не то.

— Мало у твоего отца лодок?

— Ходких нет, — ответил Данилов.

— Что значит — ходких?

— Чтоб резали хорошо воду.

— А что значит — чтоб резали хорошо воду?

— Это значит, что ты дурак, — вставил Касицкий.

— Бревно! — вскользь ответил Корнев. — Не с тобой говорят!

— Ну, чтоб узкая была, шла легко, оказывала бы воде меньшее сопротивление.

— Зачем же вам такую лодку?

— Чтобы больше удовольствия было от катанья.

Корнев подозрительно всматривался по очереди в каждого.

— Эх ты, дура! — произнес Касицкий полушутя-полусерьезно. — В Америку хотим ехать.

После этого уже сам Корнев говорил пренебрежительно:

— Черти, с вами гороху наесться сперва надо, — и уходил.

— Послушай, зачем ты говоришь? — замечал Данилов Касицкому.

— Что говорю? Именно так действуя, ничего и не говорю.

— Конечно, — поддержал Тема. — Кто же догадается принять его слова за серьезные.

— Все догадаются. Вас подмывает на каждом слове, и кончится тем, что вы все разболтаете. Глупо же! Если не хотите, скажите прямо. Зачем было и затевать тогда?

Обыкновенно невозмутимый, Данилов не на шутку начинал сердиться. Касицкий и Тема обещали ему соблюдать вперед строгое молчание. И хотя нередко на приятелей находило страстное желание подсидеть самих себя, но сознание огорчения, которое они нанесут этим Данилову, оставляло их.

Понятное дело, что тому, кто едет в Америку, никаких, собственно, уроков готовить не к чему, и время, потрачен-

ное на такой труд, считалось компанией погибшим временем.

Обстоятельства помогли Теме в этом отношении. Мать его родила еще одного сына, и выслушивание уроков было оставлено. Следующая треть, последняя перед экзаменами, была весьма печальна по результатам: единица, два, закон божий — три, по естественной — пять, поведения — и то «хорошего» вместо обычного «отличного». На Карташева махнули в гимназии рукой, как на ученика, который остается на второй год.

Тема благоразумно утаил от домашних отметки. Так как требовалась расписка, то он, как мог, и расписался за родителей, что отметки они видели. При этом благоразумно подписал: «По случаю болезни, за мать, сестра З. Карташева». Дома на вопрос матери об отметках он отделялся обычным ответом, произносимым каким-то слишком уж равнодушным и беспечным голосом:

— Не получал еще.

— Отчего ж так затянулось?

— Не знаю, — отвечал Тема и спешил заговаривать о чем-нибудь другом.

— Тема, скажи правду, — пристала раз к нему мать, — в чем дело? Не может быть, чтоб до сих пор не было отметок.

— Нет, мама.

— Смотри, Тема, я вот встану и поеду сама.

Тема пожал плечами и ничего не ответил: чего, дескать, прпстали к человеку, который уже давно мысленно в Америке.

* * *

Друзья назначили свой отъезд на четвертый день пасхи. Так было решено с целью не отравлять родным пасху. Заграничный пароход отходил в шесть часов вечера. Решено было тронуться в путь в четыре.

Тема, стараясь соблюдать равнодушный вид, бросая украдкой растроганные взгляды кругом, незаметно юркнул в калитку и пустился к гавани.

Данилов уже озабоченно бегал от дома к лодке.

Тема заглянул внутрь их общей красавицы — белой с синей каемкой лодки с девизом «Вперед» — и увидел там всякие кульки.

— Еда, — озабоченно объяснил Данилов. — Где же Ка-сицкий?

Наконец показался и Касицкий с какой-то паршивой собачонкой.

— Да брось! — нетерпеливо проговорил Данилов.

Касицкий с сожалением выпустил собаку.

— Ну, готово! Едем!

Тема с замиранием сердца прыгнул в лодку и сел на весло.

«Неужели навсегда?» — пронеслось у него в голове и мучительно-сладко где-то далеко-далеко замерло.

Касицкий сел на другое весло. Данилов — на руль.

— Отдай! — сухо скомандовал Данилов матросу.

Матрос бросил веревку, которую держал в руке, и оттолкнул лодку.

— Навались!

Тема и Касицкий взмахнули веслами. Вода быстро, торопливо, гулко заговорила у борта лодки.

— Навались!

Гребцы сильно налегли. Лодка помчалась по гладкой поверхности гавани. У выхода она ловко вильнула под носом входившего парохода и, выскочив на зыбкую, неровную поверхность открытого моря, точно затанцевала по мелким волнам.

— Норд-ост! — кротко заметил Данилов.

Весенний холодный ветер срывал с весел воду и разносил брызги.

— Навались!

Весла, ровно и мерно стуча в уключинах, на несколько мгновений погружались в воду и снова сверкали на солнце, ловким движением гребцов обращенные параллельно к воде.

Отъехав версты две, гребцы, по команде Данилова, подняли весла и сняли шапки с вспотевших голов.

— Черт, пить хочется! — сказал Касицкий и, перегнувшись, зачерпнул двумя руками морской воды и хлебнул глоток.

То же самое проделал и Тема.

— Навались!

Опять мерно застучали весла, и лодка снова всело и легко начала резать набегавшие волны.

Ветер свежел.

— К вечеру разыграется, — заметил Данилов.

— Ого, рвет! — ответил Касицкий, надвигая чуть было не сорвавшуюся в море шапку.

— Экая красота! — проговорил немного погодя Данилов, любясь небом и морем. — Посмотрите на солнце, как

наседают тучи! Точно рядом день и ночь. Там все темное и грозное, а сюда, к городу, — ясное, тихое, спокойное.

Касицкий и Тема сосредоточенно молчали.

Тема скользнул по сверкающему вдали городу, по спокойному ясному берегу, и сердце его тоскливо сжалось: что-то теперь делают мать, отец, сестры? Может быть, весело сидят на террасе, пьют чай и не знают, какой удар приготовил он им. Тема испуганно оглянулся, точно проснулся от какого-то тяжелого сна.

— Что, может, назад пойдем, Карташев? — спросил спокойно Данилов, наблюдая его.

«Назад?!» — радостно рванулось было сердце Темы к матери. А мечты об Америке, а гимназия, экзамены, неизбежный провал...

Тема отрицательно мотнул головой и угрюмо, молча налег на весло.

— Пароход! — крикнул Касицкий.

Из гавани, выпуская клубы черного дыма, показался громадный заграничный пароход.

— Пойдем потихоньку навстречу.

Лодка сделала красивый полукруг и медленно пошла навстречу.

Пароход приближался. Уже можно было разобрать толпу пассажиров на палубе.

«Через несколько минут мы уже будем между ними», — мелькнуло у каждого из друзей.

— Пора!

Все наготове. Согласно законам аварий, Касицкий выстрелил два раза из револьвера, а Данилов выбросил специально приготовленный для этого случая белый флаг, навязанный на длинный шест.

Тяжелое чудовище летело совсем близко, высоко задрав свои могучие борта, и гул машины явственно отдался в ушах беглецов, обдав их запахом пара и перегорелого масла.

Лодку закачало во все стороны.

Ура! Их заметили. Целый ворох белых платков замахал им с палубы. Но что же это? Зачем они не останавливаются?

— Стреляй еще! Маши платком!

Друзья стреляли, махали и кричали, как могли.

Увы! Пароход уж был далеко и все больше и больше прибавлял ходу.

Разочарование было полное.

— Они думали, — проговорил огорченно Тема, — что мы им хорошей дороги желаем.

— Я говорил, что все это ерунда, — сказал Касицкий, бросая в лодку револьвер. — Ну кто, в самом деле, нас возьмет?! Кто для нас остановится?!

Уныло, хотя и быстро было возвращение обратно. Нордост был попутный.

— Надо обдумать... — начал было Данилов.

— Ерунда! Ни в какую Америку я больше не поеду, — сказал Касицкий, когда лодка пристала к берегу. — Все это чушь.

— Ну вот, уж и чушь! — ответил сконфуженно Данилов.

— Да, конечно, чушь, и пора понять это.

Тема грустно слушал, задумчиво смотря вдаль, вслед так коварно изменившему пароходу.

— Надо обдумать...

— ...как выдержать экзамены, — фыркнул Касицкий и, нахлобучив шапку, пожав наскоро руку друзьям, быстро пошел в город.

— Духом упал. Все еще можно поправить, — грустно закончил Данилов.

— Прощай, — ответил Тема и, пожав товарищу руку, тоже побрел домой.

Да, не выгорела Америка! С одной стороны, конечно, приятно опять увидеть мать, отца, сестер, братьев, с которыми думал уже никогда, может быть, не встретится, но, с другой стороны, тяжело и тоскливо вставали экзамены, почти неизбежный провал, все то, с чем, казалось, было уже навсегда покончено.

Да, жаль, а хороший было придумали выход.

И Тема от души вздохнул.

Когда после пасхи в первый раз собрались в класс, все уже перемололось, и Касицкий не удержался, чтобы в веселых красках не передать о неудавшейся затее. Тема весело помогал ему, а Данилов только снисходительно слушал.

Все смеялись и прозвали Данилова, Касицкого и Тему «американцами».

XI. ЭКЗАМЕНЫ

Подошли и экзамены.

Несмотря на то, что Тема не пропускал ни одной церкви без того, чтобы не перекреститься, не ленился за квартал обходить встречного батюшку или, в крайнем случае, при встрече хватался за левое ухо и скороговоркой говорил:

«Чур, чур не меня!» или усердно на том же месте перекручивался три раза, дело, однако, плохо подвигалось вперед.

Дома тем не менее Тема продолжал взятый раньше тон.

— Выдержал?

— Выдержал!

— Сколько поставили?

— Не знаю, отметок не показывают.

— Откуда ж ты знаешь, что выдержал?

— Отвечал хорошо...

— Ну, сколько же, ты думаешь, тебе все-таки поставили?

— Я без ошибки отвечал...

— Значит, пять?

— Пять? — недоумевал Тема.

Экзамены кончились. Тема пришел с последнего экзамена.

— Ну?

— Кончил...

Опять ответ поразил мать какою-то неопределенностью.

— Выдержал?

— Да...

— Значит, перешел?

— Верно...

— Да когда же узнать-то можно?

— Завтра, сказали.

Назавтра Тема принес неожиданную новость, что он срезался по трем предметам, что передержку дают только по двум, но если особенно просить, то разрешат и по трем. Это-то последнее обстоятельство и вынудило его открыть свои карты, так как просить должны были родители.

Тема не мог вынести пристального, презрительного взгляда матери, устремленного на него, и смотрел куда-то вбок.

Томительное молчание продолжалось довольно долго.

— Негодяй! — проговорила наконец мать, толкнув ладонью Тему по лбу.

Тема ждал, конечно, сцены гнева, неудовольствия, упреков, но такого выражения презрения он не предусмотрел, и тем обиднее оно ему показалось. Он сидел в столовой и чувствовал себя очень скверно. С одной стороны, он не мог не сознавать, что все его поведение было достаточно пошло; но, с другой стороны, он считал себя уже слишком оскорбленным. Обиднее всего было то, что на драпировку в благородное негодование у него не хватило материала, и, кроме фигуры жалкого обманщика, ничего из себя и кроить

нельзя было. А между тем какое-то раздражение и тупая злость разбирали его и искали выхода. Отец пришел. Ему уже сказала мать.

— Болван! — проговорил с тем же оттенком пренебрежения отец. — В кузнецы отдам...

Тема молча высунул ему вдогонку язык и подумал: «Ни капельки не испугался». Тон отца еще больше опошили перед ним его собственное положение. Нет! Решительно ничего нет, за что бы уцепиться и почувствовать себя хоть чуточку не так пошло и гадко! И вдруг светлая мысль мелькнула в голове Темы: отчего бы ему не умереть?! Ему даже как-то весело стало от мысли, какой эффект произвело бы это. Вдруг приходят, а он мертвый лежит. Вот тогда и сердись, сколько хочешь! Конечно, он виноват — он понимал это очень хорошо, — но он умрет и этим вполне искупит свою вину. И это, конечно, поймут и отец и мать, и это будет для них вечным укором! Он отомстит им! Ему ни капли их не жалко — сами виноваты! Тема точно снова почувствовал презрительный шлепок матери по лбу. Злое, недоброе чувство с новой силой зашевелилось в его сердце. Он злорадно остановил глаза на коробке спичек и подумал, что такая смерть была бы очень хороша, потому что будет не сразу, и он сумеет еще насладиться чувством удовлетворенного торжества при виде горя отца и матери. Он занялся вопросом, сколько надо принять спичек, чтоб покончить с собой. Всю коробку? Этого, пожалуй, будет слишком много: он быстро умрет, а ему хотелось бы подольше полюбоваться. Половину? Тоже, пожалуй, много. Тема остановился почему-то на двадцати головках. Решив это, он сделал маленький антракт, так как, когда вопрос о количестве был выяснен, решимость его значительно ослабла. Он в первый раз серьезно вник в положение вещей и почувствовал непреодолимый ужас к смерти. Это было решающее мгновение, после которого, успокоенный каким-то подавленным сознанием, что дело не будет доведено до конца, он протянул руку к спичкам, отобрал горсть их и начал потихоньку, держа руки под столом, осторожно обламывать головки. Он делал это очень осторожно, зная, что спичка может вспыхнуть в руке, а это иногда кончается антоновым огнем. Наломав, Тема аккуратно собрал головки в кучку и некоторое время с большим удовольствием любовался ими в сознании, что их проглотит кто угодно, но только не он. Он взял одну головку и попробовал на язык: какая гадость!

— С водой разве?!

Тема потянулся за графином и налил себе четверть стакана. Это много для одного глотка. Тема встал, на цыпоч-

ках вышел в переднюю и, чтоб не делать шума, выплеснул часть воды на стену. Затем он вернулся назад и остановился в нерешительности. Несмотря на то, что он знал, что это шутка, его стало охватывать какое-то странное волнение. Он чувствовал, что в его решимости не глотать спичек стала показываться какая-то странная брешь: почему и в самом деле не проглотить? В нем уж не было уверенности, что он не сделает этого. С ним что-то происходило, чего он ясно не сознавал. Он, если можно так сказать, перестал чувствовать себя: как будто был кто-то другой, а не он. Это наводило на него какой-то невыразимый ужас. Этот ужас все усиливался и толкал его. Рука автоматически протянулась к головкам и всыпала их в стакан. «Неужели я выпью?!» — думал он, поднимая дрожащей рукой стакан к побелевшим губам. Мысли вихрем завертелись в его голове. «Зачем? Разве и не виноват действительно? Я, конечно, виноват. Разве я хочу нанести такое горе людям, для которых так дорога моя жизнь? Боже сохрани! Я люблю их...»

— Артемий Николаевич, что вы делаете?! — закричала Таня не своим голосом.

У Темы мелькнула только одна мысль: чтобы Таня не успела вырвать стакан. Судорожным мгновенным движением он опрокинул содержимое в рот... Он остановился с широко раскрытыми, безумными от ужаса глазами.

— Батюшки! — завопила режущим, полным отчаяния, голосом Таня, стремглав бросаясь к кабинету. — Барин... барин!..

Голос ее обрывался какими-то воплями:

— Артемий.. Николаевич.. отравились!

Отец бросился в столовую и остановился, пораженный идиотским лицом сына.

— Молока!

Таня бросилась к буфету.

Тема сделал слабое усилие и отрицательно качнул головой.

— Пей, негодяй, или я расшибу твою мерзкую башку об стену! — закричал неистово отец, схватив сына за воротник мундира.

Он так сильно сжимал, что Тема, чтоб дышать, должен был наклониться, вытянуть шею и в таком положении жалкий, растерянный, начал жадно пить молоко.

— Что такое? — вбежала мать.

— Ничего, — ответил взбешенным, пренебрежительным голосом отец. — Фокусами занимается.

Узнав, в чем дело, мать без сил опустилась на стул.

— Ты хотел отравиться?!

В этом вопросе было столько отчаянной горечи, столько тоски, столько чего-то такого, что Тема вдруг почувствовал себя как бы оторванным от прежнего Темы, любящего, нежного, и его охватило жгучее, непреодолимое желание во что бы то ни стало сейчас же, сию секунду снова быть прежним мягким, любящим Темой. Он стремглав бросился к матери, схватил ее руки, крепко сжал своими и голосом, доходящим до рева, стал просить:

— Мама, непременно прости меня! Я буду прежний, но забудь все! Ради бога, забудь!

— Все, все забыла, все простила, — проговорила испуганная мать.

— Мама, голубка, не плачь! — ревел Тема, дрожа, как в лихорадке.

— Пей молоко, пей молоко! — твердила растерянно, испуганно мать, не замечая, как слезы лились у нее по щекам.

— Мама, не бойся ничего! Ничего не бойся! Я пью, я уже три стакана выпил. Мама, это пустяки, вот, смотри, все головки остались в стакане. Я знаю, сколько их было... Я знаю... Раз, два, три...

Тема судорожно считал головки, хотя перед ним была одна сплошная, сгустившаяся масса, тянувшаяся со дна стакана к его краям...

— Четырнадцать! Все! Больше не было — я ничего не выпил... Я еще один стакан выпью молока.

— Боже мой, скорей за доктором!

— Мама, не надо!

— Надо, мой милый, надо!

Отец, возмущенный всей этой сценой, не выдержал и, плюнув, ушел в кабинет.

— Милая мама, пусть он идет, я не могу тебе сказать, что я пережил, но если б ты меня не простила, я не знаю... я еще бы раз... Ах, мама, мне так хорошо, как будто я снова родился! Я знаю, мама, что должен искупить перед тобой свою вину, и знаю, что искуплю, оттого мне так легко и весело. Милая, дорогая мама, посзжай к директору и попроси его — я выдержу передержку, и я знаю, что выдержу, потому что я знаю, что я способный и могу учиться!

Тема, не переставая, все говорил, говорил и все целовал руки матери. Мать молча, тихо плакала. Плакала и Таня сидя тут же на стуле.

— Не плачь, мама, не плачь! — повторял Тема. — Таня, не надо плакать!

Исключительные обстоятельства выбили всех из колен. Тема совершенно не испытывал той обычной, усвоенной манеры отношения сына к матери, младшего к старшему, которая существовала обыкновенно. Точно перед ним сидел его товарищ, и Таня была товарищ, и обе они, и он попали неожиданно в какую-то беду, из которой он, Тема, знает, что выведет их, но только надо торопиться.

— Поедешь, мама, к директору? — нервно, судорожно спрашивал он.

— Поеду, милый, поеду.

— Непременно поезжай. Я еще стакан молока выпью. Пять стаканов, больше не надо, а то понос делается. Понос очень нехорошо.

Мысли Темы быстро перескакивали с одного предмета на другой; он говорил их вслух и чем больше говорил, тем больше ему хотелось говорить, и тем удовлетвореннее он себя чувствовал. Мать со страхом слушала его, боясь этой бесконечной потребности говорить, с тоской ожидая доктора. Все ее попытки остановить сына были бесполезны, он быстро перебивал ее:

— Ничего, мама, ничего. Пожалуйста, не беспокойся. И снова начинался бесконечный разговор.

Вошли дети, гулявшие в саду. Тема бросился к ним и, сказав: «Вам нельзя тут быть», запер перед ними дверь.

Наконец приехал доктор, осмотрел, выслушал Тему, потребовал бумаги, перо, чернила, написал рецепт и, успокоив всех, остался ждать лекарства. У Темы начало жечь внутри.

— Пустяки, — проговорил доктор, — сейчас пройдет.

Когда принесли лекарство, доктор молча, тяжело сопя, приготовил в двух рюмках растворы и сказал, обращаясь к Теме:

— Ну, теперь закусите вот этим все ваши разговоры. Отлично! Теперь вот это! Ну, а теперь можете продолжать.

Тема снова начал, но через несколько минут он как-то сразу раскис и вяло оборвал себя:

— Мама, я спать хочу.

Его сейчас же уложили, и под влиянием порошков он заснул крепким детским сном.

На другой день Тема был вне всякой опасности и хотя ощущал некоторую слабость и боль в животе, но чувствовал себя прекрасно, был весел и с нетерпением гнал мать к директору. Только при появлении отца он умолкал, и было что-то такое в глазах сына, от чего отец скорее уходил к себе в кабинет. Приехал доктор, и мать, оставив Тему на его попечение, уехала к директору.

— Я сяду заниматься, чтоб не терять времени, — заявил Тема.

— Вот и отлично, — ответил доктор.

Тема забрал книги и отправился в маленькую комнатку, а доктор ушел в кабинет к старику Карташеву.

Когда разговор коснулся текущих событий, генерал не утерпел, чтобы не пожаловаться на жену за неправильное воспитание сына.

— Да, нервно немножко... — проговорил доктор как-то нехотя. — Век такой... Вы, однако, с сыном-то все-таки помягче, а то ведь можно и совсем свихнуть мальчугана... Нервы у него не вашего времени...

— Пустяки, весь он в меня...

— Может, в вас он... да уж... одним словом, надо сдерживать себя.

— Пропал мальчик! — с отчаянием в голосе произнес отец.

Доктор добродушно усмехнулся.

— Славный мальчик, — заметил он и забарабанил пальцами по столу.

— Эх! — махнул огорченно отец и зашагал угрюмо по комнате.

Приехала мать с радостным лицом.

— Разрешил?! — спросил Тема, вскакивая с латинской грамматикой. — Мама, я вот уже сколько прошел!

Неделя промелькнула для Темы незаметно. Он не мог оторваться от книг. В голову строчка за строчкой вкладывались страницы книги, как в какой-то мешок. Иногда он закрывал глаза и мысленно пробежал пройденное, и все в систематическом порядке, рельефно и выпукло проносилось перед ним. Довольный опытом, Тема с новым жаром продолжал занятия. Передержка была по русскому, латинскому и географии, но уже она сидела вся в голове. Иногда он звал сестру и говорил ей:

— Экзаменуй меня!

Зина добросовестно принималась спрашивать, и Тема без запинки отвечал с малейшими деталями. В награду Зина говорила огорченно:

— Стыдно с такими способностями так лениться.

— Я на будущий год буду отлично заниматься, сяду на первую скамейку и буду первым учеником!

— Ну да...

— Хочешь пари?

— Не хочу!

— Ага, знаешь, что могу!

— Конечно, можешь, да не будешь.

— Буду, если Маня меня будет любить.

Зина засмеялась.

— Будет любить?

— Не знаю... если заслужишь.

— А я знаю, что она меня любит!

— И неправда!

— А зачем не смотришь? А я знаю, что она тебе говорила в беседке.

— Ну, что?

— Не скажу.

— А я скажу, если хочешь: она говорила, что ты ей надоел.

Тема озадаченно посмотрел на Зину и потом весело закричал:

— Неправда, неправда! А зачем она мне сказала, что любит Жучку, потому что это моя собака?

— А ты и уши развесил!

— Ага! — торжествовал Тема. — Передай ей, когда увидишь, что я влюблен в нее и хочу жениться на ней.

— Скажи, пожалуйста! Так и пойдет она за тебя!

— А почему не пойдет?

— Так...

В день экзамена Таня разбудила Тему на заре, и он, забравшись в беседку, все три предмета еще раз бегло просмотрел. От волнения он не мог ничего есть и, едва выпив стакан чаю, поехал с неизменным Еремеем в гимназию. Директор присутствовал при всех трех экзаменах. Тема отвечал без запинки.

По исхудалому, тонкому, вытянутому лицу Темы видно было, что не даром дались ему его знания.

Директор молча слушал, всматривался в мягкие, горящие внутренним огнем глаза Темы, и в первый раз почувствовал к нему какое-то сожаление.

По окончании последнего экзамена он погладил его по голове и проговорил:

— Отличные способности. Могли бы быть украшением гимназий. Будете учиться?

— Буду, — прошептал, вспыхнув, Тема.

— Ну, ступайте домой и передайте вашей матушке, что вы перешли в третий класс.

Счастливый Тема выскочил, как бомба, из гимназии.

— Еремей, я перешел! Все экзамены выдержал, все без запинки отвечал.

— Слава богу! — заерзал, облегченно вздыхая, Еремей. — Чтоб оны все тые экзамены сказывысь! — разразился он неожиданной речью. — Дай бог, щоб их все уж

покончили да в офицеры б вас произвели, щоб вы, як папа ваш, енералом булы!

Выговорив такую длинную тираду, Еремей успокоился и впал в свое обычное спокойное состояние.

Тема мысленно усмехнулся его пожеланиями и, усевшись поудобнее в экипаж, беззаботно отдался своему праздничному настроению.

— Ну? — встретила его мать у калитки.

— Выдержал!

— Слава богу! — и мать медленно перекрестилась. — Перекрестись и ты, Тема.

Но Теме показалось вдруг обидным креститься: за что? Он столько уже крестился и всегда, пока не стал учиться, резался.

— Я не буду креститься, — буркнул обиженный Тема.

— Тема, ты серьезно хочешь вогнать меня в могилу? — спросила его холодно мать.

Тема молча снял шапку и перекрестился.

— Ах, какой глупый мальчик! Если ты и занимался и благодаря этому и своим способностям выдержал, так кто же тебе все дал? Стыдно! Глупый мальчик!

Но уже эта нотация была сделана таким ласкающим голосом, что Тема, как ни желал изобразить из себя обиженного, не удержался и распустил губы в довольную, глупую улыбку.

«Да, уж такой возраст!» — подумала мать и, ласково притянув Тему, поцеловала его в голову. Мальчик почувствовал себя тепло и хорошо и, поймав руку матери, горячо ее поцеловал.

— Ну, зайди к папе и обрадуй его... ласково, как ты умеешь, когда захочешь.

Окрыленный, Тема вошел в кабинет и в один залп проговорил:

— Милый папа, я перешел в третий класс!

— Умница, — ответил отец и поцеловал сына в лоб.

Тема, тоже с чувством, поцеловал у него руку и с облегченным сердцем направился в столовую.

Он с наслаждением увидел чисто сервированный стол, самовар, свой собственный сливочник, большую двойную просфору — его любимое лакомство к чаю. Мать налила сама в граненый стакан прозрачного, немного крепкого, как он любил, горячего чаю. Он влил в стакан весь сливочник, разломил просфору и с наслаждением откусил, какой только мог, большой кусок.

Зина, потягиваясь и улыбаясь, вышла из маленькой комнаты.

— Ну? — спросила она.

Но Тема не удостоил ее ответом.

— Выдержал, выдержал, — проговорила мать.

Напившись чаю, Тема, хотя и нехотя, но передал все, не пропустив ни слов директора.

Мать с наслаждением слушала сына, облокотившись на стол.

В эту минуту, если б кто захотел написать характерное выражение человека, живущего чужой жизнью, лицо Аглаиды Васильевны было бы высоко благородной моделью. Да, она уж не жила своей жизнью, и все и вся ее заключалось в них, в этих подчас и неблагодарных, подчас и ленивых, но всегда милых и дорогих сердцу детям. Да и кто же, кроме нее, пожалеет их? Кому нужен испошленный мальчишка и в ком его глупая, самодовольная улыбка вызовет не раздражение, а желание именно в такой выгодный для него момент пожалеть и приласкать его?

— Добрый человек директор, — задумчиво произнесла Аглаида Васильевна, прислушиваясь к словам сына.

Тема кончил и без мысли задумался.

«Хорошо! — пронеслось в его голове. — А что было неделю тому назад?»

Тема вздрогнул: неужели это был он?! Нет, не он! Вот теперь — это он.

И Тема ласково, любящими глазами смотрел на мать.

ХИ. ОТЕЦ

Сильный организм Николая Семеновича Карташева начал изменять ему. Ничего как будто не переменялось: та же прямая фигура, то же николаевское лицо с усами и маленькими узенькими бакенбардами, тот же пробор сбоку, с прической волос к вискам, но под этой сохранившейся оболочкой чувствовалось, что это как-то уже не тот человек. Он стал мягче, ласковее и чаще искал общества своей семьи.

Тему особенно трогала перемена в отце, потому что с ним отец был всегда строже и суровее, чем с другими.

Но при всем добром желании с обеих сторон сближение отца с сыном очень туго подвигалось вперед.

— Ну, что твое море? — спросил Тему как-то отец во время вечернего чая, за которым, кроме семьи, скромно и конфузливо сидел учитель музыки — молодой худосочный господин.

— Да что море? — огорченно заметила мать. — Гребут до изнеможения — вчера восемь часов не вставали с весел... Ездят в бурю и кончат тем, что утонут в своем море.

— Я в этом отношении фаталист, — сказал отец, исчезая в клубах дыма. — Двум смертям не бывать, а одной, как ни вертись, все равно не миновать. За делом-то, пожалуй, и приятнее умереть, чем так сидеть да дожидаться смерти.

Глаза Темы сверкнули на отца.

— Ну, пожалуйста, — обратилась мать к сыну. — Сначала дело свое сделай, как папа, курс кончи, обзаведись семьей.

— Я никогда не женюсь, — ответил Тема. — Моряку нельзя жениться, у моряка жена — море.

Он с удовольствием потянулся.

— Данилов тоже, конечно, не женится? — спросила Зина.

— Конечно, не женится — мы с ним будем всегда вместе, на одном корабле.

— Вместе и командовать будете, конечно? — пошутил отец.

Отец был в духе.

Тема, пригнувшись к столу так, что только торчала его голова, ответил весело, сконфуженно улыбаясь:

— Ну-у, командовать...

— Не надешься? — быстро, немного пренебрежительно спросил отец и, затянувшись, проговорил: — А не надешься — и командовать никогда не будешь... По поводу фатализма... — обратился он к учителю музыки. — В нашей военной службе, да и во всякой службе, не фаталист не может сделать карьеры... Под Германштадтом наш полк, — отец бросил взгляд на сына, — стоял на левом фланге. Я тогда был еще командиром эскадрона, а командиром полка мой же дядя был. Я считался непокорным офицером. Никакого непокорства не было, но раздражали нелепые распоряжения. Ну-с... Так вот. Сижу я на своем Черте...

— Папина лошадь, — подсказала мать.

— И говорю офицерам... А так, с косогора, нам вся картина как на ладони видна: стоит в долине авангардом каре венгерцев — человек тысяча, два орудия при них, а за ними остальной табор — тысяч четырнадцать. С этой стороны по косогору наши войска. Я и говорю: «Вот сбить бы с позиции это каре да под их прикрытием и двинуть вперед — без одного выстрела подобрался бы». Командир

и говорит: «Тут целый полк перебеешь, пока до этого каре доберешься только». Заспорил я с ним, что с одним своим эскадронном собью каре... конечно, в сущности, какое ж это войско быю? Пушки дрянные, ружья... да и войско-то: сапожник, шарманщик, франт... Так — сброд. А наши ведь — николаевские. Дядя и говорит: «Э, сумасшедший человек! Мелешь чепуху, потому что еще порошу как следует не нюхал, а послать тебя, так тогда бы и узнал...» Как будто отрезал! Подлетает адъютант главнокомандующего и передает приказание выслать эскадрон против каре. Я, долго не думая, и говорю дяде на ухо: «Ну, дядя, выбирай: или дай мне возможность делом смыть твои слова с моей чести, или я должен буду выбрать другой какой-нибудь способ искать удовлетворения...» Говорю, а сам и бровью не моргну. А дядя уж был семейный — как стоянка, сейчас же не писал... Дети уж были, — какая там дуэль! Покопался он на меня вроде того, что за черт такой к нему привязался, плюнул и говорит, обращаясь к офицерам: «А что, господа, признаете за ним право идти в атаку?» Неприятно, конечно: всякому хочется, ну, а действительно, так ловко вышло, что право-то за мной. «Ну, — говорит, — будем любоваться, как ты умудришься смерти в глотку влезть да вылезть оттуда. Кстати уж скажи — куда и на сорокоуст отдать: ведь, кроме меня, за тебя-то, бешеного, и молиться некому».

Отец усмехнулся и несколько раз энергично затынулся.

Тема так и замер на своем месте.

Раскурив трубку, отец боковым взглядом посмотрел на сына и продолжал:

— А молиться-то за меня и в самом деле некому было: я сиротой рос... Ну-с... Подскакал я к своему эскадрону: «Ребята! Милость нам — в атаку! Живы будем, будет награда, а от меня хоть залейся водкой!» — Хоть к черту в зубы веди!.. Скомандовал я, и стали мы заходить... А так: овраг кончался и этакий холмик стоял в долине, — я и хотел было за ним выстроить эскадрон и тогда уже сразу развернутым фронтом ударить на каре. Тут как тут, смотрю, — проклятая речушка — не заметил, надо бы правой стороной оврага спускаться... — дрянь, сажени три, а топкая. Сунулся один — увяз, уж по лошади пролез назад... Нечего делать, пришлось идти до мостика и уж в открытом месте переходить речку; мостик жиденький, только только одному пройти с лошадыю. Заметили... Сейчас же, конечно, огонь открыли... В движении, на ходу, не чувствуешь как-то этой тоски смерти: ну, свалится лошадь, сорвется человек с седла — не слышно. А тут упадет и стонет. Вижу, у солдатиков уж дух не тот... Ну, и самому-таки и

жутко и неловко: как-никак, виноват. Нечаянно зло сделаешь, пустое, и то мучит, а здесь ведь жизнь человеческая; тут, там пятнадцать человек уложили, пока переходили, — все на твою совесть. Повернулся к солдатам — смотрят покорно, конечно, а тоже ведь все понимают. Так как-то вырвалось: «Ну, братцы, виноват — оплошал! Жив буду — заслужу, а теперь не выдавайте!»

Отец затанулся.

— Встрепенулись... «Отцом был — не выдадим!» Конечно, николаевские времена: с человеком, как со скотом... Ласку ценили... Ну, и меня, конечно, тронуло. Да и минута ведь такая же! Может, и сам уже стоишь перед своим смертным часом... Ну-с, так вот... Тронулись мы... Собрал я своего Черта и стал выпускать понемногу. А Чертом я называл свою лошадь оттого, что не выносила она, когда ее между ушами трогали, — сразу освирепеет: стена не стена, огонь не огонь — одним словом, черт! А так — первая лошадь. И уж сколько мне говорили: «Сломишь голову», — жаль расстаться, хоть ты что... Ну-с, так вот... Стал забирать кони... шибче, шибче... Марш-марш, в карьер!.. И-ить!.. Весь эскадрон, как один человек... только земля дрожит... пики наперевес... Лошадь врястяжку, точно на месте стоишь... А там ждут... Да хоть бы стрелял... Ждет... В упор хочет... Смотрит: глаза видно!.. Точно, прямо тошно: бей, не томи! Пли! Все перевернуло сразу... эскадрон как вкопанный! Пыль... лошади... люди... Каша. «Вперед!» Ни с места! Так секунда... Назад?! Серая шинель?! Позор?! А мои уж поворачивают коней... «Ребята, что ж вы?!» И не смотрят. Э-эх!.. За сердце схватило!.. «Па-а-длецы!» Да как хвачу меж ушей своего Черта...

Несколько мгновений длилось молчание.

— Уж и не помню... Так, вихрь какой-то... Весь эскадрон за мной, как один человек, врезались, опрокинули, смяли... Бойня, настоящая бойня пошла... прямо бунчуками — перевернет пику да бунчуком, как баранов, по голове и лупит. Люди... Что люди?! Лошади остервенели; вот где настоящий ужас был: прижмет уши, оскалит зубы, изовьет шею, вопьется в тело и рванет под себя.

Отец замолчал и потонул в облаках дыма.

Молчание длилось очень долго.

— А ты сам, папа, много убил? — спросила Зина.

— Никого, — ответил, усмехнувшись, отец. — У меня и сабля не была отточена. Да и сабля-то... Так, ковырлялка. Никита, мой денщик, шельма, бывало все ею в самоваре ковырялся.

— Папа, а как же ты Черта удержал? — спохватилась вдруг аккуратная Зина.

— Да уж не я его удержал... Кто-то другой... Пуля ему угодила: мне назначалась, а он мотнулся, ему прямо в лоб вцепилась. Упал он и прижал мне ногу... ну, а ведь давят, бьют, режут... Только я было на локоть, чтобы рвануться, смотрю — прямо в меня дуло торчит! Глянул: батюшки, смерть — целит какая-то образина! Ну, уж тут я... вторую жизнь прожил... а ведь всего какая-нибудь секунда... Смотрю, а уж Бондарчук, унтер-офицер — пьяница, шельма, а молодец, в плечах сажень косая — бунчуком по башке его... И не пикнул... И что значит страх?! Рожей мне показался невообразимой, а как посмотрел на него, когда уж он упал: шляпа откинулась — лежит мальчик лет пятнадцати, не больше, ребенок! Раскидал ручонки, точно в небо смотрит... лицо тихое, спокойное... Господи! Вот уж насмотрелся... Ночью что было: не могу заснуть. Стоят перед глазами... Бондарчук, которого сейчас же после того, как он спас меня, свалили, стоит: глаза стеклянные, посинел, стоит и смотрит, смотрит прямо в глаза! Тьфу ты! А в ушах: ая-яй! ая-яй! Открою глаза, зажгу свечку, выкурю папироску, успокоюсь, потушу... опять потянулись: солдатик Иванчук, пуля в живот попала, скрутился калачиком, смотрит на меня, качает головой и вое; лошадь с выпущенными потрохами тянется на четвереньках, а головой так и ищет туда и сюда, а глаза... ну, ей-богу же, как у человека. А как дойдет опять до Бондарчука — встанет и стоит; ну, хоть ты что хочешь делай! Смешно, а ведь хоть плачь! Вдруг, слышу, Пикита: «Ваше благородие, ваше благородие, чи вы спите?» — «Тебе чего?» — спрашиваю. «Бондарчук воскрес». Тьфу ты, черт! Я думал, что с ума сойду. Действительно, и так не знаешь, куда деваться, а тут еще такой сюрприз! Бросился я, как был. А так саженьях в ста положили всех убитых рядышком, смотрю — действительно идет Бондарчук; весь эскадрон уж выскочил: все любили сго — пьяница, а балагур-товарищ. «Ты что ж это, с того света?» — спрашиваю. «Так точно, ваше благородие!» На радостях и я пошутил: «Ты зачем же, говорю, назад пришел!» А он, мерзавец, вытянулся, руку к козырьку да самым этак ковыристым голосом: «Опохмелиться, ваше благородие, пришел: там не дают!» Ну, тут уж и я и солдаты прыснули. Что ж оказалось? Он, подлец, на случай атаки с собой в манерку водку взял; пока врагом спускались, он и налился. А пьяного только царапни, ведь он сейчас как мертвый свалится. А проснется, встанет как ни в чем не бывало.

— Ну что ж, дал, папа, на водку ему? — спросила Зина.

— Водки-то всем дал... А Бондарчуку, как возвратились, на стоянке, после похода, тысячу рублей ассигнациями дал... только не ему уж, а жене.

— Доволен был?

— Надо думать,— ответил отец, вставая и уходя к себе.

* * *

Однажды, вскоре после описанного рассказа, Николай Семенович почувствовал себя так нехорошо, что должен был слечь в кровать, — слечь и уж больше не вставать. Походы, раны, ревматизм сделали свое дело.

Теперь по наружному виду это уж был не прежний Николай Семенович. Без мундира, в ночной рубашке, с бессильно опущенною на подушку головой, укрытый одеялом, из-под которого сквозило исхудавшее тело, Николай Семенович глядел таким слабым, беспомощным. Эта беспомощность щемила сердце и вызывала невольные слезы.

Иногда, не выдержав, Тема спешил выйти из комнаты отца, путаясь на ходу с маленьким девятилетним Сержиком.

— Чего тебе?! — выскочив за дверь, спрашивал Тема, всматриваясь сквозь слезы в Сержика.

Бледное, растерянное лицо Сержика смотрело в лицо Темы, и дрогнувший голос делил с ним общее горе:

— Жалко папу!

«Жалко папу» — вот ясная, отчетливая фраза, которая болью охватывала сердца детей, которая, как рычажок, заставляла сбегаться в морщинки их лица, трогала клапан слез и вызывала жалобный, тихий писк тоски и беспомощности.

— Тихе, тихе, — шепотом и жестами останавливал Тема и свои и Сержика слезы, и вместе с Сержиком, который судорожно удерживался, толкаясь головой в брата, они спешили куда-нибудь поскорее выбраться подальше, где не было бы слышно их слез.

Однажды, придя из гимназии, Тема по лицам всех увидел и догадался, что что-то страшное уж где-то близко.

Наскоро поев, Тема на носках пошел к кабинету отца.

Он осторожно нажал дверь и вошел.

Отец лежал задумчиво, загадочно смотрел перед собою.

Тему потянуло к отцу, ему хотелось подойти, обнять его, высказать, как он его любит, но привычка брала

свое — он не мог победить чувства неловкости, стеснения и ограничился тем, что осторожно присел у постели отца.

Отец остановил на нем глаза и молча ласково смотрел на сына. Он видел и понимал, что происходило в его душе.

— Ну что, Тема? — проговорил он мягким, снисходительным тоном.

Сын поднял голову, его глаза сверкнули желанием ответить отцу как-нибудь ласково, горячо, но слова не шли на язык.

«Холодный я», — подумал тоскливо Тема.

Отец и это понял и, вздохнув, как-то загадочно тепло проговорил:

— Живи, Тема.

— Вместе, папа, будем жить.

— Нет уж... пора мне собираться... — и, помолчав, прибавил: — в дальнюю дорогу...

Воцарилось тяжелое, томительное молчание. И отец и сын жили каждый своим. Отец весь погрузился в прошлое. Сын мучился сложным чувством к отцу и неумением его высказать.

Глаза отца смотрели куда-то вдаль, долгим, каким-то преобразившимся, ясным взглядом, полным мысли и чувства всей долгой пережитой жизни.

Так глубокой осенью, когда солнце давно уже исчезло в непроглядном сером небе, когда глаз повсюду уже освоился с однообразным, оголенным, унылым видом, вдруг под вечер ворвется в окно сноп ярко-красных лучей и, скользя, заиграет на полу, на стенах, тоскливо напомним о прошедшем лете.

— Жил, как мог, — тихо, как бы сам с собой, заговорил отец. — Все позади... И ты будешь жить... узнаешь много... а кончишь тем же: будешь, как я, лежать да дожидаться смерти... Тебе труднее будет: жизнь все сложнее делается. Что еще вчера хорошо было, сегодня уже не годится... Мы росли в военном мундире, и вся наша жизнь в нем сосредоточивалась. Мы относились к нему, как к святыне, он был наша честь, наша слава и гордость. Теперь другие времена... Бывало, я помню, маленьким еще был: идет генерал, дрожишь — бог идет, а теперь идешь — так, писаришка какой-то прошел. Молокосос натянет плед, задерет голову и смотрит на тебя в свои очки так, как будто уж он мир завоевал... Обидно умирать в чужой обстановке... А впрочем, общая это судьба... И ты то же самое переживешь, когда тебя перестанут понимать, отыскивая одни пошлые и смешные стороны... Везде они есть... Одно, Тема... Если...

Отец поднялся и уставил холодные глаза в сына.

— Если ты когда-нибудь пойдешь против царя, я прокляну тебя из гроба...

Разговор кончился.

В немом молчании, с широко раскрытыми глазами сидел Тема, прижавшись к стенке кровати...

Начинались новые приступы болезни. Отец сказал, что желает отдохнуть и остаться один.

Вечером умирающему стало как будто легче. Он ласково перекрестил всех детей, мягко удержал на мгновение руку сына, когда тот, по привычке, взял его руку, чтоб поднести к губам, тихо сжал, приветливо заглянул сыну в глаза и проговорил спокойно, точно любуясь:

— Молодой хозяин.

Потрясенный непривычной лаской, Тема зарыдал и, припав к отцу, осыпал его лицо горячими, страстными поцелуями.

В комнате все стихло, и только глухо, тоскливо отдавалось рыдание сиротевшей семьи.

Не выдержал и отец... Волна теплой, согретой жизни неудержимо пахнула и охватила его... Дрогнуло неподвижное, спокойное лицо, и непривычные слезы тихо закапали на подушку... Когда все успокоились и молча устались опять в отца, на преображенном лице его, точно из отворенной двери, горела уже заря новой, неведомой жизни. Спокойный, немного строгий, но от глубины сердца сознательный взгляд точно мерил ту неизмеримую бездну, которая открывалась между ним, умирающим, и остающимися в живых, между тем светлым, бесконечным и вечным, куда он уходил, и страстным, бурливым, подвижным и изменчивым, что оставлял на земле. Голосом, уже звучавшим на рубеже двух миров, он тихо прошептал, осеняя всех крестом:

— Благословляю... живите...

В половине ночи весь дом поднялся на ноги.

Началась агония...

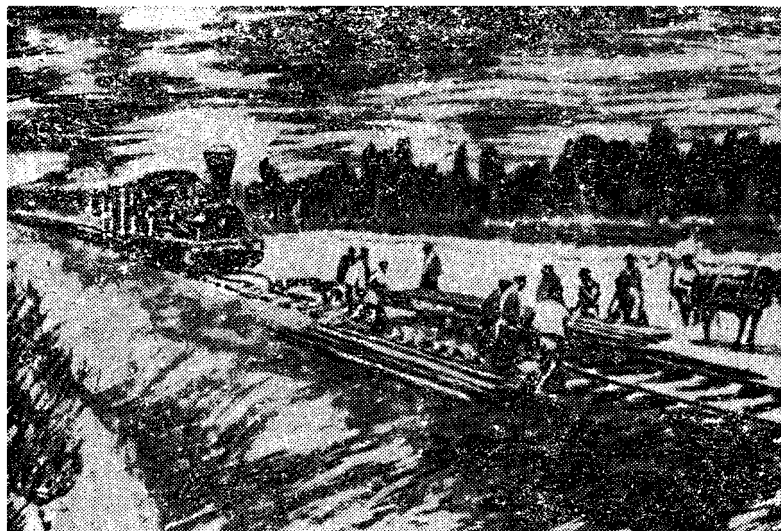
Тихо прижавшись к своим кроваткам, сидели дети с широко раскрытыми глазами, в тоскливом ожидании прочесть на каждом новом появлявшемся лице о чем-то страшном, ужасном, неотвратимом и неизбежном.

К рассвету отца не стало.

Вместо него на возвышении в гостиной в массе белого, в блеске свечей утопало, что-то, перед чем, недоумевая, замирало все живое, что-то и вечное и тленное, и близкое и чужое, и дорогое и страшное, вызывая одно только определенное ощущение, что общего между этим «чем-то» и тем, кто жил в этой оболочке, ничего нет. Тот папа, суровый и

строгий, но добрый и честный, тот живой папа, с которым связана была вся жизнь, который чувствовался во всем и везде, который проникал во все фибры существования, не мог оставаться в этом немом, неподвижном «чем-то». Он оторвался от этого, ушел куда-то и вот-вот опять войдет, сядет, закурит свою трубку и, веселый, довольный, опять заговорит о походах, товарищах, сражениях.

Ярко горят и колеблются свечи, сверкает катафалк и вся длинная, нарядная процессия; жжет солнце; сквозь духоту и пыль мостовой пробивается аромат молодой весны, маня в поле, на мягкую, свежую мураву, говоря о всех радостях жизни, а из-под катафалка безмолвно и грозно несутся дыхание смерти, безжизненно мотается голова, протяжно разносится погребальное пение, звучит и льется торжественный погребальный марш, то тоскливо надрывающий сердце, то напоминающий о том, что скоро скроется навсегда в тесной могиле дорогое и близкое сердцу, то примиряющий, говорящий о вечности, о смертном часе, неизбежном для каждого пришедшего на землю. А слезы льются, льются по лицу молодого Карташева: жаль отца, жаль живущих, жаль жизни. Хочется ласки, любви — любить мать, людей, любить мир со всем его хорошим и дурным, хочется жизнью своею, как этим ясным, светлым днем, прогнестись по земле и, совершив определенное, скрыться, исчезнуть, растаять в ясной лазури небес...



Рассказы и очерки

ВЕСЕЛЫЕ ЛЮДИ

Очерк

I

Толстый, большой, пухлое румяное лицо, маленький нос сверху, губы красные бутопчиком, глаза такие, точно ждут чего-нибудь веселенького, — вот вам и Володька, друг и приятель мой.

Познакомились мы с ним при следующих обстоятельствах: Володька (мы тогда еще не были знакомы) срезался по аналитике и высшей алгебре. Срезался совершенно прилично: все время что-то писал на доске, что-то объяснял профессору, затем оба они, и профессор, и Володька, на мгновение точно задумались и разошлись. Профессор пошел к столу ставить отметки, а Володька, тяжело переваливаясь и облизывая выпачканные мелом пальцы, пошел прочь, к нам, остальным студентам. На лице его было скромное сознание исполненного долга и что-то еще очень симпатичное: так, по примеру некоторых, он не полез сейчас же смотреть через головы других, сколько именно ему поставили. Действительно не все ли равно — четыре или пять?

С невольной завистью я подумал за Володьку: «пять, конечно», вытянув шею над головами других, заглянул в экзаменационный список. Каково же было мое удивление, когда перед его фамилией по двум вопросам я увидел две двойки, а по третьему — громадную, сверкавшую на весь лист, единицу. Я смотрел на эти двойки и единицу и на средний вывод за скобками — один целый и шестьдесят семь сотых — и на Володьку... Случись мне так срезаться, — я отошел бы с таким оплеванным, жалким лицом. что всякому ясно сейчас же стало бы, что я ничего не стоящий, ничтожный человечек. А Володька вон как поступил. О, это искусство владеть собой, оно дорого стоит в жизни.

Я слежу за Володькой глазами. В выходных дверях он столкнулся с каким-то пожилым студентом.

— Уже держали?

— Да.

Это говорит он, Володька, говорит деловым, удовлетворенным тоном и быстро проходит в коридор.

Я незаметно иду за Володькой и ловлю его, когда он, вероятно, думал, что он теперь один со своими мыслями. Он ходит, озабоченно потирая руки: ага! и это веселое и всегда возбужденное лицо может быть и таким! И все-таки приличным; не раскис, не упал духом — деловито озабочен. Люди, которые умеют владеть собой при таких условиях, и поражение превращают в победу.

Походил, походил Володька и опять назад, — назад, где экзамен идет. Я за ним. Что больше делать человеку, который уже получил свою тройку, был сперва огорчен этим и только, а теперь сознал, что лучше тройки, в сущности, ничего на свете нет: дать Володьке теперь эту тройку?

Володька подошел к профессору. Вообще подслушивать я не охотник, но теперь мое ухо чутко ловит слова из разговора профессора со студентом. Речь о переэкзаменовке: он, Володька, был болен; ну, конечно, профессор согласен назначить переэкзаменовку через месяц. Володька кланяется и уже с веселым лицом отходит: инцидент исчерпан.

Я провожаю его в последний раз глазами и принимаюсь наблюдать другие жертвы, стоящие там, у доски. Вот отошел еще один — бледный, растерянный: двойка, конечно. Куда пошел теперь Володька? Он никогда не остается после экзаменов. Вероятно, у него здесь семья, сестры есть, хорошенькие кузины, веселая компания... Сегодня поедут, наверно, на лодке: отчего не поехать, день прекрасный, весна.

Я вздыхаю и думаю: хоть бы ради экзамена достать где-нибудь рублевку, поехал бы и я куда-нибудь. Хорошо, что хоть обеденная марка в кармане...

Прошла неделя. Опять экзамен, опять у меня тройка, и опять я шляюсь по институту.

Забрел на третий курс: и там экзамен по аналитической механике. Тот же профессор, который срезал Володьку. На досках какие-то иероглифы; через два года и я пойму их. Профессор о чем-то разговаривает с студентами: надо подслушать. Говорит профессор, что через неделю за границу уезжает.

Как так — через неделю?! А Володьке назначил через месяц переэкзаменовку.

Говорю:

— Профессор, а как же насчет переэкзаменовки, помните...

Напоминаю ему обстоятельно: вспомнил. Совершенно растерялся (мальчишка и он еще совсем), тянет меня за пуговицу:

— Видите, в чем дело,— я сегодня последний ведь день экзаменную...

— Тогда, если позволите, я съезжу за ним, — говорю я.

— Ах, пожалуйста! — сказал он.

И каким тоном сказал, — точно на всю жизнь я сделал ему одолжение. Узнаю адрес Володьки и, хотя совсем без денег, беру извозчика (где же там рассуждать в такие минуты о деньгах; а вдруг профессор опять забудет, успеет уйти и тогда что же? Остаться Володьке?).

Еду и умираю от волнения, если не застану Володьку дома.

Он дома.

Вхожу. Такая же обстановка, как и у меня: очевидно, меблированная комната, темный коридор, спертый запах, фигура толстой хозяйки точно качается там во мраке. Вхожу в светлую большую комнату: чисто и аккуратно, вязаные белые салфеточки на красной мебели, — в Володьке что-то немецкое несомненно есть. А вот и сам Володька в углу: удобно уселся в кресле, лекции сбоку, — дрессирует щенка. Дрессировать не хочется, но это все-таки интереснее, чем лекции.

— Позвольте познакомиться...

Объясняю: так и так. Володька сообщает мне новость, которую я и без него знаю: он-де ничего еще не знает по алгебре. Я на мгновение задумываюсь и делюсь первой сверкающей в моей голове мыслью:

— Пройдем наскоро уравнение со многими неизвестными.

— А если как раз это и не спросят?

Володька и я смеемся. С его лица так и брызжет благодущие, веселье и в то же время смущение.

Мы уже товарищи. Я чувствую это и говорю возбужденно, радостно:

— Устроим так, что наверно спросят... Что-нибудь же знать необходимо...

Конечно, это ясно. Я дьявольски деловой человек для других.

Проходит полчаса, и мы с уравнением со многими неизвестными в наших головах мчимся уже в институт, возбужденные, поглощенные предстоящим.

Передать невозможно, как хорош был день: весенний, яркий; так и сверкают, так и тонут там, в голубом небе золотые блески и движутся в воздухе, и сверкают: и собираются, исчезая там, выше, выше, совсем вверху.

А эта даль Фонтанки и какие-то здания и церкви, и там дальше — разорванные, мягкие, слегка подрумяненные облака.

Хорошо! И я от всей души уже люблю этого Володьку.

Вот и институт: скорей, скорей!

— Голубчик Антонов (швейцар), — говорю я торопливо, смущенно, не глядя, — заплатите, пожалуйста, извозчику пятьдесят копеек.

— Позвольте, я...

Это прерывает меня Володька! Он вынимает кошелек, — ого, у него есть деньги, может быть, у него миллион?! он бежит уже по лестнице; я за ним.

Мы входим в аудиторию: последние жертвы у доски, одна доска уже пустая — Володькина. Профессор смущенно идет к нам навстречу: ясно, как божий день ясно, что он должен теперь перевести Володьку.

Володька говорит, что не успел подготовиться, но берет на себя нравственное обязательство в течение лета... (В течение лета?! Голову на отсечение даю, что так и не приронется...). А теперь, пока, он просит смотреть просто на теперешний экзамен, как на формальность...

Тон верный.

Профессор смущенно только повторяет:

— Конечно, конечно...

А я уже подсказываю профессору:

— Уравнение со многими неизвестными...

Профессор со страхом смотрит на Володьку и, точно извиняясь, спрашивает:

— Можете?

Володька скромно, но так, что меня что-то-точно щекочет внутри: «попробую», и ноздри его на мгновение расширяются... Ах, как он владеет собой!

Он уже пишет на доске, а я слежу и думаю:

«Способный, подлец: все понял».

— Очень вам благодарен, — говорит через несколько минут профессор, подходя к доске Володьки и бегло оглядывая его уже исписанную доску, — извините, пожалуйста...

И еще «извините»! Мы с Володькой уже стремглав летим по коридору с лестницы и хохочем: как сумасшедшие.

II

Мы расстанемся с Володькой на подъезде.

Вот он идет, темного неуклюжий, переваливаясь.

Мы торопимся расстаться, точно боимся испортить прекрасное впечатление первого знакомства.

Что теперь делать? Обедать рано, пойду к Феде.

Федя некрасивый: нос крючком, глаза круглые и ко всему заячья губа. Но он такой остроумный, толкий, деликатный, что моя душа болит, болит и болит, отчего он такой некрасивый. Почему не я? Ходил бы себе с его носом и круглыми глазами с заячьей губой, с опущенной головой, и пускай никто на меня никакого внимания не обращал бы: ах, как это было бы хорошо, — сколько свободного бы времени оставалось!

Федор живет в доме Лихачева на Вознесенском, на пятом этаже, с видом на крышу и слуховое окно. Он сидит в своей маленькой, залитой солнцем комнате и уже что-то вычеркивает из начертательной, несмотря на то, что экзамен еще через десять дней.

— Ну, это глупо! — говорю я.

— Конечно, — совершенно искренне соглашается, как бы извиняясь, Федя и отодвигает и бумагу и лекции. — Что новенького?

Я торопливо, возбужденно рассказываю ему о Володьке.

Во время рассказа Федя опять незаметно придвигает к себе бумагу и лекции, заглядывает, чертит, слушает меня и смеется.

Прелесть этот Федя: чистый, как дитя, талантливый, трудолюбивый, без всякой рисовки, добрый! И все это в такой уродливой скорлупе... Смех его — смех ребенка. Ему и весело, и я не сомневаюсь, что он так и видит этого увальня Володьку. Он понимает, что оставить бы его следовало на

второй год на том же курсе, и в то же время, когда я кончил, он говорит, лениво потягиваясь:

— А симпатичный, кажется, этот Володька!

Он на мгновение задумывается, смотрит перед собой, и тень какой-то грусти пробегает по его лицу, но он опять уже добродушно и с какой-то снисходительной насмешкой и над собой и над всеми спрашивает:

— Что ж, пойдем обедать?

И мы идем обедать, а после обеда кутим: едем на пароходе на острова и обратно.

Обратно нас всего трое: Федя, я и какая-то барышня, высокая, худенькая, стройная, с интеллигентным лицом, с уверенными глазами.

Обыкновенно на Федю барышни не смотрят, а она так ласково и с таким интересом следит за ним. Это понимаю и я и Федя, — и мы, сидя невдалеке от нее, разговариваем, острим. Федя разошелся; я чувствую, что девушка видит всю красоту души Феде, и счастлив за него. У него столько юмора, и иногда она не в силах сдержать улыбку и отворачивает лицо.

Пароходик летит; мимо нас проносятся берега, дачи, сверкает река, и все это, охваченное покоем заходящего солнца, так располагает к дружбе и сближению... Что б этой барышне вдруг познакомиться с нами, позвать нас, одиноких в этом большом городе, в свою семью, чтобы провести с ними вечер? Наверно, весело было бы: ведь мы умеем хорошо смеяться и хорошо смешить, когда не давит, не жмет нас ничто.

Но пароходик уже бурлит у пристани, и деловито и озабоченно барышня спешит по трапу; мы видим ее стройную ножку в высоком на пуговках ботинке.

Я бросаюсь за ней и увлекаю Федю, говоря горячо и торопливо:

— Нельзя упускать такого случая!..

Но, пока я еще тащу, пока мы вышли, она уже уехала.

Федя грустный и притихший. Солнце садится, и так пусто в этой холодной дали... Холодно; руки зябнут, и хочется есть, так хочется есть. Мы разоряемся: покупаем сосиски и хлеб; там, дома, в самоваре мы их сварим и съедим, наслаждаясь их ароматом и с грустью вспоминая барышню и всю прелесть весеннего вечера.

III

Читатель, вероятно, догадался уже, что ни Володька, ни я не принадлежали к числу усердных студентов.

Увы! К стыду моему, я должен признаться, что мысль о науках и занятиях — была единственная, которая отравляла мое тогдашнее беспечальное житие.

Эти экзамены, репетиции и проекты были для меня кошмаром, тенью отца Гамлета, неожиданно появлявшейся вдруг передо мной: и в театре, и когда с ногами я лежу у себя и мечтаю, а Федя, задумчивый, рассеянно слушает.

Да не подумает читатель, что я не любил своей специальности или тех наук, которые приходилось изучать в институте: грех было бы это сказать. На что уж какая-нибудь «теория теней», наука, без которой можно, кажется, прожить инженеру-практику, а и к ней никакого враждебного чувства я не питал. Напротив, в каждой науке, даже в кристаллографии, и в той в конце концов находил какую-то непонятную, невыразимую, ей одной свойственную привлекательность.

К сожалению, только сознание этой привлекательности появлялось обыкновенно слишком поздно! Накануне или даже утром в день экзамена, когда в последний раз пробегалось все... Вдруг выростало какое-то сожаление, что раньше, в году, не оценил всей этой так поздно обнаружившейся прелести.

Раньше?!

Но иногда к году, заглянув в какое-нибудь редкое утро в институт, я начинал мечтать, что вот уйти бы теперь домой и приняться как следует за начало каких-нибудь интегралов, — начало, без которого и на лекцию нечего идти: все равно ничего не поймешь. И в голове уже рисуется чисто прибранная комната, на письменном столе все аккуратно сложено, кругом тишина; я сажусь за стол и погружаюсь в науку.

Трогательная и величественная картина: молодой человек, могущий совершенно иначе проводить свое время, все-му предпочитает науку.

И сердце мое бьется усиленно от предстоящего удовольствия.

Да, удовольствия!

Я решаюсь идти домой, — уже иду, спешу и радостно сознаю, что на этот раз мое желание приступить к занятиям перешло прямо в страсть, которую если б я желал даже, то не мог бы уже погасить в себе. Это новое, свежее чувство и эта зарождающаяся любовь к наукам заставляет меня как-то особенно снисходительно смотреть на божий мир.

Вот идет мой товарищ Дерунов и презрительно косится в мою сторону. Этот зубрила и нахал считает меня чуть

ли не животным за то только, что я не топчусь, как он, часами над какой-нибудь дурацкой заклепкой.

В его глазах цена мне — грош, да и то в базарный день. Попробовал бы я сунуться в его глубокомысленные (и дурацкие) рассуждения, когда он спорит с равными ему, — он, конечно, не только не удостоил бы меня ответом, но прямо бы, вероятно, прекратил всякий разговор, подарив меня таким презрительным взглядом, после которого я не решился бы в другой раз вмешаться в рассуждения этих богов.

Конечно, и я в долгу не оставался перед таким Деруновым. Рассказывая о какой-нибудь оперетке, всегда нарочно старался стать так, чтоб меня и видел и слышал Дерунов.

Но теперь презрительный взгляд его вызывает во мне снисходительное сознание, что он, пожалуй, имел даже некоторое основание так смотреть на меня. Я улыбаюсь при мысли о том, как широко вытаращит глаза этот самый Дерунов, когда услышит мою свободную и плавную речь о «какой-нибудь заклепке». Я нарочно буду держать себя по-прежнему, буду восторгаться опереткой, а когда все пройдет, тогда подойду к Дерунову и небрежно вмешаюсь в разговор. Он попробует меня осадить своим высокомерно-презрительным тоном:

— Позвольте...

Но тут-то и влетит ему:

— Нет, вы позвольте! — оборву я его...

И начну валять.

Скорей, скорей, не иду, а бегу я домой.

Вот уж и знакомый поворот, угловая лавка с колоннальными товарами, мои любимые апельсины в окне.

«Не купить ли?» — мелькает в голове.

На мгновенье останавливает меня некоторое опасение, как бы апельсины не повредили моим благим намерениям. Я мысленно измеряю силу своей новой страсти к науке и прихожу к заключению, что проглоти я в настоящий момент апельсины всего мира, и все-таки они не заглушат моих чувств к прелестным интегралам. Счастливым этим сознанием, я смело вхожу в магазин и покупаю десяток апельсинов.

Вот я в своей комнате...

Неприятное разочарование: комната не убрана, постель раскрыта, платье и белье валяются по стульям, воздух спертый.

Я накидываюсь на горничную и доказываю ей, как дважды два — четыре, что она пошлая дура и больше ни-

чего. Я чуть не плачу от мысли, что благодаря этой дуре моя зародившаяся страсть к интегралам подвергается таким жестоким испытаниям. Конечно, я спокоен за силу этой страсти... но обидно...

К счастью, мне предлагают воспользоваться соседней комнатой, пока будет готова моя. Я забираю лекции, апельсины и отправляюсь туда.

Почему-то эту комнату я рисовал себе совсем не такой, какой она оказалась: и диван не на месте и кровать не там. Письменный стол, например: будь он у того окна, — сейчас бы, кажется, сел и до вечера не вставал. Нет, поставили его к стене, боком к окну; ну кто так ставит?! Я чувствую, что мое прекрасное расположение духа начинает меня окончательно оставлять.

Чтобы не расстроить себя еще больше, я ложусь на диван и принимаюсь за апельсины. Третий, четвертый — и я чувствую себя все лучше и лучше... Мое добродушное настроение полностью возвращается. Я снова ощущаю прилив энергии и не замечаю, как истребляю пятый, шестой, седьмой... Я спохватываюсь на восьмом и мгновенно осознаю, что пересолил: восьмой погубил все дело.

Грустный, я машинально доедаю девятый и десятый, беру газету или роман и укладываюсь на кровать. Проходит час, другой, книги или газета незаметно выпадают из рук, и я погружаюсь в глубокий сон.

IV

Тем и кончались обыкновенно все мои попытки приступить к занятиям в течение учебного года.

Зато и приходилось же отдуваться на экзаменах.

И замечательная вещь. В году страницу будешь читать чуть ли не сутки и все-таки забудешь, после того как прочтешь.

На экзаменах же целый предмет в три дня совершенно наново проглотишь и все помнишь. С начала экзаменов еще трудно, но под конец так насобачишься, что давай хоть китайский язык и только скажи, что завтра экзамен, — будет готово. Голова расширяется и превращается в какой-то бесконечный мешок, способный все и вся поглотить. Конечно, в таких случаях не без скандалов. Но скандал скандалу — рознь! По общеюдячей терминологии, скандал по какой-нибудь кристаллографии не был скандалом даже для таких, как Дерупов; а скандал по механике, да еще строительной, даже для меня с Володькой, пожалуй, был бы скандалом. Я беру, конечно, крайние примеры; но между

ними было много такого, что с точки зрения Дерунова безусловно было скандалом, а с нашей с Володькой — ничего особенного не представляло.

Например, отвечаю я по политической экономии, — помню, что-то о рынке. Прочитать-то прочитал и думал, что понял, а начал рассказывать и только тут убедился, что ничего не понял. Путаюсь, путаюсь, — ничего не выходит. Профессор сидит не в духе, уныло запустив руки в свои взъерошенные волосы.

— Ничего не понимаю, — перебивает он, наконец, мое путанье, — да чего вы хотите, наконец? Тройку, что ли?

— Больше ничего не желаю, — лепечу я сконфуженно. Ставят мне тройку, и я ухожу, как нищий, которому презрительно бросили подачку из богатого дома.

У дверей сталкиваюсь с Деруновым. Что-то шипит своему соседу, но так, чтобы я слышал. Прислушиваюсь: рассуждение на тему о том, что есть же господа, у которых никакого самолюбия нет и которые готовы вытерпеть какое угодно обращение, чтобы только получить тройку.

— А по-вашему, — вступаете за меня Володька, засунув руки в карманы, и маленькие ноздри его раздуваются, и он, как петух, топчется на месте, — ему (кивок в мою сторону) морду профессору, что ли, побить за то, что он (опять кивок на меня) ничего не знает?

Мы оба хохочем и исчезаем в коридоре, прежде чем озадаченный Дерунов собирался с ответом.

И я Володьку поддерживаю.

Экзаменуют его по минералогии. При всей снисходительности профессора дело плохо подвигается вперед.

— Какого цвета?

— Черного, — с решительным отчаянием выпаливает Володька.

— Почти, — отвечает профессор, — даже скорее, темно-серого... светло-серого... — и, помолчав, резко: — Белого... Где добывается?

Опять Володька ляпнет что-нибудь вроде Ташкента.

— То есть, видите ли, — подхватывает профессор, — поручиться, что в Ташкенте в кабинете какого-нибудь любителя может попасться какой-нибудь затерянный кусок, конечно, пельзя...

Оказывается, минерал в Финляндии. И все в таком роде.

Окончательно портит Володьке то, что он несоответственные слова подбирает; рассказывает, например, о минералах и все — «водится» да «водится».

— Господин... — не выдерживает профессор, — дикие звери водятся, а минералы добываются! Экие поистине зверские ответы!

Наступает неловкая пауза.

— Как называется, — задает недовольно профессор последний вопрос, который он обыкновенно задает подобным студентам, — этот гиган...

— *Productus gigantus*, — догадался и уже кричит Володька, не давая даже времени профессору ни досказать, ни вынуть из ящика требуемый предмет.

Профессора на мгновение озадачивает эта полная развязность: он поднимает глаза на Володьку, но тот уже успел соорудить такую наивно-глупую морду, что профессор сго немедленно отпускает и ставит три.

— По-моему, бессовестно... — начинает Дерунов, обращаясь к соседу.

— Молодец, Володька! — перебиваю я Дерунова, — отлично: легко, свободно! Другой идиот целый год зубрит, а так не ответит.

— Будет! — решительно обрывает меня Володька, — а то бить буду!

Иногда случались неприятности и помимо нашей воли. Так, например, по богословию, которое читается у нас на первых трех курсах, я, несмотря на усердное приготовление каждый раз к экзамену, два года подряд отвечал невозможно плохо.

Не читать и плохо отвечать — дело обыкновенное, но прочесть и не ответить — это куда хуже.

Я, конечно, старательно скрывал, что я читал, и предпочитал бравировать перед товарищами, что я и в руки не брал. На душе тем не менее обидно было. Только на третьем курсе разъяснилось, в чем дело: мошенник швейцар на первом курсе продал мне лекции третьего курса, на втором — первого и, наконец, на третьем — второго.

V

Время шло, и мы с Володькой становились, конечно, серьезнее (Федя — тот весь потонул в работах), даже занимались составлением некоторых проектов (большинство, впрочем, заказывали), но лекции посещать так уж и совсем не могли. А между тем некоторые профессора настойчиво требовали этих посещений и даже в зависимости от них более или менее придирались на экзаменах.

Лекции самого требовательного в этом отношении профессора четвертого курса, как нарочно, начинались всегда

в девять часов утра. Ну, какой порядочный человек в это время бодрствует? Уж месяца три прошло с начала учебного года, а мы в Володькой все никак попасть на лекцию не можем. Наконец счастливый случай помог нам: сели мы играть в карты и проиграли ровно до половины девятого следующего утра. Володька и говорит:

— Когда опять такого счастливого случая дождемся? Айда в институт на лекцию Мясницкого.

Я было замялся, но Володька настоял (он умеет настаивать, когда захочет).

— Надо же, наконец, приучить его к нашим физиономиям, а то, ей-богу, срежет на экзамене.

«Ну, ладно», — думаю.

Отправились мы приучать профессора к нашим физиономиям и для этого, как путные, уселись поближе, на первой скамейке.

Читает профессор монотонно, однообразно и поскрипывая голосом, как намазанная телега. В аудитории тихо-тихо. Я сижу в отчаянной борьбе с дремой: на глаза точно лезет что-то. Все силы напрягаешь, чтобы слушать и сосредоточиться, вот, кажется, привел себя в надлежащее состояние... вот теперь отлично, вот, вот... И вдруг тра-ах! Что такое. Встрепенешься испуганно. Ничего, тот же монотонный скрип телеги, та же тишина, так же старательно сосед вырисовывает петушка. Странно: отчего бы это могло показаться, что что-то будто упало?

И вдруг чувствую, что уже сам куда-то стремглав лечу. Открываю глаза и вижу, что я держусь крепко руками за скамью. Оглядываюсь, и на меня все оглядываются.

«Плохо дело, думаю, так, пожалуй, и профессор заметит». Я откашливаюсь энергично, оправляюсь и на этот раз совершенно прихожу в себя. Но проходит несколько минут, и я снова начинаю клевать носом. Вдруг Володька толкает меня под бок; я открываю глаза и вижу перед собой лист бумаги с нарисованными на нем двумя свинками: одна веселая, другая грустная. Володька услужливо тыкает карандашом. В первое мгновение я ничего не понимаю, но в следующее за ним соображаю, что это Володька придумал для того, чтобы отвлечь меня от сна.

И мысль его и он сам — все кажется мне бесконечно смешным. Я чувствую, что надуваюсь от неожиданного прилива какого-то дикого смеха. Стараюсь удержаться, но по лицу Володьки, на котором вдруг изображается неопишущий ужас, я чувствую, что не удержусь. С Володькой тоже — метаморфоза: он стремительно зажимает свой нос... Картина: профессор, прекратив чтение, смотрит на нас, все

товарищество тоже, а мы, уткнув лица в руки, фыркаем, как молодые котята.

Больше на лекции Мясницкого, конечно, ни ногой, и вся забота наша теперь состояла в том, чтобы профессор не то, чтобы запомнил, — забыл бы как-нибудь совсем наши лица.

— Послушайте, ведь это свинство, — приставали к нам товарищи.

Конечно, свинство, мы и сами это сознавали, да что ж подслаешь.

VI

Вот и выпускные экзамены с бледными, бессонными ночами, с тяжелым, подчас непосильным трудом, связанным, как нарочно, с всевозможными лишениями. Часы, сюртуки, шуба, пальто — все уж это давно было заложено и перезаложено. Пришлось пустить в ход экстраординарные, так сказать, предметы: георгиевский крест отца, альбом с портретами матери, сестер, родных, друзей. Дошло дело, наконец, и до рубах. Одна за другой перетаскал я в конце концов в кассу ссуд почти все свое белье.

Делались все эти операции, конечно, с соблюдением возможного инкогнито. Прежде всего прислуга не должна была ни о чем догадываться.

Бывало, засунешь рубаху под пальто, оправишь перед зеркалом грудь и выходишь с самой беззаботной физиономией на лестницу. Грудь слегка топырится, как будто у генерала какого-нибудь; и кто догадается, что отдувается она оттого, что под пальто подсунута грязная рубаха, за которую можно получить сорок, а при счастье и пятьдесят копеек.

И вот однажды, когда я с такой оттопыренной грудью, с чувством собственного достоинства медленно спускался по лестнице, моя служанка окликнула меня:

— Сударь, вы рукав-то подберите.

Я так и обмер: рукав моей рубахи, на манер сабли, волочился за мной из-под пальто.

VII

Последний экзамен...

Помню этот торжественный момент, когда я положил мел, которым чертил на доске, с ясным сознанием, что кладу его в последний раз в жизни.

Выйдя на лестницу, я остановился на площадке с целью дать себе отчет в переживаемом моменте и сознательно почувствовать его. К моему величайшему огорчению я ничего не почувствовал.

Кончил курс, надо искать место.

Как-никак на душе все-таки было легко и спокойно за завтрашний день в том смысле, что ничего уж не надо зубрить, никто тебя не станет в четыре утра тормозить, — спи хоть до самой смерти...

Первые два дня усиленно и спали, а на третий решили с Володькой приняться за исканье места.

Надели сюртуки, прицепили значки, захватили прошения и отправились прямо в министерство. Черт возьми! Через час какой-нибудь мы уже будем, может быть, рантьерами в две тысячи в год...

— За что, Володька?

— Молчи!

Доложились швейцару, потом дежурному чиновнику, а там добрались и до директора департамента общих дел. В сущности, как потом уже мы узнали, вся эта процедура была совершенно бесполезна и бесцельна. Но тогда что мы знали?

Вышел плотный, решительный господин.

— Чем могу служить?

Мы с Володькой переглянулись, прокашлялись, открыли рты, прошептали: «вот-с», и сунули его превосходительству наши дурацкие прошения.

— Вакансии нет, — отрезал его превосходительство, скользнув глазами по нашим прошениям.

Несмотря на такой категорический отказ, чувствовалось по голосу, что его превосходительство еще что-нибудь скажет.

Мы стояли, не смея, что называется,дохнуть.

— Вы куда ж хотите? — осведомился, помолчав, директор.

Мы с Володей были мальчишки неглупые и отлично знали, куда мы хотели. Мы хотели на постройку, непременно на постройку, потому что там большое жалованье. На шоссе мы не хотели, потому что там жалованья так мизерны, что жить на них нельзя, а надо проценты какие-то получать, или бог его знает что, но по-нашему выходило, что надо просто-напросто воровать.

— Так на постройку? — терпеливо выслушав нас, переспросил директор.

— На постройку, — дружно ответили мы с Володькой.

— Ну, жаль, господа, что ничем не могу быть вам полезен, — проговорил директор, возвращая нам наши прошения, — все, что могу — это предложить вам поступить ко мне в канцелярию.

— Чем заниматься? — спросил я.

— На первых порах подшивать бумаги, а потом...

— При чем же тут наше инженерство?

— А уж ни при чем, конечно, — вот это снять придется, — дотронулся директор до моего значка.

Что ж это?!

— Очень жаль, — вспыхнул я, — что мы пять лет тому назад не знали, что у вас есть вакантные места; мы бы тогда вышли из института, поступили к вам и за пять лет...

— Чем еще могу быть полезен? — грубо оборвал меня директор и, не дожидаясь ответа, скрылся за дверью.

Мы с Володькой переглянулись и, присев друг перед другом на корточки, залились самым веселым смехом.

— Нет, какая... — начал было я и подавился: дверь распахнулась, и на пороге показалась грозная фигура его превосходительства.

Не дожидаясь, мы бросились к двери.

— Ну, здесь ловко устроились, — говорил Володька, быстро шагая по панели, — если так успешно дальше пойдет, мы скоро составим себе блестящую карьеру.

Володька, хотя и шутил, но вместе с тем был раздражен.

— Так нельзя, — говорил он, — будем мы вместе шататься, ничего не выйдет: надо каждому отдельно пытаться счастье.

На том и порешили.

Володька совершенно пропал с горизонта. Попробовал я было ткнуться в несколько передних, — везде то же: «Будем иметь в виду, очень приятно и прощайте».

Походил я педели две и решил ехать домой. Зашел к Володьке и, по обыкновению, не застал его дема, оставил записку, что завтра уезжаю.

Утром на другой день Володька приехал и проводил меня на вокзал.

— Ну что, как дела? — спросил я.

— Идет! — уклончиво ответил Володька.

— А у меня ничего не выгорело, — пожаловался я.

— Гм... — промычал в ответ Володька.

Вот и третий звонок. Мы горячо поцеловались, и толстый Володька неуклюжей, но проворной походкой быстро направился к выходной двери. Я уныло провожаю его

глазами. Трогается и мой поезд. В окнах мелькают знакомые картины предместий Петербурга.

Скучные мысли ползут в голову.

Как быстро пролетело время! Давно ли, давно я подъезжал впервые, пять лет тому назад, к этому Петербургу! Пять лет промелькнули как пять листочков прочитанной книги. Я ехал тогда и мечтал, что в эти пять лет я приобрету себе знание, которое даст мне возможность ни от кого не зависеть... Но знаний нет, нет и опыта. Давно, еще в гимназии, потерял аппетит к работе, и, если тот или другой директор не сжадется и не даст мне кусок хлеба, я пропал. Ах, он, может быть, и будет, этот кусок хлеба, — ведь живут же как-то все люди, — будет, может быть, и большой, я его выпрошу, бабушка наворожит... Назад бы, к началу этих пяти лет, — за работу!

Ох, не назад, а вперед и вперед все с ускоряющейся быстротой по болотам и кочкам мчится поезд... Нет дороги назад!..

НА ПРАКТИКЕ

I

Южное лето. Жара невыносимая. Точно из раскаленной печи охватывает пламенем. Сгорел воздух, степь, горят все эти здания громадного вокзала.

Полдень.

На запасном пути, на площадке раскаленного черного паровоза в одном углу на перилах сидит унылая фигура с большим красным носом машиниста.

Пропитанный салом картуз съехал на затылок и точно приклеен к голове. Куртка, штаны когда-то иного, а теперь такого же, как окружающий уголь, черного цвета, тоже пропитаны и лоснятся салом. Запах этого сала тяжелый, одуряющий. Масло и сало везде: в масленках, на площадках, на стойках, на руках. Пучки пакли, род утиральника — тоже в сале, и вытирание рук — только самообман. Этой паклей я — другая фигура на площадке паровоза, в другом углу, — виновато и бесполезно, чтобы только что-нибудь делать, тру свои руки.

Я студент-практикант.

Первый день моей практики. Только что кончили маневры и полчаса, час мы будем стоять так: на припеке, с полупотухшим паровозом, который, как какое-то громадное, грязное, замученное животное, теперь отдыхая, тяжело спит.

Машинист Григорьев мрачно смотрит вниз. Вся его фигура судьи красноречиво говорит: «Ну, что ж теперь будем делать?»

Я понимаю и сам, что дело из рук вон плохо.

Нас на паровозе всего двое: он — машинист и я — кочегар.

Но, собственно, это «я — кочегар» один звук. Я даже лопаты в руках держать не умю. Этой лопатой надо перебросить из тендера в топку до трехсот пудов угля в сутки. Кроме лопаты много других инструментов, которыми тоже надо уметь владеть и систематично поспевать делать накапливающуюся работу.

Резак, например. Добрых полторы сажени, чуть ли не пудовый металлический стержень с загнутым острием на конце.

Лежа на животе под паровозом, держа один конец этого резака в руках, надо другим, пропуская его между колосниками топки, подрезать накапливающийся там шлак.

Подрезать для того, чтобы проходил воздух, иначе гореть не будет, а тогда не будет и пара, как не будет его, если не уметь бросать в печку уголь так, как его надо бросать: к краям потолще, к середине тоньше.

А я бросаю как раз наоборот. И кажется вот-вот хорошо и опять на середину, и опять мрачно говорит Григорьев: — Могила!

И он раздраженно опять вырывает из моих рук лопату.

Ловко летит с лопаты уголь, и белое пламя топки почти не краснеет, а у меня от одной лопаты и дым и красное пламя, — все признаки неполного сгорания. И сейчас же манометр падает и работать нечем, а тут как раз надо воду качать, надо сало спускать в масленках, надо новое наливать, надо чинить расхлябавшиеся подшипники, тормозить паровоз, кричать составителям и зорко следить, чтобы не стукнуть друг с другом те задние, где-то в бесконечном отдалении вагоны. Все это надо делать мне, и все это делает, кроме всех своих других обязанностей, Григорьев, и после каждой сделанной за меня работы он все тем же безнадежным, долбящим голосом говорит:

— Так, так... А кто же работать будет?

И как раз в это время где-то там сзади: бух-тах-тарахах, с какой-то всеразрушающей силой стучаются вагоны и, кажется, в щепки летят. Григорьев хватается за регулятор, штайер, кричит дико: «Тормоз». Я бросаюсь к тормозу, отчаянно верчу, но не в ту сторону — я растормаживаю, вместо того чтобы затормозить.

— А-а-а!

В этом «а-а-а», в этой поднятой ноге, в руках, схватившихся за голову — все бессилше, вся злоба, все бешенство несчастного. Каторга, из которой каким-то порывом он хотел бы унести и сразу забыть этот проклятый паровоз, роковые выстрелы стukaющихся вагонов, дурацкую фигуру оторопевшего, никуда не годного своего помощника.

И опять кричит он в отчаянии:

— Да что ж это наконец?.. Шутки шутить, что ли, мы будем?

Точно. Привалиться. Да, вот.. Ехал па практику, выбрал самую тяжелую, был горд сознанием предстоящего черного труда.

Унылая фигура Григорьева скрючилась и застыла. Я все так-же тру руки паклей. Лучше бы уж ругался.

— Нагортайте угля.

И, не дожидаясь, пока я соображу новое непонятное для меня распоряжение, Григорьев уже хватает лопату, взбирается на задний край тендера и начинает оттуда подбрасывать уголь к топке.

И я взбираюсь за ним и, поняв, чего от меня хотят, говорю смиренно:

— Позвольте мне.

Боже мой, с каким колебанием передается мне эта лопата. Какое презрение ко мне. Точно это фельдмаршальский жезл, а я презреннейший из трусов.

Когда около топки образовывается порядочная горка, Григорьев через силу говорит:

— Ну... Ступайте обедать.

Я спускаюсь с паровоза на землю и робко спрашиваю:

— Вы не можете сказать мне, где здесь можно пообедать?

Григорьев говорит, отвернувшись:

— Направо из ворот: написано на вывеске. Да не сидте там три часа.

Я шагаю. Новенькая парусиновая блуза уже вся в пятнах, слой угольной пыли на ней, на лице, волосах. Пот струйками пробивает в ней дорожку по щекам. Я стираю этот пот и чувствую, что размазываю на лице грязь. На зубах хрустит уголь, но есть хочется, так хочется, что от мысли, что сейчас буду есть, все невзгоды первого дня отступают на задний план. Какое-то смутное утешительное сознание: перемелется — мука будет. В воротах молодой кочегар Иванов, с которым я познакомился сегодня утром в конторе глухого и грозного начальника депо.

Кочегар, засунув руки в карманы, ждет меня, насвистывая какую-то песенку.

— Ну? — весело спрашивает он, когда я подхожу. — Григорьев не побил?

— Только что не побил, — отвечаю я, и сразу мы оба чувствуем себя старыми товарищами.

Мы идем направо по площади, туда, где над маленькой дверью харчевни нарисована какая-то большая птица, проткнутая вилкой и ножом.

— Да вот, — говорит мой товарищ, — ругатель Григорьев, конечно, а вот пасчет этого, только он да мой — своих кочегаров вперед себя обедать пускают.

В темной, обширной, с невысокими потолками харчевне много народа: машинисты, слесаря, кузнецы. Лица черные, закоптелые, у машинистов важные и тем важнее, чем больше нашивок из галуна на шапке. С каким сосредоточенным важным видом ест один с тремя нашивками, еще молодой, с русой бородой, с умными, твердыми, голубыми глазами.

Там, дальше, группа уже поевших. В центре большой, толстый, отвалившись, улыбается, слушая соседа, и, прищурившись, смотрит начальственно на нас. Рядом с ним высокий, худой, с жидкой бородкой, с тремя нашивками веселый немец, что-то говорит, и все кругом хохочут.

— Это Альбранд из Вены — все врет, но так, что животики надорвешь, — говорит мой спутник.

Какой-то машинист за другим столом, мрачный, желчный, стучит кулаком и грозно говорит:

— Я своего паровоза не дам... Расплююсь, уйду, а не дам.

Небрежно откинувшись, куря сигару, слесарь читает газету.

Нам дали борщ с большим куском говядины, на столе хрен с уксусом, гора ломтей темного пшеничного хлеба, один запах которого уже вызывает усиленный аппетит. На второе дали тушеную говядину с густым черным соком, с поджаренным картофелем.

Я, всегда смотревший на еду, как на какую-то скучную формальность, здесь ел, ел и чем больше ел, тем больше хотелось. Ел и с наслаждением представлял себе родных, знакомых барышень. Если бы они увидели теперь меня здесь? Моя мать, которая в отчаянии от моего обычного ничегонееденья, всегда говорила:

— Твой желудок дамочка, и самая капризная из всех.

А осенью у меня будет в кармане аттестат машиниста.

Я заплатил за свой обед двадцать копеек, и мой товарищ говорит мне:

— Григорьев! Я его, зуду, хорошо знаю, я тоже начал с ним ездить, — ему всех новичков дают, потому что другие, вот эти все, такого кочегара, как вы, в шею бы погнали с паровоза, а он берет, — он теперь несколько дней, пока вы не приучитесь, и обедать не будет ходить. А вы ему бутылочку водки купите и отнесите: он это любит, помягче станет с вами.

— Так, может быть, и обед ему снести?

— Ну, так худо ли было б!

Нашлись и судки: щи, жаркое, огурец, хлеба ворох, бутылка водки.

— Ну, уж валяйте ему и пива, — пусть старичина повеселится. Вместе понесем.

— Дядя, Григорий Иванович! — кричал еще издали мой товарищ, — мы к вам с поклоном и повинной.

— Ну, какие там еще... Ничего не надо!

И Григорьев, как те игрушечные медведи, что заводят и они возьмется и ворчат, завозился в своем углу, вытаскивая грязный платок с провизией.

Мой товарищ, очевидно, успевший изучить бывшее начальство, сломил, однако, упрямство Григорьева и немного погодя, энергично хрустя зубами, он уже уничтожал все принесенное нами.

Он сидел на корточках, открывая, как пасть, свой широкий рот, и говорил в промежутках, обращаясь исключительно к своему бывшему помощнику:

— Все это лишнее, — он тыкал на борщ, жаркое, — ну, вот это, — он указал на водку, — пожалуй, что и полезное — когда за двух приходится работать, — где же силы взять, — она вот и помогает...

И он брал бутылку и опять осторожно наливал в свою с отбитым доньшком рюмку.

— Вот это, — он показал на пиво, — тоже по-настоящему дрянь: это немцам, а наш брат...

— Водка, конечно, тверже, — соглашался мой товарищ.

— Ну, так как же! — пренебрежительно говорил, кивая головой и прожевывая новый кусок, Григорьев.

Так говорил он, пока все полезное и бесполезное было уничтожено. Завидев уже бегущего составителя, Григорьев, поднимаясь, бросил, ни к кому не обращаясь:

— Ну, теперь и терпеть можно!

И мы опять принялись за работу и работали до заката.

Тогда нам снова дали передышку на полчаса.

Григорьев полез в свой сундучок, вынул оттуда грязный платок с провизией, развернув его, достал колбасу и хлеб. Молча, отрезав кусок колбасы и хлеба, он передал их мне,

и я, уже опять голодный, принялся за них с большим удовольствием.

— Водки хотите?

Я отказался. В бутылке ее уже оставалось немного, и Григорьев был доволен, очевидно, моим отказом, хотя и ответил:

— В нашем деле без водки не проживешь.

После этого мы молча ели, каждый в своем углу: Григорьев около рычага, я около тормоза — отделение кочегара.

От этого тормоза ломило руки, и на ладонях были уже большие водяные, красные по краям мозоли.

Но в общем я чувствовал себя прекрасно. Худо ли, хорошо ли я выполнял свои обязанности, но старался я на совесть и устал так, как, кажется, еще никогда не уставал. И в то же время я чувствовал себя таким свежим. И все кругом гармонировало с моим настроением.

День стихал неподвижный и ясный. Откуда-то из города доносился замиравший, словно утомленный шум.

Солнце опускалось за горизонт, плавя его в золото, сквозь которое светило там где-то далеко зеленовато-бирюзовое нежное небо, несся со степи запах свежего сена, слышалась песня возвращающихся с работы косцов.

Хохлацкая песня — задумчивая, нежная, так много говорящая, так трогающая самые сокровенные уголки сердца.

Казалось, паровоз и тот проникся настроением, стих и только тихо, жалобно посвистывал.

Бедняга! Он был уже старый, очень старый ветеран, сданный после всех долгих походов на станционные маневры. Живого места, как говорится, не было на нем: хлябали подшипники, стучали цилиндры, золотниковая коробка сработалась вконец, а сальники, масленки парили, как не парят взятые вместе сорок паровозов линейных. И мы всегда вследствие этого носились в облаках пара, и в такт главному дыханию паровоза вторили несколько второстепенных из сальников, цилиндров, коробок.

А что делалось, когда приходилось тащить тяжелый состав — вагонов сорок-пятьдесят! Тогда со всех концов нашего паровоза вылетало столько пара, что казалось, что он унесет туда, вверх, и нас и наш паровоз Д-34.

Мы поели и ждем составителя.

Григорьев, сидя, махнул пальцем меня и говорит ласково, насколько это возможно для него, конечно:

— Подите сюда, молодой человек!

Я подхожу.

— Вы что ж, из лóкиев, что ли? У господ служите? — поясняет он, замечая мое недоумение.

Еще вчера я был уверен, что произведу страшный эффект, когда сообщу своему машинисту, что я ни более ни менее как студент института инженеров путей сообщения.

Теперь я об этом больше не думаю и возможно скромнее стараюсь объяснить Григорьеву, кто я. Григорьев — машинист из слесарей, ни в каких школах не бывавший и поэтому все ранги ученические для него китайская грамота: ученик приходской школы, студент — все тот же ученик, и берет он вопрос по существу.

— Чему же в четыре-пять месяцев научиться? Если вы хотите научиться, вам надо идти в мастерские сперва. Года через четыре вы будете слесарем и даже механиком — тогда поступайте в кочегары, года три поездите, получите испытанного кочегара. Будете тогда человеком. А теперь что ж?! Ну, дадут вам паровоз, — сломается что-нибудь в дороге: так и будете стоять?

Я опять объясняю, что это только практика для меня, что я не буду ездить машинистом, что мне нужен только аттестат машиниста. Еще меньше Григорьев понимает.

— На что же такой аттестат?

Но уже бежит составитель, Григорьев берется за регулятор и продолжает, рассуждая сам с собой, пожимать плечами.

II

Уже месяц прошел с начала моей практики.

Я уже выгляжу настоящим кочегаром: такой же черный, как весь окружающий нас уголь. По-прежнему, как ни брошу в топку, — все могила, то есть бугор по середине, но, когда подходят к нам другие машинисты и весело спрашивают, кивая на меня:

— Ну, как он?

Григорьев снисходительно отвечает:

— Ничего — пойдет дело!

Со всеми этими машинистами, кочегарами, слесарями, кузнецами я — приятель, и мы трясем руки друг другу так, что надо еще удивляться, как еще не оторвана моя рука и не развалены пальцы.

Все на станции знают меня, студента-практиканта.

— Что, барин, — говорит добродушно стрелочник, около которого мы стоим в ожидании составителя, — видно, не на белой земле хлеб растет?

— Да, тяжелый труд!

Чтоб поспеть к восьми часам утра на смену и иметь хотя тридцать футов пара, надо начать растапливать паровоз с четырех часов утра. Можно, конечно, и скорей растопить, если не жалеть дров на растопку, но за экономию дров самая большая премия, и следовательно прямой убыток и Григорьеву и мне.

Когда разгорятся дрова, я бросаю кардиф в брикетах, — род кирпичей, — пока не набросаю его в уровень с топкой. Кардиф дает жар, а пламя дает нью-кестль, черный, блестящий, мелкий уголь, который разбрасывается тонким слоем по кардифу.

Ровно в восемь часов утра на другой день мы кончаем дежурство. Но это еще далеко не конец. Мы отправляемся на угольную станцию взять запас угля на будущие сутки, затем едем за дровами и часам к двенадцати наконец въезжаем в паровозное здание.

И тут еще до конца далеко. Надо потушить паровоз, переменить набивки в сальниках и вычистить машину, пока она еще горяча. Часам к двум все кончается. Надо еще обмыться, и мы идем в ванную, моемся, чистимся и, все-таки черные и грязные, идем обедать.

Часа в три я попадаю на квартиру: попить чаю и спать, потому в три часа ночи уже опять вставать на работу. И вот из сорока восьми — двенадцать часов отдыха. По шесть часов в сутки.

Все остальное время в работе и в какой работе!

— Тормоз! Тормоз!

— Угля!

— Поддувало!

О, это поддувало! С этим проклятым резцом я лежу под паровозом, держа его за один конец и другим на весу пробиваю шлак там, в слившейся под одно с колосниками огненной массе.

Жар, испепел захватывают дыхание, от напряжения стучит в висках, немеют руки. Ох, как часто, бросив в изнеможении резец, я лежал трупом там, под паровозом, и думал: пусть он меня раздавит, разрежет, но я не двинусь больше с места.

Но уже кричит Григорьев откуда-то сверху:

— Ну, что ж вы там уснули, что ли?

И опять убежавшие куда-то силы возвращаются, и снова слышатся глухие удары из моего склепа.

— Ну, скорей назад, — кричит Григорьев.

Вылетает сперва из-под паровоза резец, а затем между двумя колесами пролезаю и я в то мгновение, когда колеса уже трогаются. Меньше даже мгновения, но это все-таки

достаточно, чтобы я успел выпрыгнуть. А не успею, что-нибудь вдруг случится — судорога, зацепится нога?

Григорьев не увидит. Он на той стороне и точно забыл о моем существовании. Я подбираю резец и уже на ходу вскакиваю на подножку паровоза. Вскочить, выскочить при скорости в тридцать верст — все это уже проделываю с искусством обезьяны.

Я сказал: Григорьев не увидит.

Но он всегда и все видит.

Раз еще в начале как-то я соскочил неловко с двигавшегося уже паровоза и упал на откос бугра земли, приготовленного для полотна дороги. Откос был слишком крутой, чтобы удержаться на нем, и я стал медленно сползать вниз к полотну, прямо под проходивший ряд вагонов, которые тащил наш паровоз № 34.

Это были ужасные мгновения. Сверхъестественной волей стараясь удержаться и в то же время все сползая, я все смотрел туда вниз, на бегущие мимо меня колеса вагонов, угадывая, которое из них разрежет меня.

Так бы и случилось, потому что я в конце концов упал прямо под колеса... остановившегося вдруг поезда. То Григорьев остановил.

По моему ли прыжку, по мелькнувшей между стойками фигуре, уже лежавшей на земле, по верхнему ли просто чутью, — от Григорьева я так и не добился, — но Григорьев мгновенно закрыл регулятор, дал контр-пар и целый ряд тревожных свистков. Ни свистков, ни стука щелкавшихся друг о друга вагонов, стука, похожего на залпы из пушек, — я не слышал. Все, кроме зрения и сознания неизбежного конца, было парализовано во мне.

Еще большую находчивость и быстроту соображения обнаружил с виду неповоротливый Григорьев в другой раз.

Как известно, паровоз соединен с тендером как бы на шарнирах для того, чтобы дать возможность самостоятельно двигаться в известном пределе как паровозу, так и тендеру.

Это нужно на таких крутых кривых, как стрелки, где соединенные неподвижно паровоз и тендер не смогли бы проходить.

Соединение это прикрывает выпуклая чугунная крышка, неподвижно прикрепленная к тендеру и свободно двигающаяся по площадке паровоза. Когда паровоз идет по прямой, тогда между стойкой паровоза и этой крышкой расстояние так велико, что свободно помещается нога. При проходе же по стрелкам расстояние это уменьшается и доходит почти до нуля.

Я зазевался и заметил, что нога моя попала между крышкой и стойкой тогда, когда выдернуть ее оттуда уже больше не мог.

Все это произошло очень быстро, а дальнейшее происходило с еще большей, непередаваемой быстротой. Я тихо сказал:

— Мне захватило ногу.

Если бы Григорьев повернулся, чтобы сперва посмотреть, как именно, чем захватило, то время уже было бы упущено, и я остался бы без ступни. Но Григорьев в одно мгновение, не закрывая регулятора, дал контр-пар.

Сила для этого нужна невероятная. Малосильного рычаг так бросил бы вперед, что или убил, или изувечил бы, и был бы достигнут как раз обратный результат — паровоз в том же направлении, но только с гораздо большей силой помчался бы вперед.

Я отделался разрезанным сапогом, ссадиной и болью, а главное, испугом.

— Будете в другой раз ворон ловить? — ворчал Григорьев, устремляя опять паровоз вперед, — только время с вами теряешь да паровоз портишь. Вот хорошо, что старый все равно паровоз, никуда не годится. А если б новый был, да стал бы я так рычаг перебрасывать: да пропадайте вы с вашей ногой.

И так как мы в это время подходили к вагонам, он резко крикнул:

— Тормоз!

Я крутил изо всех сил тормоз и смотрел на Григорьева. В этой маленькой сгорбленной фигуре с красным большим носом обнаруживалась вдруг такая сила, такая красота, о которой подумать нельзя было. А потом, кончив составлять поезд, в ожидании другого, он опять сидел на своей перекладине маленький, сгорбленный, угрюмый, сосредоточенно снимая ногтем со своего красного носа лупившую кожу и угрюмо говоря:

— Лупится, проклятый, хоть ты что...

III

Так шло наше время. Весь мир, все интересы его исчезли, скрылись где-то за горизонтом, и, казалось, на свете только и были: Григорьев, я да паровоз наш. От поры до времени я бегал за водкой Григорьеву, чтобы он поменьше ругался. И всегда он ругался, и в то же время я всегда чувствовал какую-то ласку его, постоянную, особенную по существу деликатность, которой он точно сам стыдился.

Ночью, например, когда я, устав до последней степени, держась за тормоз, спал стоя, он вдруг раздраженно крикнет:

— Ну, что носом тычете: все равно никакой пользы нет от вас — ступайте спать.

Вот блаженство! Я взбираюсь на тендер и, выискивая там подалеже от топки местечко, чтобы Григорьев как-нибудь и меня вместе с углем не проводил в топку, укладываюсь в мягкий нью-кестль, кладу под голову кирпич кардифа, одно мгновение ощущаю свежий аромат ночи, еще вижу над собой синее темное небо, далекие, яркие, как капли росы, звезды и уже сплю мертвым сном.

Никогда потом, на самых мягких сомье¹, я уже не спал так сладко, так крепко.

IV

— Сегодня мое рождение, — сказал как-то в июне Григорьев, когда наступила обеденная пора, — в харчевню мы не пойдем, а будем свой пирог есть и другое что.

А в это время, испуганно оглядываясь на нас, уже подходила с судком худенькая, лет пятнадцати девочка.

Она была в светлом платочке, от чего маленькое загорелое лицо ее казалось еще темнее, рельефнее выделялись только ее большие, горящие как уголь глаза.

Наблюдая, как она подходила, Григорьев, сегодня благодушный, причесанный, ворчал:

— Вишь, воструха, а оробела здесь, — и, усмехнувшись, добавил: — Моя дочка... Мать только вот померла. Надо бы жениться, да вот не хочет... Да и я не хочу... Ну их...

Он повернулся к дочери и крикнул:

— Вот, если бы дома Маруся да такая тихоня — ох, хорошо бы было!..

Маруся уже подавала отцу судки, а затем и сама быстро взобралась на паровоз, одним взглядом осмотрев сразу все и меня в том числе.

— Ну, знакомьтесь, да будем обедать все трое, чем бог послал.

Я поклонился, назвал свою фамилию, пожал ее руку.

— Ишь, каким кобельком, — усмехнулся Григорьев.

Когда за едой я, обращаясь к ней, назвал ее по отчеству, Григорьев угрюмо заметил:

— Какая там еще «Марья Григорьевна», да еще «вы», — вбиваете ей в голову, и так огонь девка, сладу нет, — «Маруська», «ты», да за вихры, чтоб понимала!..

¹ Волосяной тюфяк (от франц. le sommier).

Маруська только носом потянула да бросила на меня вызывающий веселый взгляд.

Впечатление чего-то еще находящегося в работе, и закончены пока только эти чудные, живые, все говорящие глаза.

Эти глаза остались в памяти. Мы уехали на пристань делать там маневры. Пред нами было море, выпуклое, полное напряжения, все в блестках, и чувствовались в нем глаза Маруси.

Ночь пришла, шум моря волновал и опять глаза Маруси, овладевшие вдруг моей душой.

В этот день я сделал подарок Григорьеву.

Как-то раньше, во время отдыха, сидя, по обыкновению на перилах, Григорьев, поманив меня пальцем, спросил:

— Вы читали Лермонтова? Помните?

И он начал декламировать: «Отец, отец, оставь угрозы...» Декламировал он так быстро, так не звучно, что, если не знать, что именно он говорит, — понять ничего нельзя было бы.

Оборвавшись на какой-то строчке, он с горечью проговорил:

— Девчонка, баловница негодная, выдрала с полкнижки и вот не знаю, где бы достать, чтобы переписать выдранное.

Я купил тогда же сочинения Лермонтова, отдал их переплести в красивый переплет с вытисненным именем, отчеством и фамилией Григорьева и все не решался передать книгу Григорьеву.

День его рождения был очень удобный случай.

После обеда я отпросился на минуту домой и принес Лермонтова.

Григорьев сидел, что-то напевая. Когда я подал ему книгу, он прочел название и, радостно восторженно, сказал:

— Ну, вот так спасибо, такое спасибо, — ночи спать не буду, пока все, что вырвано, не перепису.

— Списывать не надо, вот, прочтите, чья это книжка.

Григорьев, поняв, в чем дело, растрогался до слез. Вытирая их жестким рукавом, он говорил:

— Никто мне за всю мою жизнь такого баловства не делал... И как раз в такой день, точно знали вы...

И, успокоившись, бережно завернув книгу, он, усевшись опять на перила, заговорил:

— Эх, милый, милый, не сладка вся жизнь моя вышла. Я ведь так и вырос без отца и матери — кто они? Кто скажет? Вот так, сколько помню, и жил на улице и дни

и ночи... Сколько раз замерзал совсем... А сколько били и как били... Был и сапожником, и лавочником, и шапочником, и кузнецом... Тут вышло вроде замирения у меня, — женился я... Был уж кочегаром... Вот так же все не дома да не дома. Женщина молодая, да и во мне-то какая сладость: снюхалась с одним тут... так, прощелыга. Приехал раз с поезда, никого, и дверь не заперта, — иди, кто хочешь, бери, что хочешь... И остался я сразу один опять: тут я и стал вот этой самой бутылочкой ушибаться... А года через два вдруг объявилась: еле живая приволоклась вот с этой самой девочкой. Через месяц и богу душу отдала... Так убивалась перед смертью... да уж и я был медведем: хоть и опаскуженная, хоть и не за мной убивается, а из сердца не вырвешь, да и чем дите-то несчастное виновато, что должно оно без матери и отца остаться... Что мне врать? Была бы воля, — лег бы за все в гроб и сейчас даже...

А через несколько дней Григорьев, счастливый, как ребенок, принес мне грязную с подшитой тетрадью книгу и сказал:

— Переписал-таки! Эта книга будет мне на будни а вашу по праздникам стану читать.

V

Однажды, когда, окончив дежурство, мы подъехали, по обыкновению, к депо, глухой начальник сказал Григорьеву:

— Вы с вашим кочегаром назначаетесь в поезда: конец маневрам. Сегодня отдохайте, а завтра славай свой и получайте новый паровоз.

На другие сутки, в половине двенадцатого ночи, мы уже выходили со станции с нашим первым поездом.

Я волновался, Григорьев был торжественен.

Моросил дождик, и Григорьев спросил:

— Сухого песку не забыли насыпать в песочницу?

Я обмер, вспомнив только теперь о злополучном песке, но ответил:

— Насыпал!

Сейчас же за станцией пачинался подъем, колеса паровоза забуксовали на мокрых рельсах, и Григорьев озабоченно крикнул мне из своего угла:

— Песок!

Я задергал ручку песочницы, и пустая песочница звонко затрещала.

— Игрушки, что ли, — крикнул Григорьев, как давно не кричал. — знаете сами, что нет песку. Сейчас съедем

назад и перебьем весь поезд, — ступайте перед паровозом и посыпайте рельсы балластным песком.

И вот я иду перед паровозом, беру с пути песок, сыплю его на рельсы, и чудовище-паровоз со всем своим длинным хвостом, злясь и пыхтя, готовое каждую секунду, споткнись только я, раздавить меня — и все-таки покорное, укрощенное, тихо тянется за моей рукой. Точно я сам, гигант Самсон, тащу весь этот поезд.

— Ну, будет, садитесь!

Паровоз прибавляет ходу, я вскакиваю, и мы едем.

Темная ночь охватывает нас со всех сторон, брызги дождя летят в лицо, ветер рвет шапку, раздувает блузу, мы оба, высунувшись, во все глаза смотрим вперед в непроглядную темь.

Смотрим, чтобы вовремя увидеть неисправность пути, лежащий на рельсах какой-нибудь предмет, переходящую через путь лошадь, человека.

И вдруг из-за крутого закругления перед мостом фонари паровоза освещают дикую, полную ужаса картину: табун спутанных лошадей, бешено скачущих по полотну.

И в одно мгновение все остальное: Григорьев открывает полный регулятор, и мы на полном ходу врезаемся в эту живую массу, — впечатление, точно поплыли вдруг мы, с моста летят лошади, треск, и уже опять мы несемся, охваченные снова только безмолвием и мраком ночи.

Григорьев крестится, я все еще держусь двумя руками за стойку, точно это помогло бы чему-нибудь, если бы и мы слетели туда вниз вместе с лошадьми.

— Счастье, что еще с разбега, да регулятор успел открыть... А вот, если бы шпалы лежали на пути, — тут что тише проскочишь, то меньше беды. А лошади там, коровы, люди — уж если нельзя остановить, что резче, то лучше... Беда, что было бы: десять сажен мост, а поезд воинский.

Приехав на станцию, мы заявили, и нас осмотрели. Колеса паровоза были в крови, в волосах от грив и хвостов, оторванная голова лошади так и осталась и страшно торчала из-за колес паровоза.

— Вот так крещение, — повторял, осматривая, Григорьев.

Я ходил, смотрел и думал: мыть-то, мыть сколько придется, — все три часа отдыха в обратном депо уйдут на это.

И обычным путем пошла наша линейная работа.

Приедешь на обратное депо, и через сутки дежурство. То есть время отдыха стоять под парами, всегда готовые делать маневры.

Движение усиленное, и маневров много. Приедешь домой, — двенадцать часов отдыха — и назад. Когда движение усилилось, мы отдыхали шесть часов и не в очередь стояли на парах.

Однажды, когда мы пришли с поездом на оборотное депо, оказалось, что очередной паровоз испортился, и нас без передышки погнали дальше...

Мы прошли еще сто пятьдесят верст. Там нас заставили делать маневры и погнали назад в наше оборотное депо. А оттуда, без всякого отдыха, опять мы поехали с новым поездом домой.

Шли третьи сутки работы без остановки, и у меня было впечатление, что я давно уже вылез из своего тела, — я его совершенно не чувствовал, кроме глаз, глаза оставались телесными, но ничего больше не видели, — что-то их выпячивало изнутри, что-то тяжелое налезало сверху, такое тяжелое, что сил уже не было удерживать его.

Кончилось тем, что и Григорьев и я, стоя, заснули.

Так в сонном виде мы проскочили две станции. Нам кричали, бросали камнями, перебили все стекла в будке, но мы ничего не слышали.

На третьей станции, наконец, смельчак составитель вскочил на полном ходу на паровоз и привел к жизни две застывшие, как статуи, фигуры.

Мы возвратились на станцию, где, признав нас невменяемыми, ссадили нас, отправив поезд с экстренно вызванными машинистом и кочегаром.

Чтобы проехать две станции, надо было и воду качать и подбрасывать от поры до времени уголь. Очевидно, значит, Григорьев иногда просыпался, подбрасывал уголь, качал воду.

Что до меня, то держась двумя руками за стойку, я стоял и спал, как убитый.

Все дело кончилось тем, что Григорьева, снисходя к усталости его, оштрафовали на двадцать пять рублей, а меня на десять.

VI

Конец практики.

Я в вагоне, еду обратно в свой институт, опять одетый в форму, умытый, причесанный, но еще с черным цветом лица. Микроскопические крупинки угля забились в кожу, проникли в поры, и, как говорят опытные люди, мой обычный цвет лица возвратится ко мне не раньше полугода.

Аттестат, о котором я мечтал вначале, я не взял, но я вез с собой более ценное: я узнал, что такое труд, и я вез масштаб этого труда. Мерило на всю дальнейшую жизнь.

И когда в жизни находили иногда, что я могу напряженно работать, я думал: чего стоит всякая другая работа в сравнении с каторжной работой тех неведомых тружеников?

Чего стоит война с ее героями, усилиями в течение полугода, года в сравнении с этой постоянной войной, постоянной опасностью, напряженнейшей работой в мире?

Пятнадцать лет такой работы, и машина человеческого организма вся разбита: от постоянного стоянья и тряски ноги отказываются служить; слепнут глаза от постоянного контраста белого огня топки и темной ночи; ревматизм развивается от резкого перехода от жара котла к стуже снаружи. И никуда не годный работник выбрасывается без пенсии, без всяких средств, с отобранным в штраф последним жалованьем, выбрасывается на улицу, на церковную паперть.

И, завидуя, вспоминает такой выброшенный товарищей: убитых, изувеченных, с отрезанными руками, ногами. Их семьям или им самим после торга и всяких угроз дают тысячу, другую. Вспоминает и горько плачется на свою бесталанную долю.

Может быть, когда-нибудь терпеливый статистик подсчитает, какой процент убитых и раненых на железных дорогах приходится на всех этих машинистов, кочегаров, составителей, сцепщиков, кондукторов.

О, наверно, ни одна война не даст такого процента!

Сколько при мне во время летней практики было этих случаев. Составителя, который вскочил к нам тогда на полном ходу, — впоследствии перерезало паровозом. При сцепке вагонов он упал между рельсами, а состав шел задним ходом. Пока катились вагоны с высокими осями, он свободно мог лежать, но когда надвинулся паровоз, с своей низкой сидящей топкой, когда выяснилась ему перспектива быть раздавленным поддувалом, он сделал отчаянное усилие проскочить между последними перед топкой двумя колесами.

Его разрезало пополам, и я видел этот труп с застывшими, широко раскрытыми от ужаса глазами.

Другому составителю, когда он проскакивал между буферами, захватило голову. Выскочив и кружась, он несколько раз быстро проговорил:

— Ничего, ничего, ничего...

И упал мертвый.

Кочегар как-то упал, и ему отрезало ногу.

Машинист и кочегар погибли, налетев на разобранный мост. Кочегара убило на месте, а машинисту, тому, что так весело врал в харчевне, обварило паром лицо и руки.

Когда он слезал с паровоза, держась за стойку, кожа с руки, как перчатка, осталась на стойке.

Пока везли его в больницу, пока помощь подали... После трех дней сплошного мученья он умер, оставив большую семью.

Другой машинист... Но что перечислять? Чуть не каждый день читаем мы об этом в газетах.

Наше прощанье с Григорьевым было очень трогательное. Провожать меня собрались все свободные кочегары и машинисты. Я угостил их, мы выпили, расцеловались, и я уехал.

— Когда будете большим человеком, не забывайте нас, маленьких людей.

— И бог вас не забудет!

— Не забывайте же, что хлеб не на белой земле растет!

— И будьте всегда и прежде всего человеком!

Так провожали меня и кричали, когда отходил поезд, и изо всех окон смотрели пассажиры с недоумевающими лицами: о чем кричит вся эта пьяная компания черных людей, место которых где угодно, но не на глазах чистой публики?

VII

Прошло несколько лет. Я был назначен строителем части строившейся линии. Было утро. По обыкновению, толпа народа находилась в конторе, и я, весь поглощенный работой, спешил удовлетворить нужды всех этих людей.

— Ну, здравствуйте, — раздался вдруг грубый голос надо мной, и черная мозолистая рука бесцеремонно протянулась ко мне.

Я уже успел со дней моей практики отвыкнуть и не жал больше таких рук.

Этот грубый перерыв моей работы, эта нахально протянутая рука покоробили меня, и я поднял раздраженные глаза.

Передо мной стоял сутуловатый, угрюмый, грязный господин с большим красным носом.

Спокойным, слегка пренебрежительным голосом, он спросил:

— Не узнали?

Узнал, конечно, Григорьев.

Такой же, хотя постарел и горечь в лице.

— Как поживаете?

— Да вот нос... все лупится.

— Как вы попали сюда? Как меня разыскали?

— Услыхал и приехал. Разыщешь, когда есть нечего: выгнали меня из кочегаров, — больше не надо, — ученые пошли.

— Найдем работу.

И я устроил Григорьева машинистом при водокачке.

Он поселился в чистом маленьком домике. С ним поселилась его дочь, красавица Маруся, с черными, как бриллианты, глазами. Ее муж поселился, молодой красивый кузнец.

Проезжая, я иногда видел ее на пороге с ребенком на руках и вспоминал празднованье рожденья. Тогда я мечтал: может быть, в жизни я встречу и женюсь на ней. Потом я смеялся, вспоминая свои юношеские мечты.

А теперь я жалел и завидовал счастливцу кузнецу.

VIII

Григорьев вот какую услугу оказал мне.

В один прекрасный день все кочегары и машинисты не вышли на работу, заявив, что против всех законов их заставляют работать вдвое.

Я телеграфировал своему начальству и получил распоряжение немедленно расчитать всех.

Не берусь судить, чем бы это кончилось, если б не Григорьев.

Во главе всех Григорьев говорил мне:

— Мы не спорить пришли с вами, и нового вам говорить нам нечего: помните тогда на паровозе, когда спали мы оба? И здесь люди до одурения дошли, — лошадь и та отдыхает. Вам говорить мне не надо: мы ведь люди, и вы знаете это.

И Маруся стояла тут же с другими, с ребенком на руках, ее глаза смотрели в мои, — спокойные, полные доверия, полные сознания своей правоты, не допускающие и мысли, чтобы не признавал этого и я.

А вызванные войска уже шли, и кто знает? Может быть, завтра...

— Господи, я не хозяин, что я могу сделать?

И опять говорит Григорьев:

— А вы поезжайте к своему начальству и расскажите им все, что вы знаете.

— Хорошо, я поеду.

И, обращаясь к толпе, Григорьев заговорил:

— Ну, я же говорил вам. Дело теперь в шляпе... Человек на своей шкуре испытал. А покамест ездит, станем на работу и будем ждать его приезда.

На том и порешили, и я уехал.

Я мало надеялся на успех, и большого труда стоило снять вопрос с лочвы потачки и перенести его на почву денежной выгоды: от переутомления происходит столько несчастий, столько материальных потерь, что выгоднее, увеличив штат, уменьшить работу дня.

Мне помог начальник тракциии, подтвердив цифрами мою мысль.

И убедили начальство.

— Но как там в Петербурге, в Управлении на это посмотрят?

Начальник тракциии угрюмо заметил:

— И там люди, и их же карманы оберегаем.

— Ну, что будет.

Я дал телеграмму своему помощнику и, счастливый, возвратился назад. О, какая толпа меня встретила! Какую речь сказали!

И мы жали руки друг другу, так жали, как со времени моего отъезда тогда с практики ни разу мне не жали.

А довольный Григорьев твердил, обращаясь то к тому, то к другому в толпе:

— Ну, так как же? Я ж говорил! Ведь это не то что... В два слова дело понять можст: не большая мудрость...

НА НОЧЛЕГЕ

Короткий зимний день подходил к концу. Потянулись темные тени, вырос точно оголенный лес, белым снегом занесенные поля стали еще сиротливее, еще несуетнее.

Я в последний раз пригнулся к трубе теодолита, но уже ничего не было видно. Рабочие лениво ждали обычного приказания.

— Баста!

Складывают геодезические инструменты, топоры, побежали за санями.

Я и мой помощник совещаемся, где ночевать нам. Решаем почевать в только что пройденном поселке.

В Ярославской губернии почти в каждой деревне вы встретите несколько богатых домов, владельцы которых — разного рода подрядчики (маляры, столяры) — живут са-

ми с семьей в Питере, а дома оставляют па какую-нибудь старую родственницу.

Дома хорошие, двухэтажные, родственница живет где-нибудь в подвале, в конурке и на совесть стережет хозяйское добро. Добро оригинальное и разностороннее: какой-нибудь старинный подсвечник или редкие бронзовые часы рядом с самодельным диваном; какая-нибудь ненужная здесь из богатого дома безделушка и громадная, половину комнаты занимающая печь. Все это достаточно некрасиво, безвкусно, ярко и неуютно. И все напоказ.

На ночевку впускают охотно, не хотят рядиться с вечера, а утром требуют столько, сколько стеснялись бы попросить даже в столичной гостинице.

Но в выбранном нами поселке ни одного такого дома не оказалось. Мы за день достаточно продрогли и потому, не теряя времени, остановились перед первой, ничем не лучше не хуже других старенькой избой.

Мы вошли в нее. Посреди избы стоял прядильный станок, — он работал, шумел, и во все стороны разлеталась от него пыль. Крупные частицы ее тут же опускались на пол, на стол и скамья, на платье, а мелкая так и стояла в воздухе, погружая избу, несмотря на горевшую лампочку, в душливый полумрак.

Казалось сперва, что в избе никого не было.

Но на вопрос: «А что, можно у вас переочевать?» — поднялись сразу несколько фигур, и маленький корявый крестьянин спросил, бодрясь:

— А вы чьи?

— Мы изыскания делаем: лишню наводим.

Этого было достаточно.

Крестьянин, успокоенный, скрывая даже удовольствие, ответил с напускным равнодушием:

— Что ж?.. Милости просим... Самовара только нет. Окромя писаря и во всей деревне нет.

— А попросить у писаря?

Крестьянин почесал затылок, подумал, опять почесал и решительно проговорил:

— Не пойду!

— Чего не пойдешь? — спросила спокойно, в упор пожилая изможденная высокая женщина, оставляя работу у станка.

И, помолчав немного, она бросила мужу укоризненное восклицание и начала торопливо натягивать на себя тулуп.

В дверях, накидывая уже платок, она бросила нам: — Будет самовар! — и исчезла.

Мы разделись, внесли наши вещи, достали свечи, хлеб, закуски и, присев за стол, принялись за свой обед.

За день ходьбы аппетит нагуливается хороший, и, хотя и мерзлос, мы едим, усердно жуем, глотаем и в то же время знакомимся с окружающим.

Корявый крестьянин — глава — оставался и при более ярком освещении все таким же корявым.

Всклокоченный и напряженный, он напоминал собой загнанного петуха, совершенно помятого, но готового, несмотря на это, отстаивать и дальше свою позицию.

Эта взвинченность — явление заурядное в теперешней обстановке деревни: нужда лезет во все щели, и вконец обесцененной работой не заткнуть этих щелей.

Старшая дочь села за станок. Такое же испитое, зелено-желтое лицо.

Остальные обитатели один другого меньше, до пятилетнего, и у всех тот же болезненный, изнуренный вид.

Впечатление какого-то походного, где-нибудь на войне, лазарета выздоравливающих тифозных.

Еще бы: такой ужасный воздух!

— Зачем вы этот станок в избе держите?

— А куда же его?

— В пристрой.

— Пристрой — построй, -- обидчиво бросил хозяин и завозился с таким решительным видом над куском кожи, что я на время оставил его в покое.

Он заговорил сам нехотя и раздраженно:

— В этой не знаю, как усидеть, — того и гляди свалить велят...

— Кто?

— Кто?.. Мир. Вишь, не по плану изба, а что такое не по плану? Только и всего, что место приглянулось, у кого мощна потуже... Тебе ни строить, ни чинить не дают: как развалится — уходи... — Хозяин нервно хватается руками и опять складывает их. — Да... вот так и уйду: ночью и выхожу на почику, так и тянем... Да, вот так и ушел тебе: небось.

Хозяин жаловался на мир, порядки, а я слушал.

Кто знаком с деревней, тот знаком с такого рода жалобами. И нельзя не признать основательности таких жалоб, конечно.

Я сижу и вспоминаю.

Человек двадцать лет платил выкупные на надел: умер — семья его нищая. С вдовы мир торопится сорвать все, что может, и пускает по миру ее и детей. Когда дети

вырастут (только мальчики), они сядут опять на землю, но до тех пор они могут и умереть с голоду.

Страховку фабричного получит семья; состояние в остальных сословиях — частная собственность; только крестьяне лишены ее. Неравенство в сравнении с другими, говорящее громко за себя. Игнорировать его — грех, и тяжелый.

Это пример из имущественных отношений. Я не говорю уже о круговой поруке. Не лучше живется в деревне и в других отношениях. Мальчик, пастух, научился грамоте, сделался миссионером и сдал наконец экзамен на священника.

Кто знает деревню, знает какую страшную волю нужно, чтобы в глухой, без школы, деревушке проделать все это.

Труд Ломоносова бледнеет перед этим трудом.

Я знал этого человека. Сколько стадной ненависти встретил он на своем пути.

— А, ты умнее отцов хочешь быть?! Врешь, не будешь!

И добились своего: не пустили в попы. Шестьсот рублей недоимки насчитали на его семью.

— Уплатишь, — иди.

Уплатить было нечем, и теперь этот выдержавший на попа пьет горькую, валяется по кабакам, а деревенская мораль в лице своих представителей показывает на негодного пьяницу:

— Хотел умнее нас быть!

Станок стучит однообразно и мерно, летит пыль, девушка раскорякой сидит, работает ногами, высоко поднимая их и перегибаясь то в ту, то в другую сторону, то и дело бросая челнок. Сколько быстрых движений и каких разнообразных и неудобных: одна нога так, другая иначе, перегнулась в одну сторону, что-то делает рукой, а другой, неудобно занесенной, ловит челнок.

И все это быстро, быстро.

— И дети работают?

— Как же можно детям? Только эти трое.

Хозяин показал на трех девушек.

— Этой сколько? — спросил я, указывая на младшую.

— Тринадцатый, — бойко ответила белокурая с рыбьим некрасивым лицом девочка.

— Так что ж, — огрызнулся хозяин, — в невесты глядит.

Стук утомлял, пыль раздражала.

— А когда вы кончаете работу?

— Никогда и не кончаем.

— Как! День и ночь?

— Ведь дежурят: их с матерью четыре смелы.

Дверь отворилась, клубы морозного пара задвигались по избе, а за ними показалась и хозяйка с самоваром под мышкой.

— Дали?! — усмехнулся вдруг повеселевший хозяин.

— Ну, вот и чайку напьемся, — сказал я.

Хозяйка принялась ставить самовар, а хозяин вышел во двор.

— Для кого вы ткете?

— На фабрику, купцу, — ответила хозяйка.

— Много зарабатываете?

Хозяйка не сразу ответила.

— Полтора рубля в неделю.

— Это сколько же в день? В воскресенье не работаете?

— В праздник девушки на себя работают.

— В сутки, значит, двадцать пять копеек, по копейке за час?

— Этак.

— На работника по шести копеек.

— А привезти да отвезти пряжу? Еще два дня с мужиком да с лошастью прикинь.

— И тяжелая работа?

— Нет ее тяжелее.

— А воздух какой? От него ведь недолго проживешь на белом свете.

— Вот в Абрамовском сам купец особый дом выстроил, — у всякого свой станок... Там хорошо... И челночок-самолет устроил: сам челночок перепрыгивает, а здесь видишь как — изломаться пять раз на минуту всем телом надо... И проворная работа: в три раза скорее против нашей.

— Что ж у себя не заведете такого самолета?

— Где завести? Десять рублей такой челнок стоит — где их взять?

— Десять рублей? А сколько лет уже работает самолет?

— Лет сорок работает.

— А вы давно работаете?

— Я-то?

У нее умное длинное белобрысое лицо. Она поднялась от самовара, спрятала руки под мышки и с удовольствием вспоминает.

— Тридцать второй год.

Она опять быстро наклоняется к самовару, и я снова вижу только ее костлявую, длинную спину в грязном сарафане.

Я начинаю подсчитывать.

Челнок-самолет в три раза быстрее: в неделю на три рубля больше... в месяц двенадцать рублей, в год сто сорок четыре. В тридцать лет четыре тысячи пятьсот рублей. В пятнадцать лет капитал удваивается — итого до девяти тысяч рублей сбережения.

Я совершенно ошеломлен и делюсь впечатлением с хозяйкой.

Она бросила совсем самовар, подсаживается ко мне и начинается проверка моих вычислений. Мы по нескольку раз возвращались назад, она впиалась в меня, и когда наконец снова получается девять тысяч сбережения, она замирает и так сидит недоумевающая, огорченная.

— У вас была бы такая пенсия, такое состояние...

Она напряженно думала и вдруг, встав, равнодушно сказала:

— Суета бескорыстная...

— Как вы сказали?

— Говорю: суета бескорыстная вся наша работа.

Она отошла к самовару и то рассеянно, то убежденно все повторяла:

— Суета бескорыстная.

Хорошее выражение.

А от станка все так же несется пыль, забиваясь плотнее в углы старой избы и в грохоте и стуке его, точно эхо, по слогам кто-то повторяет в душной смрадной избе:

— Суета, суета, суета.

С рассветом мы покинули избу в тот момент, когда за станок усаживалась новая заспанная очередная, и, уже за окнами, я все слышал еще знакомое:

— Суета, суета, суета...

И долго еще я не мог отделаться от мысли и об этом станке, сорок лет тому назад выдуманном, с его стоимостью в десять рублей, и об этой семье, пристегнутой еще к деревне и уже тяжело и грубо отрываемой от нее иной жизнью.

МОИ СКИТАНИЯ

I

Там, где сплошные необозримые леса без жилья укрыли землю и шумят в непогоду, как море в бурю; где рыщут в них волки, рыси, лисницы, барсуки — все питающиеся за счет все того же всеотдувающегося зайца; где царит неповоротливый с виду Мишка; там, где протекает Керженец,

где снились чудные сказки Псчерскому, — короче, в лесах и дебрях Костромской губернии я делал недавно изыска-ния.

Редкие деревушки, попадавшие на пути и ни на каких картах не значащиеся, — деревушки, сообщение с которыми поддерживается только по зимам, или каким-нибудь круж-ным на сотни верст водным путем, — были поистине в иде-альных условиях опрощения и для исследователя капиталь-ного вопроса наших дней: что больше развращает челове-чество, культура или некультура, — предоставляли бога-тый материал.

В одну из таких деревень я попал однажды под вечер, когда золотившаяся пыль вечернего солнца осыпала лес, и он светился на синем фоне неба, как прозрачный, а в воз-духе было тихо, и чирикала звонко какая-то птичка; ка-валькада человек тридцать, нас, изыскателей, появилась вдруг невидимо откуда на опушке леса перед маленькой деревушкой, лениво раскинувшейся между обгорелыми пня-ми с кое-как выпаханными между ними кулигами.

Наше появление не замедлило обратить на себя внима-ние обитателей. Первыми бежали ребятишки и девчонки, за ними более взрослые, вплоть до самых ветхих стариков. Таких стариков в городах не встретишь.

Вся толпа, сбившись у изгороди, смотрела на страшное, невиданное зрелище.

Было на что посмотреть!

Впереди сжали мы, — старшие, в наших американских, с двумя козырьками шляпах, с револьверами за поясом, в самых разнообразных костюмах. За нами следовали воло-куши. Это — две оглобли с перекладинкой посреди, на ко-торую кладутся вещи; в оглобли впрягается лошадь, на ло-шадь садится кучер, и такой экипаж, только такой, может безнаказанно прыгать с пенька на пенек той просеки, ко-торая прорубается для него и для линии. Наконец, сзади этих волокуш шло пешее войско с соответственным воору-жением: высокие рейки колыхались, как знамена; вешки, как пики; нивелиры, теодолиты и гониометры, звук цепей...

Большой контраст культуры и некультуры трудно было и представить, с одной стороны, пионеры последней цивилизации, с другой — типы, некоторым образом, первобыт-ных времен, внуки Дажьд-бога, окруженные своими боло-тами, лешими и русалками. И все это на прекрасном ве-чернем фоне догорающего дня, тишины, аромата, безмя-тежного синего неба с освещенными облаками, такими же причудливыми, как и везде, — где-нибудь в Парпже или на южном берегу Крыма...

Но здесь глушь, тайга, сырость и комары, и лес, как кладовая старого скряги, таит в себе больше негодного хлама, веками гниющего, чем полезного строевого материала. Пройдут века, и, конечно, культурный обильный лес сменит этот хлам веков, но пока это только хлам, и мы в нем, изъеденные комарами, слепнями, оводами, мошкаррой. И так отдыхает взгляд после недельного перехода даже на таком слабом намеке на поле, как это, которое с обгорелыми пнями расстилается теперь перед нами.

Некультурная сила, в лице девчонок и ребятшек дробнула и пустилась в бегство при нашем приближении. Впрочем, в позах взрослых было столько сомнения, что сделай наш рабочие какой-нибудь воинственный звук, и вся толпа обратилась бы в такое же бегство. Так же бывало и раньше, но с тех пор был отдан раз навсегда строжайший приказ — не ставить вперед местное население в унижительное для него положение. И вот рабочие, несмотря на величайший соблазн и охватившую их радость при виде жилья, двигаются молча, а бородатые представители здешних мест и грязные, неряшливые представительницы без головных повязок, в синих пестрядинных сарафанах, продолжают смотреть, вот-вот готовые бежать без оглядки.

Мы равняемся, и крестьяне торопливо стаскивают свои домашней работы шляпы, а бабы так и замерли, впившись в нас глазами.

— Как называется деревня? — бросаю я с высоты своего рослого коня.

— Светленькая, — раздается несколько человеческих старческих голосов.

Некоторые из парней с удивлением смотрят в лица крикнувших ответ, — может быть, и для них новость, что деревня называется Светленькой.

Впечатление дикости этой толпы так в нас велико, что в первое мгновение во мне является что-то вроде удивления по поводу того, что я слышу членораздельную речь.

— Здравствуйтесь, старики!

— Здравствуйтесь и вы!

— В гости приглашайте!

Молчание.

— А что же? — лепечет какой-то ветхий-преветхий маленький старик, — коли не супостаты да со знаменем божим — милости просим.

Мой помощник, черногорец, инженер, пренебрежительное, без рассуждения берет тон человека, привыкшего властвовать.

— Староста где?

Черногорец невысокого мнения о моем умении авторитетно поставить себя; он считает, что я удивительный мастер распускать всех, не исключая и его.

Я, в свою очередь, невысокого мнения о его уменье: быть грубым, вспылчивым, грозить то и дело дать в морду, а иногда переходить и от слова к делу — приемы плохого унтер-офицера или бурбона из кантонистов. Но он талантлив, прекрасно знает свое дело, любит его, неутомим в работе и, следовательно, вполне годится для своей роли — пионера последней цивилизации. Иногда он бесцеремонно, с клокотанием и болью Отелло, раздраженно машет рукой и с налившимися глазами рычит на меня:

— Вы, Николай Георгич, ей-богу, как... бить их надо!..

— Послушайте, даже обидно слышать это, — возражаю я, — представьте себе, я явлюсь в вашу Черногорию и начну вам доказывать, что надо бить черногорцев. У вас не заболит сердце, что гость вашей страны так возмутителен со своими хозяевами?

— Черногорец не доведет до этого, а русский доведет!..

— Что ж, черногорец культурнее?

— Никакого сравнения!..

— Кулачная расправа тоже, в числе культурных приемов, заимствована вами?

— Когда иначе нельзя, то надо бить.

— Но я же никого не бью!

— А кто вас боится?

— Мне этого и не надо, — мне надо, чтобы вверенное мне дело шло успешно; дело и хозяин, а вы, я, все мы — нуль.

— Все разговоры... сй-богу, вы умный человек, а такие вещи говорите...

Староста неохотно, боком протискался из толпы. Это был светлородый, густородый, лет пятидесяти крестьянин с холодными серыми глазами, смотревшими твердо, уверенно и без смущения.

— Ты староста?

— Мы.

— Какой здесь самый лучший дом?

Староста слегка прищурился, кашлянул в руку, переступил с ноги на ногу и, не торопясь, спросил:

— А вам на что?

Черногорец так и вскипел. Замахнувшись нагайкой, он бешеным шепотом прошпел:

— Дак как вытяну я тебя, мерзавца, — научишься разговаривать, скотина!

Дикий вид черногорца, его черные глаза без зрачков и синие белки смутили невозмутимого старосту. Но я не мог больше оставаться равнодушным и сказал несколько французских фраз черногорцу, после которых он плюнул, отъехал и стал безнадежно смотреть на синюю полосу окружавших нас лесов. Я продолжал переговоры.

Лучший дом оказался принадлежавшим старосте, и, после некоторого колебания и с восстановившимся достоинством, староста изъявил согласие взять нас, начальство, к себе.

Странный человек — черногорец: сам он, как и вся его нация, полны чувства собственного достоинства. Вся кровь, веками проливаемая в войне с турками, сводилась к поддержанию, в сущности, только этого достоинства. А в других ничто его так не раздражает, как пменно это достоинство. Я давно знаю своего черногорца. Когда он был помоложе, и печень его была нормальна, он был и мягче и жизнерадостнее, был занимательным и изобретательным, каким может быть только молодой медвежонок; он играл на губах, пилил, подражая звуками пиле, острил, знал множество фокусов и хлопал пальцем изо рта, как самая настоящая пробка шампанского. Дамы ласкали его, мужья смотрели глазами своих жен, и дела черногорца шли, как по маслу. Он и теперь далеко не стар, но уж очень тяжел, болеет печенью и потому раздражителен, не нуждается больше в снисхождении, потому что знает свое ремесло, и ищет хороших заработков. В редкие мгновения он становится прежним веселым и беззаботным черногорцем, для которого море по колено, которого когда-то австрийское правительство приговорило к расстрелу за боснийское восстание, и он — австрийский инженер — с потерей всех прав, бежал в Россию, где пришлось начинать с самого начала, с самых первых ступеней.

Мы едем к дому старосты, и нас провожает вся толпа.

Толпа как толпа, есть богатые, есть и бедные, очень бедные... Лица простые, доверчивые и свободно-покорные судьбе. Даже у самых бедных это есть. Какая-то патриархальность, незлобие, покорность и ясность. Смотрят на нас, смотришь на них. Дети и мудрецы в одно и то же время: они слышат рост травы. Это, конечно, первые естествоведы своих лесов. Но женщины неказисты, малорослы и с глупым выражением кроткой овцы. Их сестры, наши культурные дамы, даже мещанки пригородных мест, выглядят лучше. В этих женщинах, в сущности, с моей испорченной точки зрения, ничего и женского нет: неуклюжие маленькие самки. Зато у мужчин бороды густые, каких у жид-

кого интеллигента не встретишь, и требовать к себе уважения за бороду имеет свой большой смысл.

Мы двигаемся по улице среди бедных и богатых изб, наваленного леса, дров, всякого хлама. Солнце золотит деревню и лес: там и сям на горизонте, в неподвижном ароматном воздухе, как свечки, поднимаются к небу белые паровые столбы. То горят леса, и без ветра это — только свечка, а подымается ветер, и широкой волной разольется море огня, и побегут от него медведи, волки, рыси, барсуки и лисицы, и — народ их лесной — зайцы, слившись иногда все в одну дружную, сплоченную семью. Бывает, примыкает к ним и человек со своими отрядами: овечками, лошадаками, коровками и свинками. Надо хорошо знать лес, и его знают его граждане, и знают, куда и как спастись им от огня. Кончится пожар, и прекратится перемирие, и снова каждый станет на своем посту. Человек капканы будет расставлять, Мишка — мять овец, а все остальные звери будут рвать на части глупых зайцев. Зайцы будут кричать благим матом, будут жаловаться на судьбу, но с изумительной постепенностью будут все расти и расти в своем количестве. Но пройдут века, и не станет зайцев, а с ними и хищных зверей, живших за их счет. Зверей заменит человек, потерявший свои разительные свойства зверя...

А пока мы в новом деревянном двухэтажном с мезонином доме старосты. В нижнем этаже — лошади, скот, солома и сено. Сквозь щели пола их видно и слышно аромат навоза. В светелке наверху душно и тесно. В старой избе клопы, мухи, комары. С новых сосновых стен так и капает желтая смола. А какая высокая лестничка в светелку, и все это — и дом, и сарай, и светелка — под одной крышей, странно отделенной от стен, но соединенной плотно между собой. Все сбито и прочно, и зимой не попадает сюда ни одна снежинка, но зато упадет искра огня в щель из верхнего жилья в сарай, и вссокрушающий пожар неизбежен. Хорошо, если пожар летом, успеют отстроиться, а осенью, да дружный, и пропала деревня.

И вы иногда слышите:

— Здесь когда-то жилье было...

— Куда же оно делось?

— А господь это знает.

— Что ж жители — вымерли, сгорели, замерзли или так разбрелись по белу свету?

— Кто узнает? Кругом на сотни верст — лес и лес, — кого спросишь? Ушли и ушли.

И вы смотрите на старое пепелище:

Времен от вечной суеты,
Быть может, нет и мне спасенья.

В этих глухих местах Вологодской и Костромской губерний обитатели как-то меняют слова и говорят: печька, вместо печка, хотитё, вместо хотите и т. д. Что-то с непривычки странное, наивное и бесконечно простое и не спорное. Птица поет одну свою арию, и если человек начинает с пения свою речь, то нельзя и от него требовать на первых же шагах сложных речей. Поет и твердо знает одну, слышанную мною, излюбленную поговорку:

— Мужик да овца, и опять с конца.

II

Удивительный человек — этот черногорец. Не успел расположиться, а у него уже в комнате женщина, молодая и не в пример другим даже красивая: среднего роста, с худощавым румяным лицом, карими, как у молодой матки, смелыми глазами.

— Это кто? — спросил я у сидевшего, как молодой паша, черногорца.

Тот только фыркнул.

— Вам не надо знать... — и он указал на мое обручальное кольцо.

Матка уходила и возвращалась, а черногорец двигался все веселее. Моя комната рядом, перегородка не доходит до верху, и, лежа на кровати, я слышу разговор в комнате черногорца.

Она говорит:

— Куры-то у нас нашлись... Теперь с этим рублем что ж делать?

Черногорец, понижая голос, с легким смущением, прикрытым, впрочем, пренебрежением, отвечает:

— Возьми себе.

Мой расчетливый черногорец!

— Ну, спасибо.

Какой-то странный звук вроде поцелуя.

Черногорец, смущенный и довольный, руки в карманы, лениво входит ко мне:

— Странный обычай: дал ей рубль, целуется...

Сообразил, что я услышал, и идет навстречу моим предположениям!

— Обычай всеобщий!

— Это — честная женщина... Дочь хозяина, и муж у нее... Так, просто...

Черногорец дернул плечом.

— Охотно верю...

У черногорца свои правила относительно женщин. Он говорит:

— Честных женщин нельзя соблазнять, ухаживать за женами друзей нельзя!

Он растопырил свои толстые пальцы и убежденно возражает на свое положение:

— А нечестных и соблазнять нечего!

Он говорит своим твердым выговором и машет рукой и головой:

— А за кем же ухаживать, как не за женой друга? К врагу ведь не пойдешь же в гости?

Опять стучит своими каблуками молодая матка в комнате черногорца, и он озабоченно уходит.

Я беру шапку и спускаюсь вниз во двор.

На крыльце уже стоит толстый, пока еще холодный как лед самовар, уже налитый водой. Дым валит из трубы. По двору гуляет домашняя скотинка. Из-под сарая выглянула красавица пегая кобыла: высокая, широкая, на тонких твердых ногах, с широкой грудью, с большими широкими губами, которые держит так же пренебрежительно и спокойно, как и сам ее хозяин.

Я осматриваю пегашку и, чем больше смотрю, тем больше проникаюсь красотой этого животного.

— А что, хозяин, хороша лошадь?

Хозяин заложил руки за пояс рубахи, медленно подходит:

— Гляди!

Я смотрю и говорю:

— Хороша!

— Плоха ли лошадь?..

Хозяин потянул воздух, мотнул головой и смотрит на лошадь.

— Своя?

— Вот мать, вот отец, — указывал он рукою.

Мать такая же пегая, с отвислой губой, с толстым брюхом, с выгнутой спиной — урод перед дочкой. Отец — мурхортый с толстыми ногами, густо обросшими шерстью, твердый, степенный, солидный жеребец. Он безостановочно машет головой вверх и вниз, вниз и вверх, и не обращает никакого внимания ни на нас, ни на кобыл.

— Так и ходит?

— А что не ходить?

— К кобылам не прпстает?

— Их дело,

Я опять смотрю на пегашку. Мне нужна лошадь. Она смотрит на меня, сложила свои широкие губы, слегка оттопырила их — точно слушает пренебрежительно, о чем здесь толкует этот откуда-то из леса выбежавший чужестранец.

— И в езде хороша?

Во дворе масса чужого народа; ребятишки, девочки, бедненький люд: с клюками, согбенные калеки и убогонькие. Старичок в рубашке, подпоясанной, как у мальчика. И все, и старичок, прежде чем хозяин рот открыл, в ответ на мой вопрос кричат:

— Батюшка, да как же, в кого быть ей плохой в езде? Первая лошадь не то что в деревне: весь лес изойди, такой не сыщешь. Плоха ли лошадь?

— Молода?

— Молода, молода: три, четыре, пять лет.

— Сколько жеребят имела?

— Да что? Двоих.

— Трех, батюшка, всего и имела, — говорит вышедшая в это время во двор хозяйка.

— Тебя, дуру, кто звал? — осаживает ее светлородый супруг.

Хозяйка виновато смотрит в глаза повелителя.

— Бабы и бабы... только и всего: ступай!

Баба смущенно уходит и ворчит:

— Вишь, натискался полный двор, только сбивают в речах!..

— Правда, матушка, правда твоя, — говорит старичок.

Старики и старухи соблезненно качают головами: дескать, и вправду набились, только сбиваем хозяев.

— Ты, батюшка, не сумлевайся, — шамкает мне старик, — клад, а не лошадь...

— А цена какая?

— Цена?

И хозяин пускает столько воздуха из своей груди, сколько и редкий мех выпустит. Думает, думает и говорит:

— Непривычное дело... говори сам цену!

Оригинально!

— Неужто, Парфений Егорыч, и вправду решился смотреть? — спрашивает из толпы один. — Племя-то, племя какое...

Хозяин, Парфений Егорыч, молча чешет затылок. Затем энергично машет рукой и говорит:

— Нет, не продам!

Наступает молчание. У меня сразу до температуры кипения усиливается желание приобрести лошадь.

В толпе тихо. Убедительно запекает один:

— А пошто и не продать? Были бы деньги — какую захочешь, такую и купишь.

Другой третий, четвертый говорят, указывают на то, что почему-де барину и не уважить?

Хозяин слушает, твердо уставившись в землю. Начинаю и я убеждать хозяина. Он слушает и меня и молчит. Опять выходит хозяйка.

— Слышь, женское, продавать, что ли? — бросает ей хозяйин.

«Женское» прирастает к месту, делает большие комичные глаза, замирает, качает головой и наконец отвечает:

— А твое дело... — Ты большой!

— А, знаю, — равнодушно пускает сквозь зубы хозяйин.

— Гляди... — отвечает ему хозяйка.

— То-то гляди, — презрительно сплевывает хозяйин. — только мешать бы вам...

Хозяйка, испуганная, быстро скрывается.

— Ну что ж? Не хочешь, так не хочешь.

Я тоже собираюсь уходить в комнату. Подходит наш мажордом — Кузьма.

Он разводит руками и тихо, доверчиво говорит:

— Просто приступу ни к чему нет. Яиц десяток двадцать копеек, курица — пятьдесят... Московские, прямо московские цены...

Кузьма помолчал и говорит:

— Иадо у этих порасспросить.

— Спроси, — говорю я.

— Эй, вы, старички, нет ли у вас продажных ящеч, кур?..

Толпа внимательно слушает, смотрит со страхом на хозяина и молчит. Вызывается старичок.

— Курочка, батюшка, у меня есть.

— А цена?

— А что дадите.

— А ты свою говори.

Старик думает, чешет голову и наконец нерешительно, со страхом говорит:

— Двадцать копеек дашь, что ли?

— Пятнадцать.

Какой-то белокурый парнишка подвернулся под ноги хозяину и полетел, получив от него здоровенную затрепщину.

— Шляются под ногами! Чего не видели? Весь двор запрудили. Вон!

И старые, и малые посыпали со двора, а с ними и старик, продававший курицу. Тот самый, который отозвался

на мой вопрос, примут ли нас в гости, — тот самый, который уговаривал хозяина продать нам лошадь.

Все-таки Кузьма разыскал его и курицу за пятнадцать копеек купил.

— Ну, — сообщает Кузьма подробности продажи. — «Теперь, — говорит старик, — пропала моя головушка... Парфений Егорыч до смерти не простит мне, что перебил дорогу его курам». Я ему говорю: «А тебе что такое — Парфений Егорыч?» — «Как что, батюшка? Парфений Егорыч у нас всему делу голова. Хочет — и жив человек, не хочет — стаял, как снег в печи...»

Кузьма вздыхает, думает и прибавляет:

— Известно, денежный человек, сильный!.. В одном лесу какие поставки держит... Голодный год пришел... Куда?.. Только он и есть!.. Взял теперь зятя себе, так, беденький вовсе, — охота, чтобы из воли его, значит, не выходил... А детей все-таки не дает бог дочке: третий год уж живут, а внуков нет. И, слышь, гневается на зятя; в черном теле его, так, работником содержит, а к делу не допускает вовсе, все сам, сам...

Все это мой Кузьма уже разузнал, выспросил:

— Вы насчет пегашки оставьте, — он теперь сам пусть начинает...

Действительно, когда вторично я вышел во двор, хозяин, смягчив свое суровое и презрительное выражение, обратился ко мне:

— Капитал-то в избу, али ладно здесь?

— Какой капитал?

— Да вот струмент, вешки.

— Разве тронет кто?

— Да ведь как говорится: замок для добрых людей.

— А то и стащат?

— Обнаковенно... иной и глуп для этого, пожалуй, подкладывай ему.

— А если бы я деньги положил на улице?

Хозяин с презрением покосился на меня и едва удостоил сквозь зубы:

— Пожалуй, попробуй!

— Это в городе порченый народ, а здесь у вас — простота.

— Это... — ответил хозяин и усиленно замигал глазами.

Кузьма, слушавший на крыльце, усмехнулся и проговорил:

— Как говорите, простота? Хуже воровства живет!

Хозяин опустил глаза в землю, молчал, слушал и о чем-то думал. Лицо его опять смягчилось, и он вдруг добродушно и доверчиво обратился ко мне:

— Ну, так думаю, что ль, лошадку-то вам купить у нас?

— Что ж, пожалуй, а цена какая?

— Уж и не знаю... Две катеньки не обидно?

— Что ты, что ты! — закричал на него Кузьма, — язык-то как поворачивается?

Хозяин опять насупился, покраснел и ответил:

— Так говорится, за спрос денег не берут... Вашу цену скажите.

— Да ты в Петербург привези ее, и то больше сотенной не возьмешь, — ответил ему Кузьма.

— Нет, за сотенную и толковать не о чем, — махнул рукой хозяин.

— Да мы тебе сотенной и не даем! — ответил насмешливо Кузьма.

— Да ты что? — окрысился хозяин на Кузьму, — суешь тут!.. Постарше, чать, тебя есть!

Кузьма замолчал. Очередь говорить была за мной...

— Я дал бы, — нехотя начал я и запнулся, — ну... сто двадцать рублей.

— Вот чего, барин... Сто пятьдесят и бери, покамест не раздумал...

— Нет.

— Сто сорок!

— Сто тридцать!

— Нет!

Уперся хозяин, уперся и я. Опять на дворе собрался народ.

— Хороша лошадь... Племя какое... От нее же вот купец купил в городе, и то первая лошадь...

— Давно купил? — спросил я.

— Да что ты путаешь, — крикнул в сердцах хозяин, — от старой купил. И кой ляд тут вас носит?

— Знамо, от старой, — подхватили дружно в толпе, — что говорить, когда не знаешь?

— Али от старой? — с веселой и глуповатой физиономией посмотрел на всех провинившийся.

Давешний старик, продэвший курщцу, не смеет уже войти во двор и стоит на улице у ворот.

Кузьма смотрит, выворачивает ей губы, заглядывает на верхнюю челюсть, пока пегашке не надоедает все это, и она так вздергивает головой, что сразу высвобождает свою морду из рук Кузьмы. Кузьма молча вытирает о полы руку.

Пегашка опять вытянула свои широкие губы и смотрит равнодушно и сонно, точно и не с ней все это было.

— Сколько ж лет?

Кузьма еще думает и нерешительно отвечает:

— Лет восьми будет.

Поднимается страшный вопль.

— Трех, четырех, пяти! Своя прирожденная, на глазах выросла, племя какое, сейчас и то берёжая!

— Да мне это все равно, — говорю я, — мне тащила бы воз, и конец.

— Ну, лучше этой лошади и нет, хоть весь свет обойти! — кричит кто-то из толпы.

— Хороша-то хороша, — говорит Кузьма, — ну и цена!..

— А ты не об цене думай, а какую лошадь берешь! — учит его голос из толпы.

Старик у ворот качает головой и со скучным убитым лицом уходит прочь. В толпе смеются, перебрасываются тихо словами и забыли уже о том, что я торгую лошадь. Хозяин тоже с равнодушным лицом уходит в избу.

— Ну, бог с тобой, — говорю я, -- бери сто сорок рублей.

В толпе наступает мгновенная мертвая тишина. Смотрят, раскрыв рты, на меня, на хозяина, лениво возвращающегося назад. Я вынимаю деньги и отдаю. У некоторых в толпе выражение такое, как если бы где-нибудь в Сахаре с мучительной жаждой они смотрели на счастливец, урвавшего глоток воды.

Вышел и черногорец, засунув руки в карманы и выворачивая большими ногами.

Он был в духе, подошел к пегашке, заглянул ей под ноги, толкнул в живот и пренебрежительно отошел.

— Рублей шестьдесят стоит, — бросил он снисходительно.

— Денег-то, денег куча, ах ты, господи!.. — качали головами в толпе.

Даже хозяин, и тот покраснел от напряжения и от удовольствия, как ни старался сохранить спокойствие.

— Ты, барин, на деньги не гляди, а на кобылу, — ответил он черногорцу, — племя!

— Племя? — переспросил черногорец и пригнулся с своей обычной манерой, делаясь похожим на быка, когда он собирается подбросить рогами.

— Племя первое дело, — вздохнул какой-то мужик из толпы.

Черногорец опустил голову, задумался.

— А вот у дочки твоей и нет племя, — проговорил он на прощанье, обращаясь к хозяину, и ласково рассмеялся.

Хозяин, как человек, которому попали в самое больное место, безнадежно, покорно, грустно ответил:

— Наказал господь... Одна распроединственная и то нет.

— То-то, нет... А вот дождался бы нас, не выдавал дочку, я бы и взял ее за себя!.. А у меня, брат, столько племя, сколько волос у тебя на голове.

— И поверить можно, — с почтением развел руками хозяин, почтительно оглядывая, хотя и тяжелую, но внушительную фигуру черногорца.

Черногорец поглубже заглянул ему в глаза, точно отыскивая что-то, — нашел и весело направился к себе в комнату.

— Господин серьезный! — с почтением аттестовал хозяин моего черногорца.

— Ну-с, пегашку ставьте к корму, завтра в работу, — обратился я к кучерам.

— Обмняться надо, — заявили кучера.

Обменялись через полу поводом: обычай один, куда ни иди по крещеной земле русской. Пришлось еще рубль дать! — повод обмыть.

— Да ведь у них, поди, и водки нет? — с соболезнованием проговорил было один из кучеров.

— Пьем же, — добродушно кивнул головой хозяин, и в толпе пошел хохот.

— Пьют! — воскликнул Кузьма, — шельмецы, свою водочку курят! Как ненастье придет, что уж знают, нет к ним дорог, и разведут каждый свой заводик; пьют да добрых людей поминают.

— Безакцизную, значит?.. Цена поэтому подешевле...

— Одна цена, — равнодушно ответил хозяин.

— Вишь, народ!

— Так неужели так уж и за труды не пользоваться? — рассмеялся кто-то в толпе.

— Больно уж много пользы берет...

— А нам что, не жаль, давай хоть все...

— Не надо ли еще лошаденки? — подошел и спросил каким-то заплетающимся языком белокурый, скошенный, с большим лбом мужичок.

— Не, батюшка, не надо!..

— Э!.. — мужик подумал. — А то возьмите, я бы дешево отдал... Деньги нужны.

— Да на что вам деньги здесь? — бросил кто-то из моих рабочих.

— Э, батюшка, как же без денег? Нам-то, лесным медведям, и нужны деньги... Что ни схватишь — нет; железо ли, косы, соль — все купи... Подати, свадьбу и на попа достань-ка. Меньше красненькой и не поглядит, а помрет человек, глушь, в неделю не управиться, потому сейчас шестьдесят верст вези упокойника до села...

— Зачем же вы его возите?

— Да как же иначе, на кладбище доставишь... не так же его: бах в землю, как собаку...

— Да-а.

— А то возьмите лошаденку?..

— Нет, батюшка, не надо.

— Не надо, так не надо! — осадил белобрысого мужика наш хозяин. — Не за горло же хватать?

— Никто не хватает, — огорченно ответил белобрысый и отошел. — Так спросил...

Мне жаль стало белобрысого: думаю, купить бы что-нибудь и у него.

— Вот овцу, если есть, на мясо продай...

Белобрысый собрался что-то ответить, но хозяин авторитетно перебил:

— Найдется и у нас овца. — И, спохватившись, что опять народ нагрудился во дворе, хозяин закричал: — Ну, опять поналезли! Что, ей-богу, за народ? Чего не видали? Ай-да-те!..

Так я не дождался ответа от белобрысого.

Толпа выходила в ворота, и я слышал вздохи; разводили руками и говорили:

— Его счастье...

— При капитале-то у всякого счастье, — диссонансом общей покорности раздался чей-то резкий, раздраженный голос.

Хозяин мой не подарил ответа.

— В чужой-то двор зашел и охальничаешь?..

— Я, что ли, охальничал? — уже смущенно ответил виноватый.

— Вправе я тебя, — не спуская топа, продолжал хозяин, — и в загривок поэтому...

И так как виноватый молча спешил выбраться со двора, то хозяин поласковее кончил:

— Потолкуй тут...

— Крут же, — тихо мотнул головой Кузьма в сторону хозяина.

И между моими рабочими хозяин чувствовал себя таким же хозяином, как и с остальными деревенскими, только голос немного поласковее.

— Ну, чего сидите? Налаживайте пока что скамьи.

— А лесу где? — покорно поднялся один.

— Вот хоть из-под навеса возьми.

Он распоряжался деловито, безапелляционно и, к моему удивлению, рабочие, рассуждая со мной совершенно свободно, с ним чувствовали себя как-то покорно, испытывали тот род страха, как будто существовала такого рода зависимость, что вот возьмет и вытолкает он их всех в шею.

«И вытолкает, и ничего не поделаешь!» — как бы говорили недружелюбные, но покорные лица рабочих.

Высыпали звезды на синем небе, шумит лес и сильнее напоминает шум моря.

Сорвется звезда и полетит, и рассыпется серебряным следом над тайгой.

Тихо и темно. На дворе прохладно, а в избе душно: комары, клопы.

Я уже лег, а черногорец все еще возится. Молока захотел и кричит, чтобы дали ему. Слышу шаги по лестнице, знакомые, звонкие шаги дочери хозяев. Принесла ему и поставила горшок на стол. Звук поцелуев. Опять, вероятно, благодарит его. Молчание, и началась какая-то возня.

— А ты будет! — слышу упрямый голос молодой женщины.

Опять.

— Ну, что ж ты? Оставь!

Возня и энергичный решительный возглас.

III

Я вышел за ворота на улицу и пошел вдоль деревни. Дети, старики, старушки, бабы и парни, бородатый народ — все потянулись за мной.

— Ну что ж, овцу продавай? — обратился я к крестьянину, который навязывался с лошастью.

Крестьянин подумал, почесался и заговорил своим заплетающимся языком:

— Так ведь того, Парфений Егорыч посулился ведь.

— Что, Парфений Егорыч? Я у тебя хочу купить.

Крестьянин подумал, почесался и проговорил:

— Оно, конечно, продать можно, да, вишь, дело сошлось как: Парфений Егорыч посулил... у него уж, видно...

— Что ж, Парфений Егорыч рассердится, если ты продашь?

— Ну, так как же не рассердится?.. Нет, уж того...

Вот старичок, продававший курицу, стоит. Избенка ветхая, старенькая. Два стекла в окне всего, а остальные рамы пузырями затянуты.

Подошел к нему.

Маленький, седенький, кудрявый.

— Ну что ж, старик, в гости пришел к тебе! Веди в избу.

— Батюшка!.. — заволновался старик, — а как мне тебя принять?! Гостя этакого...

Мы вошли в темную, закоптелую избу.

Пять маленьких детей, зануженная, бедная женщина.

— Твои, что ль, дети?

— Внуки, бабушка, от сына... Сына бог взял, жена его эта, невестка мне, значит, и живем... Так, бабушка, так. Живем, Христа славим...

Рассказал кое-что старик про свое житье. На словах не передашь: надо изжить всю нужду, все горе горькое, надо всмотреться в эти неживые от нужды глаза и в эту кожу лица, в лица детей, измученную, без кровинки, женщину, — всмотреться, и что-то не поддающееся никакому описанию почувствовать. Может быть, и тронет тогда сердце и почувствуется живьем, какая-то жизнь написана была на роду этого семидесятилетнего старика. Жалобы на судьбу никакой. Славит свою долю. Найдутся охотники восторгаться чудными качествами души: их дело. Замечу только, что особенно на руку это качество всякому мироедству.

Душно, грязно в избе; комары и тараканы; запах овчины, навоза и еще какой-то тяжелый удушливый запах. Вышел во двор, сел на завалинке. Огородик перед глазами: посажены капуста, картофель, лук... Пониже к реке виднеется маленькая, без крыши баня. Вышел из бани человек лысый, с подстриженной бородой и усами, в каком-то халате. Маленькое лицо, сморщенное, на вид лет пятьдесят. Вышел, постоял и пошел мимо нас, не удостоив нас вниманием. Остановился, встал на колени и начал громко вычитывать какие-то зауспокойные молитвы.

— Это что за человек?

— Так,.. простенький...

И старик нехотя, с особой сборкой на губах рассказывает о нем. С детства такой. Был крепостным, приучали к делу: били и били, пороли и пороли: ничего. Так и отбился. Все смешком да шуткой, — посадят ли там пшеницу изоржи выбирать, кур ли пасти. Воля пришла, стал на воле ходить. Сперва около города жил, обмолвился словом...

— Каким словом?

— Да так и сказал: «Жарко будет городу». А глядь, город и горит уже. Начальство подумало, не он ли; в острог засадили. Ан и острог с угла загорелся. Ну, выпустили и

приказали к городу на выстрел не подходить. Осерчал и он. Ушел. Вот так и прибился к нам и живет у меня в баньке.

ВОЛК

I

Стало солнце сильнее пригревать, дрогнул снег, и мутная холодная вода зашумела в оврагах. Громче всех шумел Блажной, и грохот и шум его, как выстрелы из пушек, неслись в пустом воздухе голой весны.

Два подростка, овечьи пастухи, встретились за деревней у Блажного и, постояв, молча присели.

— Вишь, как он, — говорил белобрысый подросток Иван своему товарищу: — с весны ревет, как путный, а с середины лета — курице испить нечего. И будем гонять овечишек опять на водопой в Малиновый.

Черный всклокоченный сотоварищ его, Петр, ответил, глядя на дорогу:

— Будешь ты один гонять нынче...

— А ты? — встрепенулся Иван.

— У меня и другое дело найдется.

— Какое дело?

— Так я тебе и сказал!..

— А как же я-то один справляться стану?

— А так и станешь... Поклонись миру и скажи: «Так и так, старики, Петр уйти надумал, а мне одному не справиться, а вы вот что: запрудите-ка с весны, пока вода в Блажном, как вот на сахарном заводе, да накиньте мне половину Петрова жалованья, я тогда и один справлюсь за двоих».

— Так они меня и послушали!

— А ты и уйдешь.

— Куда я пойду?

— Куда глаза глядят.

— Чать, вороны только летают, куда глаза глядят.

— Ну, и сиди тут.

И Петр равнодушно сплюнул в овраг.

— А ты пойдешь, куда глаза глядят?

— И пойду.

— Чать, без паспорта не пустят.

— А ты не спрашивай, и пустят!

— Поймают, так отдают!

— Ладно, пусть поймают сперва.

Петр встал, поднял мерзлый кусок земли и бросил его в мутные воды оврага.

Когда ком исчез в волнах, он сказал:

— Вот так и я, — ищи там на дне ком-от, что бросил...

— Обсохнет — найдется.

— Ну и жди, пока обсохнет, а я пошел!

И Петр, высокий, черный, с неуклюжими ухватками подростка, заковылял по последнему пути.

Белобрысый товарищ его тоже встал, некоторое время смотрел Петру вдогонку и, убедившись, что Петр действительно пошел, повернулся назад.

В деревне он, подойдя к избе старосты, постучался в окно и, когда староста, подняв окошко, высунул оттуда свою всклопаченную голову, лениво сказал:

— Петька, слышь, пасти не станет.

— Еще что?

— Ушел.

— Ушел — придет.

— Ладно — придет, а не придет, я с кем стану пасти?

— Куда денется? — придет!

Староста еще подождал, оглянул улицу и исчез в избе, опустив оконницу. А белобрысый паренек, постояв, лениво, без цели побрел дальше.

Прошел день, два, три, но Петр так и не возвращался.

Наступило время гнать овец в поле, Петра нет. Отец Петра, Федор, погнал овец вместо сына, а в волость послал заявку о пропавшем Петре.

Недели через две Петра разыскали на сахарном заводе, водворили на место жительства и с согласия отца, сдавшего его в общество в овечьи пастухи, высекли.

Белобрысый товарищ Петра, Ванька, на другой день, когда они вместе погнали стадо, равнодушно заметил Петру:

— Вот и ушел!..

— И еще уйду, — ответил ему Петр.

— Выпорют и еще... и не так...

— Не каждый раз!

— А больно пороли?

— Попробуй!

— Небось орал?.. Не хуже Блажного...

Петр, сдвинув брови, молча шагал за овечьим стадом.

В черных полях еще не было почти корму, и голодные овцы, жалобно блея, рвались к озимям. Ванька выбивался из сил, а Петр, отбросив длинный кнут, лежал на земле, смотрел в небо и молчал, как убитый, на все оклики и зовы Ваньки.

— Да что же ты? — подбежал к нему, потеряв терпение, Ванька, — так можно разве? Я один справлюсь?

Петр молчал.

— Ты что ж? Я ведь домой погоню стадо!

Ванька еще немного постоял и, не дождавшись ответа, действительно погнал стадо домой.

В деревню, пыля и вопя, ворвалось стадо, вызвав всеобщий переполох.

Еще не начинали пахать, и народ весь был дома. Тут же собрался сход, и приступили к отцу Петра.

— Я тут при чем! — защищался отец. — Вы его нанимали, его и спрашивайте. Теперь нашли его и невольте. Вы пороли раз, порите еще: я воли с вас не снимаю.

— Нет уж, Федор, не взыщи!.. Мы тебя пороть станем, — отвечал ему староста, — если не погонишь вместо сына, а уж там с сыном — твое дело...

И, как ни бился со стариками Федор, а пришлось-таки уступить и гнать с Ванькой назад в поле овец.

Гнал Федор овец и на чем свет ругал сына:

— Ну, погоди ж, погоди ты, треклятый, черт черный! Треклятый! И уродился в кого? Во всем роду черных не было: черный и лохматый, черт треклятый, угольные твои глаза!

А «черт треклятый» продолжал себе лежать там же, где и лежал.

— Убью! — заревел благим матом Федор еще издали и подбежал к сыну.

Петр медленно приподнялся и, сидя на земле, ждал отца.

— Пасти не стану! — угрюмо бросил он отцу.

— Убью! — завопил отец и заметался перед сыном. — Говори, Иродово семя, отец я тебе или нет?

Петр угрюмо потупился и молчал.

Федор еще подождал и с размаху ударил сына в лицо.

— О-ох! — вздохнул как-то Петр и пригнулся к земле.

Из его носа показалась кровь, и он, осторожно прикладывая руку к лицу, смотрел на свои окровавленные пальцы.

Отец тоже смотрел, некоторое время стоя в выжидательной позе, и вдруг с каким-то визгом, схватил сына за волосы, стал таскать его взад и вперед по земле. Задыхаясь, он приговаривал, толкая ногой сына в грудь, в живот, в лицо:

— Вот же тебе, треклятый! Вот же тебе!..

И таскал и бил до тех пор, пока Петр не сомлел.

Тогда отец бросил его, и Петр, неловко, боком, как упал, так и лежал, уткнувшись в землю, без дыхания, без всяких признаков жизни.

До сих пор безучастный, Ванюшка заметил, ни к кому не обращаясь:

— Этак и убить человека не долго. Отвечать кто будет?

Федор растерянно уставился на сына. Но Петр в это время глубоко вздохнул, сделал движение, и сразу воспрянувший Федор закричал:

— Отдышится кошка треклятая! Отдышится дрянь негодная! Смерть от отца примет, чтоб не позорить утробу...

Петр совсем пришел в себя и, опять сев, так же молчаливо начал прикладывать руку к лицу. Кровь размазалась на лице, залила грудь и смешалась с грязью. Петр был страшный, худой и высокий, похожий на выходца из могилы.

Федор стоял над сыном, и когда Петр окончательно пришел в себя, сказал:

— Ну что ж, треклятый, начинать мне сызнава? Станешь пасти?

После некоторого молчания Петр угрюмо ответил:

— Стану...

А на другой день Петр опять отказался гнать овец. По просьбе отца Петра опять на миру пороли. Били больно, как могли, были так, что извлекли из груди Петра какие-то совсем особые звуки, в которых ничего даже похожего на человеческий голос не было. Уже и бить перестали, а Петр все еще с какими-то переливами в горле выл, как воеет, вытянув шею, волк в глухой степи, выл и корчился так, что страшно было и смотреть, и слушать.

— Порченный, — шептали ребятишки на деревне.

Так и дальше пошло: день Петр пас, день лежал от новых побоев.

— Да что ты, окаянный, белены, что ли, объелся? — приставал к нему отец.

— Не хочу пасти!

— А есть чего будешь?

— На заработки на завод уйду! Проживу, как знаю.

— От отца, значит, от мира отбиваться на вовсе надумал? — приставал Федор.

Петр молчал.

— Врешь, треклятый, не отобьешься! Не таких обламывали!..

И Федор тоскливо твердил:

— Ах, ты, волк, волк! Настоящий ведь волк дикий!..

Так, быть может, и до смерти забили бы Петра, а может быть, и обломали бы, но Петру помог случай.

Приехал миссионер, и понадобился ему прислужник. Явился к миссионеру Петр и сказал:

— Выкупи меня у мира, стану тебе служить.

Поговорил миссионер с Петром и согласился. Согласился и мир.

— Что ж, рассуждали старики, бей его, пожалуй, только и всего, что до ответа доведешь себя...

Миссионер отсчитал миру отданный отцу Петра задаток, дал что-то в виде отступного и Федору. Мир нанял нового пастуха, а миссионер увез Петра с собой.

II

Служба у миссионера пошла впрок Петру.

Он научился читать, писать, умел читать по-славянски священные книги и приносил даже существенную помощь миссионеру. Так, во время диспутов он искусно как бы из публики наводил спор на такие пункты, в которых миссионер был силен и по поводу которых миссионер заранее уславливался с Петром.

На малых диспутах Петр и сам начал выступать на состязания со староверами и понемногу приобрел репутацию искусного и знающего спорщика.

Его уже звали Петром Федоровичем, уважали, хотя и говорили, что Петр Федорович горяч, крут и временами на язык не воздержан.

Миссионер, полюбивший своего помощника до слабости, оправдывал его, говоря:

— Николай Святитель горяч был, да душой чист...

Петр Федорович вырос, имел в плечах косую сажень, был высок ростом, а черные, как смоль, жесткие волосы, которые он запускал, топырились каким-то черным сиянием вокруг его и без того громадной головы, громадных черных, пронизывающих, горящих глаз.

Носил он давно уже суконную поддевку, сапоги бутылками и только и думал, что о диспутах да о разных текстах священного писания. Он щеголял ими в собраниях, отхватывая одним духом, на память, чуть не целые страницы, и, не довольствуясь, приводил ряд новых текстов.

— А еще от Матвея глава такая-то, а еще от Павла...

И сыплет, и сыплет, и умолкнут все, и слушают, и дивятся, откуда только у него берется.

Так шло дело у Петра Федоровича, когда вдруг мир потребовал его назад в деревню для отбывания выборной общественной службы.

Выбрали его сотским.

Петр Федорович жаловался миссионеру:

— Вот сотским выбрали. Хорошо — грамотен, могли бы и старостой выбрать. Уж все равно, заодно служить. Злоба в них ко мне — как же, дескать, свиней, овец пас, а теперь в попы метит: вот же тебе, дескать, — послужи в сотских!.. Послужим и в сотских.

Петр Федорович возвратился в свою деревню и начал службу. Не только службу, но и принял от отца все хозяйство. Он принес с собой кой-какие деньжонки. Горячий ко всякому делу, Петр Федорович принялся за хозяйство не на шутку.

Все ему хотелось по-новому, получше. Хотелось не для себя одного, и он настойчиво твердил, — и отдельным крестьянам, а нередко и на сходке, — как бы следовало все это устроить. Твердил настойчиво, упрямо.

— Да что за учитель нашелся такой? — говорили ему на миру.

— Не учитель я, старики, а дело говорю вам. Вот хоть, к примеру, землю взять. Делите вы ее чуть не каждый год, — ну какое же тут правильное хозяйство возможно? Разделите вы ее ну хоть на двенадцать лет, — ведь дело пойдет, — всякий для себя ведь станет заботиться тогда: и вспашет лучше иной, глядишь, и удобрит...

— Ну, а новых, которые вырастут, кои со службы возвратятся, — куда денешь?

— Для них будем оставлять частицу.

— Да как ты частицу эту вперед угадаешь, сколько именно надо?

— Да ведь как угадаешь, — как-нибудь...

— То-то как-нибудь!.. Как-нибудь от староверов отбреешься, а в нашем деле как-нибудь начнешь — только и всего, как был дураком, так дураком и будешь!

Неудача постигла Петра Федоровича и в школьной затее. Бездетные восстали, и, как ни бился Петр Федорович, ничего поделывать не смог, и школа провалилась. Задумал было Петр Федорович частную школу в доме отца своего устроить для желающих. Но и тут ничего не вышло. Поссорился с писарем, обозвал его вором, тот «обнес» его перед земским — и Петр Федорович сразу попал в разряд бес-

покойных и даже опасных вольнодумцев, и ему было запрещено всякое обучение детей.

— Ну, вот что, старики, — явился он однажды с новым предложением перед миром, не хотите, как хотите, но мне хоть не мешайте. Вот в чем дело: на отцовскую и мою душу сколько приходится десятин? Нарезьте мне эту землю в одном месте, а что захотите с меня за это, то и берите.

Дело запахло водкой и пошло лучше. Захотели, кроме душевной платы, сорок пять рублей деньгами да пять ведер водки. На том и порешили: приговор написали и место выбрали. Петр Федорович выпросил себе землю у Блажного оврага, с условием — запрудить пруд для общего пользования и землю чтобы ему отвести пониже пруда. Это было сделано Петром Федоровичем с тем расчетом, чтобы пользоваться прудом для орошения.

Петр Федорович горячо принялся за работу. Он забыл думать обо всяких общественных вопросах и весь отдался своему новому делу.

Уговорил отца сломать избу в деревне и перевести ее на свой новый хутор, возил навоз на паровое поле, готовял материал для плотины, сторговал пять пеньков пчел, достал у соседнего священника несколько кустов желтой акации и даже куст роз.

Сам хозяин и работник, он работал за троих и в несколько лет сделал очень много. На полях у него хлеба стояли стеной, огород орошался самотеком, на пчельнике, где был разведен целый сад, было двадцать пеньков, и из них четыре дадана. Были телка и бычок от племенного быка соседнего землевладельца, два жеребенка от ардена того же землевладельца.

И вот, когда так хорошо стало налаживаться — сразу все пошло прахом.

Случилось это осенью, в холерный год.

Из Астрахани пришли рабочие и рассказывали на деревне небылицы.

Говорили, что нарочно морят народ доктора и даже живых в гроб кладут, поливая их известкой. Относительно последнего все клялись и божились, что видели сами своими глазами, как живые выскакивали из гробов и убегали¹.

¹ Дело было в том, что из стоявших в карантине судов некоторые рабочие, боясь карантина, спрятались в гробы и вместе с другими настоящими покойниками были свезены на берег. Там, выскочив из гробов, они, обсыпанные известью, разбежались по городу, наводя панику и порождая нелепые слухи. (Прим. Н. Г. Гарина-Михайловского).

На вопрос: какая цель морить народ, — отвечали, что, ввиду голода, отпущены деньги на кормежку, и что, чем больше народу перемерет, тем больше порций останется тем, кто кормить будет. Народ слушал и волновался.

Волновался и Петр Федорович. Он доказывал нелепость ходивших слухов, грозил полицией распускаявшим эти слухи.

— И не выслужился еще, а старается, — говорили крестьяне.

Жил на деревне крестьянин Авдей с сыном Семеном. Оба они с весны уехали на заработки. Оба были забитые, тихие и жили неслышно.

Среди разгара всевозможных слухов вдруг возвратился Авдей в деревню, а на вопрос о сыне только молча, уныло смотрел на всех, а потом вдруг взвыл и рассказал, что умер Семен от корчей.

Все вещи Семена он захватил с собой и к вечеру сам заболел, а за ним и хозяйка его. И холера пошла свирепствовать по деревне.

Болезнь крестьяне тщательно скрывали от начальства.

Петр Федорович уговаривал позвать доктора, грозил, что сам позовет, и, так как ничто не помогало, действительно поехал и привез доктора.

Доктор, молодой, маленький, тихий, подъехал с Петром Федоровичем прямо к старосте. Когда тот, лохматый и точно заспанный, вышел, почесываясь, доктор ласково, тихо спросил:

— Вот, говорят, у вас больные есть.

Староста угрюмо покосился на Петра Федоровича и нехотя ответил:

— Мало ли что говорят там пустые люди...

Петр Федорович вспыхнул.

— Да что его слушать, — обратился он к доктору, — я сам вам покажу, где больные, где их прячут.

И Петр Федорович дернул вожжи.

Но в первой же избе, куда подъехали доктор с Петром Федоровичем, их встретила толпа крестьян.

— Уезжайте от греха, — угрюмо заговорили они.

— Ах, глупые, глупые, — начал было урезонивать их Петр Федорович, — для вашей же пользы...

— Ладно, ты, умный, — оборвали его крестьяне, — как бы только от большого ума на малый не сошел... Убрайся, пока жить не надоело...

— Для пользы вашей согласен и смерть принять, — ответил Петр Федорович и хотел было слезть.

Доктор удержал его.

— Если они не хотят, что же, не насильно же?

— А что на них смотреть? Идти и конец...

— А вот пойдя, пойдя только...

— Нет, — решительно сказал доктор, — при таких условиях мы бессильны. Вы окончательно отказываетесь меня впустить?

— Окончательно, потому что не было и нет у нас больных.

— И к другим больным не пустите?

— Нет у нас никаких больных в деревне.

Доктор уехал, а на другой день возвратился с полицией.

Произошло столкновение, вызвали войска, которые и положили конец «бунту», наказав розгами человек пятнадцать.

Злобу и бешенство крестьяне сорвали на Петре Федоровиче...

Он был объявлен чем-то вроде врага отечества, народа и мира, словом, человеком, стоящим отныне вне законов.

Через несколько дней после этого хутор Петра Федоровича был сожжен, пчельник разрушен; состоялось постановление схода отобрать от него землю, а сам Петр Федорович в одну из ночей был избит до полусмерти, причем сломали ему несколько ребер, и только потому не добились его, что обморок приняли за смерть. Утром подняли Петра Федоровича и снесли в избу.

Хотя, благодаря колоссальному запасу здоровья, он и выжил, но совсем не оправился: желтый, страшный, кашляющий, остался таким навсегда.

Раздразнился Петр Федорович. Решил потягаться с миром.

— Ох, не тянись, мир — велик человек! Нет силы против мира!

— Он, мир, — все зло, — отвечал Петр Федорович, — вся погибель деревенская. С миром еще тысячу лет пройдет, а все такие же сиволапые оболтусы на дно Блажного друг дружку за волосы тащить будете!

Начал свою борьбу Петр Федорович с того, что заявил по начальству о поджоге, побоях, неправильном захвате его земли.

Относительно земли ему наотрез отказали: и документ был незаконный, и прав крестьяне не имели продавать ему землю.

— Земля ничья! — кричали мужики.

— Ничья! Да ведь выкуп за все мы платим! — возразил было Петр Федорович.

— Спорить я с тобой, что ли, стану? Говорю тебе — закон, а ты рассуждаешь! — заявил староста.

Относительно поджога и побоев было назначено следствие, но оно ни к чему не привело.

Петр Федорович упал духом, поехал советоваться с миссионером.

— Брось ты все это, — посоветовал ему миссионер, — людей не переучишь, а себя погубишь.

— Неужели так и оставить их перемирать?

— А неужто тебе самому за них умирать? Оставь и уйди от греха.

— Уйди я, а другой ведь не уйдет, так и затолкнут его, — голкут друг дружку, как бараны, мнут, так одна каша была, есть и будет, и никто в ней не спасется.

— Да ты-то ведь спасся, — о себе и думай. Держи экзамен на миссионера, а там и в попы. Человек ты умный, начитанный, перед тобой дорога открытая, а ты уткнулся, прости, господи, — в свиной хлев, и нет тебе милее его. Дело, можно сказать, божеское меняешь на самое последнее — человеческое. А все от гордости, да злости, да высокомерия.

Подумал-подумал Петр Федорович и решил держать экзамен.

В своей деревне у отца, в маленькой лачужке, купленной на страховые деньги, засел он за книги и почти не выходил на улицу. А когда появлялась иногда его высокая, уже сгорбленная и мрачная фигура, ребятишки в страхе прятались, потому что сложилась уже между ними какая-то легенда о Петре Федоровиче, как о каком-то замученном, порченном.

Весть о том, что Петр Федорович желает держать экзамен, еще больше раздражила крестьян.

— Все неймется, — говорили они, — все выше людей охота быть. Вы, мол, что? Мужичье серое, а я вот в попы...

Разговоры эти доходили до Петра Федоровича; передавал их ему какой-нибудь бедняк, и Петр Федорович волновался и старался растолковать этому бедняку смысл всего происходившего.

— Ведь это кто говорит так? — втолковывал он бедняку, — говорит писарь, кабатчик, да кто из вашего же брата побогаче, мироеды, — те говорят, кому на руку, чтобы все как есть так и осталось бы: беднеет мужик — меньше сеять станет, дешевле работать будет, больше богатый засеет, совсем петля затянется — еще легче будет вести вас куда угодно: за пуд десятину станете жать, до последнего дойдете, дохнуть будете у пустого пойла, а деться некуда,

иначе, как на их работах. Выкупные сами полностью вносить будете, а землю за полцены им же продадите...

— Этак, этак, — слушал и кивал головой бедняк и уходил, чтобы пересказать обо всем тем самым, кого громил Петр Федорович.

А те, в свою очередь, пересказывали следующим, пока не доходило все это дело до земского.

— Знаю, знаю! Слышу все, слышу, что в каждой избе говорят, — отвечал земский, — слышу, знаю и в свое время, что надо, сделаю.

И аристократия деревни, собравшись где-нибудь под вечер поговорить, говорила друг другу, когда разговор переходил на излюбленную тему о Петре Федоровиче:

— Ну и дрянь же завелась на деревне!

IV

Сдал и экзамен Петр Федорович, и даже место попал или дьякона где-то открылось ему по протекции миссионера.

— Ну, с богом, — говорил ему миссионер, — поезжай теперь к себе, откупись в последний раз от миру... Много, чай, возьмут?

— Да уж сотенный билет сорвут, как пить дать!

— Ну, что делать? И дай... да выходи с божьей помощью на широкую дорогу: был ты овечьим пастухом, будешь теперь человеческим стадом заведовать.

— Да, — вздохнул Петр Федорович, — большой путь, как оглянешься, пройден, а только чего он стоит мне, так-таки и скажу: начинать сначала и врагу не посоветовал бы. Не ваша помощь, погиб бы и я ведь.

Петр Федорович повалился в ноги миссионеру, а тот, поднимая его, твердил:

— Божья, не моя, божья помощь...

Пришел Петр Федорович к себе в деревню и, не откладывая дела в долгий ящик, просил старосту в первый воскресный день собрать сход, чтоб перетолковать об уходе его, Петра Федоровича, навсегда из миру.

— Ладно, соберем, — тряхнул головой староста.

В первое воскресенье сход, действительно, собрался и в ожидании Петра Федоровича томился у избы старосты. От поры до времени перебрасывались словами.

— Не идет что-то, — проговорил один.

— Так он тебе и пришел: это вот ты, лапотный, так с петухом, может, прибежал сюда, а кто в попы смотрит, тот, може, и до вечера не доплетется.

— Смотрит? — подхватывал третий, — смотрю и я вот, как галки летят, да ведь смотри, пожалуй...

— Как говорится, — добродушно заметил тихий крестьянин Василий с улыбкой: — «Так-то так, да вон-то как...»

— Что-то не пойму я, — рассмеялся кривошеей крестьянин Дмитрий, любивший меняться лошаадьми. Рассмеялся, потому что знал, что дядя Василий спроста ничего не говорил.

За Дмитрием и все насторожились, и дядя Василий, прокашлявшись, не спеша стал объяснять скрытый смысл своих слов.

— Это вот мужик задумал зимой в избе сани делать, холодно, вишь, на дворе ему показалось, а в избе тепло...

— Надо лучше, — поддакнул кто-то.

— Делает да все бабу свою пытается: «Баба, — так?» А баба ему в ответ: «Так-то так, да вон-то как». Поработает, поработает да спросит: «Баба, — так?» — «Так-то так, да вон-то как». Так и дальше, пока все сани не кончил. Кончил, спрашивает в последний раз бабу: «Баба, — так?» А баба ему: «Так-то так, да вон-то как». А сама пальцем на дверь тычет.

Василий помолчал, посмотрел на недоумевающее, готовое совсем расплыться лицо Дмитрия, посмотрел на всех и прибавил:

— Дескать, — сани-то ты сделал и ладно, да в дверь-то не протащишь ты их.

— А-а... — обрадовался, поняв, Дмитрий и захохотал. Хохотали все, не смеялся только Василий.

— Либо сани, либо избу уж разбирать, — добавил он ласково и тихо.

И еще громче смеялись, трясли головами и говорили:

— Ну, уж и дядя Василий! Слова не скажет без подковырки.

— Ну, идет!..

Толпа сразу стихла и смотрела, как подходил к ней Петр Федорович.

С широким красным лицом крестьянин, весь обросший светлыми волосами, прищурил свои заплывшие глазки на Петра Федоровича и тихо заметил:

— Высоко летит, где-то сядет?

Петр Федорович сановито подошел и, кланяясь, сказал хриплым от волнения голосом:

— Мир вам, старики!

— Здравствуй и ты, — ответили ему редкие голоса.

— Экзамен я, старики, сдал!..

— Слыхали!

— И приходится мне, старики, просить вас отпустить меня навовсе.

Старики молчали.

— Сколько с меня следует?

— Это так, — перебил его богатый крестьянин Фадей, нервный, высокий, худой, — сколько следует, да сколько следовало, да сколько причтется вперед, да старикам сколько за уважение...

— Вперед-то за что?

— А ты думаешь, выкуп за тебя кто платить станет?

— Кто землей будет пользоваться, тот и будет платить.

— Ну, там будет или не будет, а все уйдут и платить некому будет... Ты свое знай, и всякий пусть знает свое!..

— Ну, да, словом, вы сколько же насчитываете на меня? — начал терять терпение Петр Федорович.

— Да ведь вот... писарь сочтет!..

Писарь прокашлялся и мягким тенорком скороговоркой ответил.

— Тысяча сто семьдесят два рубля тридцать четыре копейки.

Петр Федорович даже попятился и растерянно оглянулся на толпу.

Крестьяне не смотрели на Петра Федоровича, потупились, и стало так тихо, что каждый слышал, как билось его сердце.

— Что вы, что вы, старики, побойтесь бога! — заговорил Петр Федорович.

— А ты думал что ж? — злобно выступил из толпы взвинченный, с тонкой шеей, крестьянин Егор. — Ты как бы хотел? Там в полах себе чай распивать и сладко есть, сладко спать, да и тут еще какой был хомут нам на шею бросить? Нет, уж ладно, и свой-то всю шею протер...

— Да ведь какой же хомут, старики? Тридцать пять лет отец и я платили за землю, две тысячи рублей с лишком выплатили уж. Мне получить с вас эти деньги следовало бы или земли на эти деньги, — я бы землю эту продал да с деньгами бы ушел.

— Деньги к деньгам и были бы, — иронически поддакнули ему.

— Ну, уж бог с ними, и с деньгами и с землей, но за что же еще приплачивать-то мне? Не моя же земля будет?

— Там чья — видно будет!..

— Да что тут за спор начинается! — раздраженно вмешался староста. — Сказано тебе ясно, сколько с тебя приходится, хочешь уходить — давай деньги, нет — стариков не мори!.. Довольно на своем веку поморил!..

— Поморил довольно!..

— Будет чем помянуть!..

— Иуду Искаротского!

— А вы не лайтеесь там! — обрвал староста. — Пустых разговоров нечего заводить здесь, говори каждый дело.

— А дело все сказано от нас...

— Вот и ждем от тебя твоего слова: что ты теперь скажешь?..

— А слово короткое, — взвизгнул кто-то, — согласен — так согласен, а нет — нечего и морить нас!.. Как говорит-ся: семеро одного не ждут!..

Староста опять вмешался:

— Ну, по стойте вы там!.. Пусть он говорит!..

Все уставились на Петра Федоровича.

Петр Федорович стоял напряженный, растерянный.

Он глубоко вздохнул и тихо, покорно заговорил:

— Вижу, старики, сам, что неприятен я вам!..

— Так уж неприятен, — перебил, корча рожн, пришедший недавно из солдатчины, шут Егорка, — что вот этот господин неприятен, — Егорка ткнул ногой в пса, покорно стоявшего возле него с поджатым хвостом, — а ты неприятнсе и его даже...

Толпа завывала от восторга.

— А вы будет!.. — прикрикнул на толпу староста.

Петр Федорович напряженно проглотил слюну и снова заговорил:

— Старики, может быть, я и виноват перед вами?..

— Он, видишь, еще и сам не знает?..

— Ну, пусть буду я виноват, старики! Я принимаю от вас все наказание: был я богат — беден стал, было дело — отняли, был силен, здоров — смотрите на меня — в гроб ведь лучше кладут... Старики, зачтите все это за все мои вины и простите меня, Христа ради, простите, разойдемся и забудем друг друга... Христа ради прошу: простите.

— Да ты-то хоть шапку сними, коли уж просишь прощения.

— И шапку сниму!

И Петр Федорович снял шапку.

— Можно бы и на колени стать, — подсказал кто-то.

— И на колени стану и в землю поклонюсь.

Петр Федорович опрокинул назад голову и, взмахнув как-то вверх руками, упал с размаху на колени, потом на землю.

Он лежал так, когда вдруг слышались его рыдания, глухие, отдававшиеся в землю; его громадное тело тряслось, как в лихорадке.



Толпа, не ожидавшая ничего подобного, затаив дыхание, смолкла на мгновение, но Петр Федорович слишком долго лежал, — бессилье лежавшего вызвало новое раздражение.

— Плакали и мы, когда по твоей милости пороли нас в холеру...

Искра была брошена в порох.

— Плакали, плакали! — раздраженно подхватила толпа, — кровью плакали!

— Поплачь и ты теперь!

Петр Федорович вздрогнул и поднялся на колени, растерянно уставившись в толпу. Страх вдруг овладел им, страх предчувствия, что не выпустят его, страх перед этой толпой, страх человека, попавшего в трясину и поздно понявшего, что не выбраться ему из нее.

Он хотел было встать, но судорога начавшегося истерического припадка свела ему ступни и, с воем вытянув к толпе руки, он пополз на коленях. Толпа с ужасом отшатнулась и уходила от него, а он полз, пока, корчась, не упал на землю.

v

После припадка на улице несколько раз уже в избе, в постели находили на Петра Федоровича припадки такого же ужаса, какой охватил его тогда на сходе. И он снова начинал тогда выть, так же дико, как выл в молодости, когда миром пороли его. Выл и бился, и надо было несколько человек, чтобы удерживать его на месте.

Понемногу и сила припадков ослабела, да и повторялись они реже и реже.

Петр Федорович пришел в себя и начал обдумывать, что ему предпринять.

Требуемых миром денег у него и не было, и нечего было и думать где-нибудь достать их.

Вторично обращаться к миру тоже было бесполезно. И заходившие к нему из бедняков крестьяне говорили, и он сам знал, что мир — волк: что в пасть ему попало, то пропало — проси, пожалуй! Собирался было к земскому, но так и не собрался. Ослабел ли, упал ли духом, но не пошел.

— Что ходить попусту, только унижаться, — там я давно оплетен выше головы.

У Петра Федоровича зародилась другая мысль. Он решил путем печати, путем гласности бороться с миром и открыть всем глаза на то, что делается в деревне.

Он радостно ухватился за эту мысль и твердил всем и каждому, кто хотел его слушать, — твердил опять сильный, полный веры в себя:

— Узнают, все узнают, все узнают... До царя дойдет, что творится здесь... Что крепостная неволя? Там один был, к одному надо было подделываться, а теперь их тысячи господ, да господа какие? Темнее зверей лесных умом, тверже камней сердцами, и не сыщешь их никого: все друг за дружку, а мир за всех! Мир?! Несчастливая вдова придет после смерти мужа кланяться миру, после мужа, который всю жизнь выкупал этому миру землю, а мир за недоимку в пятнадцать-двадцать рублей пускает вдову с детьми по миру... Да еще издевается: «Мир, известно, волк, — что в пасть попало, то пропало». Этот-то покойник, что ж, на мир или на своих детей работал?! Все раскрою, все поймут и узнают, что творится здесь!..

Петр Федорович говорил и писал статью о мире.

Писал долго, исписал большую тетрадь и ушел с нею в город.

— Сам сдам в редакцию и сам на словах еще объясню.

Петр Федорович, придя в город, разыскал редакцию местной газеты и, входя, с замиранием спросил у встретившегося в коридоре наборщика, где можно видеть редактора.

— Редактора сейчас нет, он будет часов в двенадцать.

В двенадцать часов Петр Федорович опять зашел и по грязной узкой лестнице поднялся во второй этаж.

В большой комнате за длинным столом сидели несколько молодых людей.

При входе Петра Федоровича некоторые стали смотреть на него, другие, не обращая на него никакого внимания, продолжали свою работу: кто писал, кто читал газеты и от времени до времени вырезал из них ножницами кусочки.

Петр Федорович ждал, когда кто-нибудь обратится к нему.

— Вам чего? — спросил, глядя на него из-под очков, один из молодых людей.

— Редактора мне надо бы повидать.

— Иван Петрович! — крикнул, поворачиваясь к запертой двери, молодой человек, — к вам!

Дверь отворилась, и вошел полный, бритый, пожилой господин в очках. Он подошел к Петру Федоровичу вплоть, посмотрел на него сквозь очки, потом поверх очков и спросил:

— Вам чего?

— Я хотел бы... статью вот, насчет деревни...

Петр Федорович протянул свою статью.

— Это о чем?

— Насчет мира, — общины, как у вас называется. Все вострепинулись.

— Ого! Интересно!.. Что же, собственно?

— Я вот хотел было поговорить!..

— Ну?

— Где-нибудь особенно.

— Да почему же не здесь? Вы не стесняйтесь, это все сотрудники... Позвольте вас познакомить, — вот... Садитесь... Так в чем дело?

— Да вот в том дело, что уж силы не стало жить в деревне: мир заедает.

— Так ли? — спросил редактор и лукаво покосился на товарищей. — Вы сами — деревенский житель?

Петр Федорович объяснил свое положение.

— Ну, вот видите, — сказал, выслушав, редактор, — вы сами признаете исключительность вашего положения. Вам и простительно с исключительной точки зрения смотреть на вопрос. А вопрос больной, и с одной стороны на него никак не взглянешь... «Община, мир, — как говорится у вас, — велик человек», и об этом великом человеке мечтают народы, до которых куда нам. Что и есть у нас хорошего, так это община, а вам она как раз и не нравится, вам....

— А что ж хорошего в миру?

— Как что хорошего? Что есть хорошего — все там...

— Не знаю... Взятки там, неволя, петлями опутанное стадо. Ленивый за кончик не потянет, куда ему только надо, — связанное стадо, на котором лежи и спи... невежество, из которого и не вылезешь..

— Вы вылезли?...

— Я-то вылез, да вот только, простите, кровью кашляю...

— Кашляют и у нас кровью: вчера только одного похоронили... Вот видите, черной полоской обведена статья — некролог...

— Так, так... Родился я вот в деревне, а что-то не приметил вот, как вы говорите, хорошего ничего в миру. Помоему, от его власти даже хуже, как от барской было... Уж об житье и говорить не станем — ни хлеба, ни скотины, ни денег не стало...

— Этому другие причины.

— Земля мирскими порядками испоганилась так, что голод чуть не каждый год...

— И этому свои причины есть..

— И тянется мужик из последнего, чтобы хлеба добыть, чтобы прикованному у пустого пошла не погибнуть вконец, и тянется, снимает землю у купцов... Те дело свое тонко знают: деться некуда мужику — плати в год, чего и навечно не стоит эта земля. Потребуй он, купец, деньги все вперед — кто бы дал, а и дал бы — нет их, денег. Тут вот и закидывается удочка: давай всего рубль задатку, остальное до урожая. А пока не уплатишь, хлеб сыпь в амбар купцу. Вы, может, ездили когда: посевом сами не занимаются, а в каждой усадьбе амбары, да какие... А в срок не выкупил, — срок к распутию подгоняется, когда цен нет, — по базарной цене хлеб остался у купца, а чего не хватил за землю — под вексель до будущего года. В крепостное время мужичок половину работы делал барину, другую себе, а уж тут вся работа на людей, — крепость двсйная... Вот, мои хорошие, как тут одно из другого выходит...

И Петр Федорович горячо заговорил:

— Нет, вы, пожалуйста, послушайте меня, я ведь не из города, из деревни пришел к вам. У вас вот, говорите, кровью кашляют, — от городской жизни, а я от деревенской кашляю. Сложение мне господь, видите сами, богатырское отпустил, а вот доби́ли до крови. Ни богатства, ни правды нет в мире... Вы подумайте только, вы люди умные, образованные, вы можете понять... В миру ведь вот как: бедный все ниже да ниже, а богатый все выше да выше; бедных все больше да больше, а богатых все меньше да меньше... Богатей всему и хозяин: мужика прижал, кому нужно, займы дал, взятки ведь нынче не берут, и царствует... Оброк, подать, выкуп за него несут, земельку получше забрал да работу зимой сдал... Хорошо, скажем, теперь дошел бедняк до последнего, у пустого стойла стой не стой — ушел свет за очи! Нечего взять с него — может, и отпустят, уходи, пожалуйста! Спрашивается, — на кого работал всю жизнь этот бедняк? За кого работал? Ушел без копейки с семьей, все нищие, — прежде чем на других, на семью, чать, прежде всего поработать. Был бы он городской мещанин, — кузнец там, столяр, на заводе, на фабрике, какого другого звания или сословия человек — все, что он за всю свою жизнь заработал, то и его и закон за него, — только крестьянин должен жить по другому закону, выходит....

— Не так немного! — перебил редактор, — крестьянин, говорите вы, работает для других, и это и по божескому закону так должно быть, а другие сословия работают для себя, и это не божеский закон. Так вот и надо, чтобы и дру-

гие сословия жили по-божески, — надо у них переменить закон, а не у крестьян. У крестьян — он хорош...

Петр Федорович забрал воздух всей грудью и бессильно оглянул комнату.

— Образованные вы люди, и, вижу, высокое ваше образование не позволяет вам понять меня... Вот ведь что: вы вот вольны в своих деньгах, — кому хотите, тому и дали, — дали другому, и слава вам, а не дали — никто вас заставлять не может. А крестьянина может! Почему же одному воля, а другому неволя? Почему я, крестьянин, своему от голода умирающему сыну не могу донести до рта кусок, а вы своему, хоть там другие мрут, все-таки вольны донести и доносить?..

— Ну, положим, есть у меня сын, нет — вы не знаете, да и не в том дело. Дело в том, что везде есть и хорошее, и дурное, вопрос в том, где вот хорошего больше... Вот в общине-то его, оказывается, больше... Вам вот она не нравится, а сто миллионов ею живы... Лучшие, самые образованные люди из таких, которые и жизнь не задумываются отдать за правду, — за нее, за мир... От чего-нибудь это да происходит?

— Может, оттого и происходит, что не знают они, на своем горбе не извели крестьянской жизни, а по пословице — чужую беду руками разведу. Мир, мир... «Мир — велик человек», говорите вы...

— Не мы, а народ!

— Ну, народ-то говорит, да не договаривает, в чем велик он. В другой пословице народ договаривает: «мир — волк, что в пасть попало, то пропало!» А пасть-то человеческими жертвами питается: вдовами да сиротами, да обезземелевшимися, да такими, как я, и жрет, и жрет он, а утроба пустая, как прорва. Мир велик, да на зло велик; на самодурство, на неправду, и не было еще такого лютее барина из крепостных, как мир этот. Мир!.. Мир — волк! С волками жить — по-волчьи выть. Так и воем, так и живем и пропадем. Лучший человек у вас захотел стать лучшим и стал, — вам только радоваться на него, а в деревне лучший как раз худшим и выйдет... Вы хотите писать — вы и пишете — кто вас приневолит землю пахать, свиней пасти? А станут приневоливать — вы, может, тоже худшим и станете, пьяницей станете, негодным никуда, последним человеком станете!

— Вы же вот не стали! Вон и пишете.

— Я-то так... так.. — Петр Федорович оборвался.

Он понял, что не убедил никого, что все слова его пропали даром.

— Так, так, — растерянно повторял он.

Силы как-то сразу оставили его. Точно оборвалось вдруг что-то там внутри и потянуло его в пропасть. Мурашки забегали по телу, и снова стало страшно ему. Он весь дрожал, глаза его налились кровью, и он уже был, полный ужаса, тоскливо, дико, как воеет человек только в кошмаре. Затем начался его обычный истерический припадок. Редактор нервно схватился за голову и крикнул:

— Скорей за доктором... Вот принесло еще...

— Да прямо в больницу его...

В больницу, впрочем, Петра Федоровича не отправили. Он успел раньше прийти в себя и, ничего не помня, мутными глазами с кровавой пеной на губах осматривался на приглашавших его в больницу.

— Вы больной человек, — сказал ему редактор, — вам лечиться надо... Поезжайте в больницу, вылечитесь и тогда приезжайте, — потолкуем тогда еще с вами об общине...

Петр Федорович выслушал, мигая глазами, долго думал и сказал, наконец, хриплым, разбитым голосом:

— Домой поеду... Статью прочтите...

Он поднял рукопись с полу и протянул ее редактору.

— Поправитесь, тогда и статью прочтем, — потрепал его редактор по плечу, — а вот и ваша шапка...

Петр Федорович встал.

— Ну, вижу, сконфузил я только себя перед вами: петля и тут вышла... Вот что, книжку я такую читал: Антон Горемыка... Думают, нет его больше на свете, — голос его дрогнул, — а что есть и хуже его — не знают. Ох, не знают ли? Не знают, узнать можно... Знать не хотят!.. Вот чем хуже нынешнему-то горемыке. И что ему делать? Умереть? К вам прийти?! — Петр Федорович мучительно вытянул шею. — Так ведь в больницу отправите...

Голос его оборвался, судорога свела ему лицо. Плотнo сжав губы, как сжимают дети от подступивших слез, он замотал головой и, махнув рукой, разбито и тяжело пошел к выходу.

Добравшись домой, Петр Федорович слег и больше не вставал.

Перед смертью его, по его просьбе, навестил его миссионер.

— Не жилец я больше, — говорил ему Петр Федорович, — сила вся ушла. Ну, да что об этом!.. Люди по острогам да на каторге, да на больших дорогах жизнь кончают, а я все-таки вот... в кровати... Отошло сердце, и нет во мне больше зла... Скучно вот только так — лежать да смерти дожидаться... Читаю божественное, а другой раз

и на светское чтение потянет. Давали вы прежде мне: нет ли еще каких из истории?

Миссионер прислал ему несколько книг.

Больше других понравился ему Дон-Кихот.

— Да, вот у каждого свое, — рассуждал он, — а все-таки до чего люди могут в фантазии ударяться: и видит, что мельница, а сам себя уговорит, выходит не мельница. А то в руку сыграет, можно сказать, самым последним ворами, грабителями... А грех сказать, — человек хороший был и добра людям желал...

В одной книжке Петр Федорович прочел:

«Право личности — священнейшая хоругвь, отстаивать которую человек обязан ценой жизни».

Он долго думал и, вздохнув, сказал:

— Хорошо пишут...

В одно пасмурное, скучное утро, когда дождь мочил землю и вода струйками буравила потные стекла, нашли Петра Федоровича мертвым.

В полумраке нищенской лачуги лежало громадное желтое тело на грубо сколоченной кровати. Мохнатая черная голова склонилась набок, костлявая, уродливая в сгибах пальцев рука откинулась и застыла на книгах, беспорядочной грудой сложенных тут же на табурете.

БАБУШКА

1

Большое место. Больше остального города. И все огорожено высоким кирпичным забором. Забор окрашен краской и разделан белыми полосками под кирпич. Главный дом в два этажа, такой же кирпичный и с такой же разделкой, выдвинулся и угрюмо смотрит сверху на город, большую реку, широкой стальной лентой теряющуюся в мгlistой дали синих лесов. Ворота тяжелые, с пудовыми скобами и с большими висячими замками. Калитка рядом. Она отворена, и виден мощный двор, кругом двора строения, — тяжелые, прочные, все на замках. Дальше другой двор, где фабрика, ряд высоких труб, снует озабоченный народ, тянутся обозы кож — сырых, выделанных.

Сама бабушка осмотр делает. Заглядывает во все закоулки. Остановится, спросит, выслушает, сделает замечание и — дальше.

Сзади бабушки тяжело шагает желтый, как тесто и такой же сырой внучек — Федя, двадцатидвухлетний парень.

Глаза у него ласковые, задумчивые, шея короткая. Бабушка косится на него, на толпу приказчиков, идет и думает свою заветную думу.

Внук не в бабушку. Шестьдесят лет ей, а стройна, как девушка, лицом суха, глаза большие, черные, голова повязана черным платком. И теперь красота видна, а в молодости первой красавицей на две большие реки, Волгу и Каму, слыла.

Что красота! Так умна бабушка, как и мужик редко бывает, и твердо ведет большое, на пять губерний, кожевенное дело.

И ни одного худого слуха про бабушку не было и нет. Тверда в старинном благочестии, и без ее воли не то что попа — архиерея не посадят.

Уезжала бабушка и целый месяц была в отлучке: внуку невесту искала.

Приехала, в бане помылась, в часовне обедню отстояла, завод теперь осматривает, обедать сядет, после обеда поспит, а потом за внуком пошлет и объявит ему его судьбу.

Федя одет по-городскому, идет за бабушкой, добродушно посматривает на ее старомодный костюм и угадывает, что-то скажет она ему.

Со вчерашней гульбы с приказчиками голова его тяжелая, да и вообще неохота о чем-нибудь думать: пообедать да спать, а вечером, когда бабушка уляжется, — к ребятам... Эх, и весело же пожилы без бабушки!

Подошли к дому, остановилась бабушка на крыльце, оглянула всех и сказала:

— Ну, хоть и не так-то в порядке, как надо бы, да бог с вами на этот раз: приходите все обедать — икорки да рыбки, да соленьев из далекой стороны привезла.

Весело загудела толпа, угадывая истину.

Старший приказчик сказал:

— Дай бог, Анфиса Сидоровна, чтоб далекая да чужая сторона — близкой да родной стала.

Все весело смотрели на Федю; а он, как девушка, покраснел и глаза потупил.

И бабушка смотрела на него.

— Воля божия...

Бабушка ушла, а по заводам молнией разнеслось: женят наследника. Свадьба, гулянье, женится — дети пойдут, обеспечится дело, а с ним кусок хлеба тысячам.

Проснувшись после обеда, бабушка позвала не внука, а няню покойного своего сына.

В низкой комнате, с большой изразцовой печкой и лежанкой, с божницей во весь угол, со столом, покрытым

скатертью, поверх которой стояли теперь самовар, сушки, крендели, — пахло травами, лампадным маслом, свечами из чистого топленого воска, — пахло стариной, миллионами, десятками миллионов.

— Ну, садись, слушай, — все тебе выложу, и суди меня: умно или глупо я сделала дело. Первым делом в Елабугу я поехала к сводному брату. Два дня погостила, — примечательного ничего, и дальше. Ну, словом, Каму изъездила, Вятку изъездила, Белую — там-то и вовсе опустел народ, — тут в Перми заметила одну, хотела уж было к ней ехать, да все слышу то тут, то там — про Кунгур мне шепчут...

— Коренного благочестия сторона, — вздохнула нянька...

— Дочь лесовика. И лесам счету нет, и деньгам, и сама-то красавица писаная, и семья старого благочестия, хоть уж не очень так, не до дикости: дочка, как мой же, по-городскому одевается. Бежим мы по Каме пароходом, — я уж, значит, порешила было в Пермь ехать, — снится мне сон, что в лесу я. Ели высокие, до неба, мохнатые, иду я, оглядываюсь, без дороги...

— Страсти-то какие! — снова вздохнула нянька.

— А ты слушай, то ли будет еще... Вдруг прямо на меня медведь, — аграмадный, на задних лапах, прямо на меня. Хочу я крикнуть — нет голоса, а он навалился на меня да мордой тычет в лицо, тычет, а морда мохнатая да мягкая...

— Это к добру: это свой же домовой по тебе соскучился...

— А тут человечьим голосом, да как из ружья: Федю.

— Вещий сон...

— Ну вот: пришла я в себя, стала соображать и проехала прямо в Кунгур... Ну, вот что я тебе скажу: живут проще нашего, а капиталов там, имущества не меньше, и одна, как перст божий... Матрена... Девка — не хуже, как я была...

— Ну, быть этого не может...

— Сама увидишь.

— И увижу, не поверю: не было и не будет красавицы против тебя...

— Ну, пусто толкуешь... Высокая, статная, коса как канат якорный, шея длинная, кряжистая, лицом красавица, брови дугой, глаза серые, — диво, а не девка. В баню с ней ходила, все высмотрела. Бедря — во! Тройню, и то не крякнет, родит... Ну, спеси маленько будет, нрав есть, да ведь я не такая ли была? Вахлаку-то нашему только

польза. Так уж во всем роду ведется: бабы верховодят. В одном только и верх их: и мать его, и я, и мужнина мать — ведь все бабы какие? Шеи длинные, а перебить не можем их род: как ни уродится, опять шея короткая... глядишь: опять к тридцати пяти годам, когда только и жить бы, нальется и лопнет, как гнилой пузырь.

— Бог милостив, — вздохнула нянька, — новая-то, может, и перебьет... Вишь, медведь тебя мял, у себя в лесу — зрде того, что на свою линию перевернул дело...

— Дай бог, дай бог. Ну, что ж, как, по-твоему: хвалить или ругать меня надо?

— Ну, ругать... этакую умницу: какое дело сделала. И своего девать некуда, а тут столько же еще, да и пава сама при том... И намучилась же, поди! устали тебе нст... по заводам пошла, туда, сюда: как молоденькая ровно... Фу, фу, чтоб не сглазить только...

II

Внук, хоть и знал, что бабка ему скажет, тсм не менее известие так на него подействовало, что не захотел он и к ребятам идти, а прямо от бабки прошел в свою свстелку, сел там у окна и задумался.

И знал он, что все так и будет, и ждал, а как случилось, как будто и не ждал и не гадал. Все сразу переменялось, и он сам словно другой вдруг стал.

Солнце садиться хочет и точно остановилось вдруг, и все остановилось, как и в нем, и сидит он и, неподвижный, смотрит, как блестит в огнях река, как загорелись прозрачные тучки в небе, как тихо стало и задумалось все вместе с ним...Песню где-то запели... Где он слышал эту песню? Он сам играл ее... Давно. Когда готовился в гимназию и жил у учителя.

Тогда, когда играл он ее, был вечер. Весна была, цвели черемуха, сирень. Окна были раскрыты. Темно было в комнате, только месяц светил. Он играл, а племянница учителя Паша стояла перед ним и слушала. Играл эту песню, а потом свое заиграл и все смотрел ей в глаза, как в ноты, и играл.

Он умел играть, играл с детства: единственное его дарование.

Звуки лились, наполняли маленькую комнату, вырывались через открытые окна в сад, где стоял май; светлая пыль стояла над садом, и месяц сиял жгучий, такой жгучий, что будто таял вокруг него освещенный кусочек голубого неба.

Он перестал играть, и стало тихо, так тихо, что слышно было, как билось его сердце... В саду щелкал соловей, и, как пьяный, говорил он Паше:

— Хорошо ли играл я?

Паша тихо ответила:

— Хорошо.

Он взял ее руки, наклонил к ней лицо и еще тише спросил:

— А меня любишь ты? Хочешь быть моей женой?

— Хочу, — шепнула Паша.

На другой день Федя с рассветом укатил в свою деревню и написал оттуда два письма: бабушке и Паше.

Бабушке он писал:

«Дражайшая бабушка, Анфиса Сидоровна! Уведомляю вас прежде всего, что молитвами вашими, слава богу, нахожусь в добром здравии. Уехал же я в деревню и экзамена не держал, так как всю грудь мою разломило, и доктора стали даже опасаться чахотки и велели мне все науки бросить, если не желаю скорой смерти. Так, если за ученье надо в гроб ложиться, так лучше же хоть дураком, да жить на этом свете. А, впрочем, ежели вы непременно настаивать будете, то буду держать экзамены осенью. По хозяйству все благополучно. Сидорыч орудует здорово и мужикам в обиду себя не дает. Я тоже, как сумею, буду ему помогать. Нижайше кланяюсь вам и прошу вашего благословения и буду ждать здесь, в деревне, ваших дорогих писем. Вам известный внук ваш Федор Овчинников».

Второе письмо было к Паше. Там, между прочим, писал он: «Паша, я люблю тебя, и ничего мне другого в жизни не надо. Я уже знаю, что и ты меня любишь. А любишь, так мы женимся и будем жить здесь в деревне. Ведь через два месяца исполнится мне 18, и тогда я женюсь, и потом уж никакая бабушка ничего с нами поделывать не может. Эти два месяца надо протянуть, только, храни бог, чтоб не узнала бабушка. Я для отвода написал уж ей письмо: вру там про чахотку и прочую канитель развожу насчет ученья. Какое уж тут ученье, Паша, любимая моя, дорогая, когда теленок кричит сейчас — мать зовет, а земля зовет, чтоб пахать ее, а мое сердце зовет тебя, а в сад выйду, соловей спрашивает: «Где Паша?» С горя сяду играть и забуду все».

Написав письма, он задумался и слушал, как бляели овцы, мычали коровы, звонко кричали бабы и ребятишки, шумела весенняя вода по оврагам, пахло вспаханной землей.

Он положил письма в конверты и отправил их.

И вот до сих пор никакого ответа от Паши. Как будто во сне все это случилось.

Пропал и учитель, и Паша: как в воду канули. Ездил он к ним и в город: уехали... Уехали куда? Почему? Сначала болело сердце, и плакал он, а потом изжилось. Бабушка не настаивала больше на ученье, стала исподволь к делу приучать его; начал он с молодыми приказчиками гулять, — так и пошло все своим чередом, когда сидит он и смотрит в окно, как там за деревьями сада загорается вечерними огнями небо, сверкает красная, точно пожаром охваченная река, и стоят на далекой горе одинокие, будто черные, деревья. Смотрит он, и щемит сердце сладко и больно.

III

Свадьбу сыграли веселую. Денег бабушка не пожалела, и зажили молодые.

Даже нянька признала, что другой такой красавицы не сыщешь.

Не только нянька, весь город кричал о красоте молодой.

Ее богатство, бриллианты, наряды еще сильнее подчеркивали эту красоту. И везде она была желанной гостьей, щедрой благотворительницей, замкнутая в себе, загадочная. Рядом с нею шагал добродушный, толстый, молодой увалень, ниже ее ростом — ее муж.

Как относилась она к нему? Он благоговел перед ней, — это все видели, а что она к нему чувствовала, того никто, даже сама бабушка не знала.

Бабушка, пытливо наблюдавшая свою невестку-внучку и дома, и в обществе, качала головой и говорила своей напернице:

— Умная, загадка-девка, недотрога. И думаю: Федюшке за ней горя не ведать.

Третий год проходил, а детей у молодых не было. Бабушка тоскливо думала: «Еще несколько лет, и лопнет Федюшка — тогда что ж? Конец всему? Все эти фабрики, заводы, все, что столетним трудом наживалось, копилось, — пойдет прахом... Чужим достанется? И само имя ее унесет время, как ветер уносит засохший лист». И эта мысль буравила бабушку и холодом могилы охватывала ее. Все средства, какие знала, испробовала она; с кем ни советовалась — ничего не помогло. Жаловалась она няньке:

— Эх, захватило меня всю это дело. И чую: либо я его сломя, либо оно меня в гроб загонит. Какие, казалось, де-

ла были, шутя распутывала, а с этим, что больше думаю, то больше запутываюсь!

— Вижу, вижу, что сохнешь ты, — тяжело вздыхала нянька.

Еще прошло некоторое время, и бабушка решилась.

Она позвала к себе невестку, усадила ее в кресло, заперла плотно дверь и заговорила:

— Слушай, девка, полюбила я тебя, как дочку. Всем ты взяла, всем ты угодила мне, — всего моего богатства наследница — ты. Но что ж ты внука мне не даешь? Внука хочу... Хочу внука! Откуда хочешь бери! Поезжай с мужем на богомолье, поезжай, куда хочешь... Внука, внука мне! Слушай: ты девка умная. Вот какое дело стряслось раз. Расскажу тебе то, что и попу на исповеди не рассказывала. Запутался мой покойный муж. И не велики деньги, да к сроку, — банков всяких не было еще тогда, — выходило полное разорение. На восемьсот тысяч векселей, завтра платить, а платить нечем. А была я в свое время не хуже тебя, девка, и знала себе цену, и того старика знала, у которого те векселя. Вечер пришел, ничего не придумала, значит, позор. Вот перед этими самыми образами упала я на колени, помолилась, накинула платочек, да никому ни слова не сказав...

Бабушка наклонилась к молодой девушке и шепотом прохрипела:

— Все векселя и сейчас вон в том комоде... Вот как я спасла состояние роду... а теперь самый род надо спасти. Уж так, видно, на этом роду и написано, чтобы он бабами держался.

Бабушка кончила, а невестка, неподвижная, с опущенными глазами, как статуя, слушала и молчала. От ее молчания бабушке стало жутко и холодно.

— На богомолье поеду, — наконец сказала она, встала и вышла.

Бабушка растерянно сметала крошки со стола, подходила к образам, оправляла лампадки, смотрела из окна на реку, на которую больше полувека смотрела, и мучительно рылась в своих мыслях. Лучше или хуже вышло, и что там в скрытной душе ее внучки таится?

IV

Большой волжский пароход готовился к отплытию вниз по реке. В рубке первого класса сидела бабушка, провожавшая своих молодых в дорогу. Забрались на пароход спозаранку. У молодых был попутчик: ехал в свое имение

товарищ внука, Петр Маркелович Сапожков. Тоже из купцов, из богатых, на своих ногах уже, — весельчак и кутила, которому бабушка потому многое спускала, что рос он вместе с Федюшкой, и в детстве, бывало, не выходил из ее дома.

С Сапожковым ехали еще двое, тоже попутчики: актер и актриса. Актриса ушла в каюту, а актер разговаривал с Сапожковым. Бабушка как увидела актера, так и впилась в него глазами: такого молодца еще и не видывала она.

Бритый актер, высокий, статный красавец, одетый с иголки, с римским носом, красиво изогнутым ртом, говорит Сапожкову снисходительно мягким баритоном:

— Пойми же: совершенно невозможно...

— Нет, уж если ты приятель, — настаивал Сапожков, — то ты прямо говори, почему не можешь заехать ко мне в именье?

Актер с высоты своего роста снисходительно смотрел на красивого, но не вышедшего ростом Сапожкова и, усмехаясь, говорил:

— Чудак ты, и между приятелями не все говорится.

— Почему не все? — Сапожков заметил пытливый взгляд бабушки, обращенный на актера, скорчил лукавую физиономию и сказал вполголоса актеру: — Видишь эту старушку: эта молодая за ее внуком... Теперь два капитала их соединились, — всего миллионов шестьдесят.

Актер потерял на мгновение свое величие и даже пригнулся к Сапожкову.

— Не может быть?! Что ж они делают с деньгами?

— Ты думаешь — глаза ими протирают?

— Ты за правило, любезный, раз навсегда возьми себе: думать только за себя. Я спрашиваю тебя: что они с деньгами делают?

— Что делают? Они сами по себе, а деньги сами по себе. Деньги работают. Фабрики, заводы, именья, лесное дело: оборот большой, денег много надо.

— М-да, это значит, не наличными?

— И наличными несколько миллионов найдется.

Актер вздохнул и равнодушно ответил:

— И это недурно.

— Ты бы их живо пристроил?

— М-да... в сторожа к своим деньгам во всяком случае не нанялся бы...

— Ха-ха-ха... Актер, так актер и есть: сразу такое слово скажет, что как бритвой... Чик — и нет бороды, чик еще — и усов нет, третий чик — и миллионы туда же.

И Сапожков заливался веселым смехом.

Актер смотрел на него снисходительно, смеялся мелким «хе-хе-хе» и говорил:

— Веселый ты человек, — ей-богу...

— Нет, нет, ты смотри, как бабушка тебя меряет: я к ней побежал.

Он с эффектом опустился в кресло около бабушки, ушел совсем в кресло и даже ногу за ногу заложил.

Федя с женой сидели поодаль, Федя робко, с слегка открытым ртом, почтительно следил за товарищем и старался угадать, о чем он говорит с бабушкой.

— Что за человек будет? — спрашивала бабушка Сапожкова, указывая на актера.

— Столичных театров артист, Анфиса Сидоровна, и талант! Цветами его засыпали. Сколько подарков...

— Ну, это там его дело. Он, что ж, по облику ровно не русский: темный с лица?

— А не знаю я... Да можно самого его спросить... Эй, Александр Николаевич, пожалуйста, — а на движение бабушки Сапожков успокоительно ответил кивком головы и шепотом прибавил: — мы с ним дружки, на «ты».

В это время подошел Александр Николаевич Сильвин.

— Вот, позволь тебе представить... это — бабушка моего товарища; Анфиса Сидоровна интересуется, откуда ты родом.

— Вам угодно знать мою родословную?

В это время вышла миловидная актриса Марья Павловна Львова, и Сапожков, бросив скороговоркой Сильвину: «садись на мое место», побежал к ней.

Сильвин, сев в кресло, как актеры сидят на сцене, когда изображают воспитанных, из общества людей, говорил бабушке:

— Э-э... изволите ли видеть, моя фамилия, сударыня, собственно: Сильва... Э-э, — он выдвинул нижнюю губу, — я происхожу из венецианской семьи маркизов Сильва... Вы изволили быть в Венеции?

Бабушка сдвинула брови:

— Это где же?

— Это далеко отсюда, не в русской земле... Может быть, изволили слышать: венецианские кружева?

— Одним ухом слыхала.

— Ну, вот... кроме кружев, там есть Дворец дождей, в нем портреты всех дождей... Вот один из моих предков и висит там...

— Его за что же это?

— Э-э... он вел очень удачную войну с маврами...

— В этом городе какой же народ живет?

— Итальянцы.

— Вы из них и будете?

— Собственно, мать моя из старинного русского рода... Э-э. И ростом с меня... сейчас жива, бабушка еще жива... я, конечно, уже русский. Крестил меня русский поп. Ну, сам я хоть в церковь и не хожу, но все-таки православный.

— Что ж? В той стороне все такой же, как вы, народ?

— То есть как?

— Такой же крупный?

— Э-э, как вам сказать... Тут, знаете, много значит разная порода. Такие дети всегда будут и здоровее, и крепче.

Бабушка вспомнила о своих коровах, выписанных из Англии, об отличном приплоде от них, который продавала по сто рублей за трехмесячного теленка, и сказала:

— Это ты верно говоришь... А далеко изволишь ехать?

— В Ростов. Но хочу по Волге прокатиться.

— Вот и мои тоже вниз бегут.

— А... По делу?

— На Илек — к старцам... по детскому делу... не дает бог детей.

— Гм... Странно: молодые, красивые люди...

— Вот, поди ты... Не даст господь... Не помогут ли старцы.

Александр Николаевич покосился на бабушку, хотел было сказать какую-то пошлость, но только вздохнул и заметил:

— Жалею, что я не старец.

— А что?

— Тоже молился бы, чтоб такой красавице бог детей дал... Вот зовет меня Петр Маркелович к себе в имение. Имение у него хорошее?

— Плохо ли имение: в одном парке заблудиться можно, оранжереи, персики, ананасы свои.

— Хорошо бы и вашим молодым заехать перед богомольем повеселиться.

— Их дело, — сухо ответила бабушка, — если позовет Петр Маркелович, да надумаются они...

Петр Маркелович ушел на корму с Марьей Павловной, где их и нашел Сильвин.

— Вы уж извините, Марья Павловна, если мы вас оставим на минутку, — проговорил Сильвин, отводя Сапожкова в сторону.

— Я уж все заказал и шампанское велел заморозить, — начал было Сапожков.

— Не в этом дело, — перебил его Сильвин, — я бабушке сказал, что еду к тебе; тут молодые подошли, и, по моему, как-то неловко выйдет, если ты и их не пригласишь.

— Ах, я телятина! Бегу...

— Постой. Видишь: ты тогда спрашивал меня, почему я не могу заехать... Я не хотел было говорить... Дело в том, что у меня в Саратове назначено свидание с одним господином, который должен мне передать две тысячи... Э... э... ты понимаешь; человек он ненадежный, — сегодня есть у него деньги, а завтра не будет. Не приеду я в назначенный срок, — рискую остаться без денег.

— Так тебе дать их, что ли?

— В таком случае дай.

— Ты бы и сказал: дам, конечно. На какой срок?

— Ну, полгода.

— Идет... Побежал я звать молодых.

Сильвин же подсел к Марье Павловне, положил свою широкую руку на ее и сказал:

— Моя дорогая, вы мне можете очень и очень помочь... Э-э... дело в том, что этот Сапожков соглашается ссудить меня двумя тысячами... Эта сумма дала бы нам возможность после Ростова побывать за границей. Как вам улыбается эта перспектива?

— Очень.

— И прекрасно. Но для этого оказывается необходимым заехать к нему в деревню, так как он, как настоящий сын своего народа, деньги, очевидно, в кубышке держит или в каком-нибудь старом голенище. Что делать! Потеряем сутки... Имение, говорят, у него к тому же прекрасное.

Сильвин ласково сжал руку Марии Павловны и, глядя куда-то вдаль, бросил:

— Будьте с ним поласковее.

Но Марья Павловна так энергично спросила: что это значит? — что Сильвин поспешил прибавить обиженно:

— О, господи, да решительно ничего не значит... Ну, внимание, разрешение поцеловать руку, ну, э-э... создать иллюзию человеку...

И уже совсем тихо и брезгливо прибавил:

— Не будем же хоть мы изображать из себя мещанский тип мужа и жены: кому надо знать о наших отношениях? Вы знаете, какого я мнения об этом: всякая огласка только пошлит, это должно быть так же сокровенно, как человеческая мысль. А такой флирт только отвлечет...

— Ну, согласна...

Он поцеловал ей руку и встал, потому что сверху неся уже третий свисток.

Бабушка, грустная, уже сходила на конторку.

— Не хотят мои ехать, — пожаловалась она Сильвину.

— Может быть, еще уговорим. Во всяком случае прощайте, милая бабушка, я буду очень рад и счастлив когда-нибудь еще раз встретиться с вами... Я простой человек и откровенно вам скажу, что в первый раз вижу такой тип... э-э... такой тип человека старых устоев... Ну, дай же бог всего хорошего: чтобы ваши заводы работали без перерыва и вдвое; коровы давали молока... ну, бочками там, что ли; чтобы радовали вас ваши внуки, правнуки, праправнуки...

— Ну, этак ты меня заговоришь, и я останусь на пароходе. Хорошим людям и мы рады, хоть ты там и вышел не из русской земли...

— Везде бог, и везде люди, — говорил своим ровным баритоном Сильвин вдогонку бабушке.

Бабушка стояла уже на конторке, и напряженная неотступная мысль буравила ее голову. Она глубоко вздыхала.

— О чем еще может вздыхать эта женщина? — говорил Сильвин, обращаясь в это время к Сапожкову. — Все судьба дала ей. Воображаю ее в молодости.

— Вот такая же была, как теперь внучка.

— О, внучка — это прямо чудо природы. Какое сочетание величия, женственности, красоты. И кто б мог думать, что из этих диких лесов может выйти такая фея. Я смотрю на нее и чувствую запах, аромат, свежесть этого леса (он возвысил голос)... — в майское яркое утро, когда еще роса сверкает на листьях, и нега кругом, и лучи золотой пылью осыпают там дальше непроходимую чащу, полную чар, манящих, неведомых, полных таинственной загадочности. О, с ума можно сойти!

Он повернулся к Матрене Карповне и сказал восторженно:

— Я удивительно люблю ваши леса, я обожаю их! Я готов дни, ночи напролет ходить там, думать, бог весть о чем мечтать. Удивительно! Вам не совсем хорошо видно: с тех мостков вы лучше увидите.

Матрена Карповна поднялась с Сильвиным по мосткам. Там, на верхней палубе стояли они одни, высоко над всеми, над всей рекой, спокойной и плавной, над маленькой конторкой, уже исчезавшей за поворотом, где была еще бабушка и крестила их двуперстным крестом.

Обедали, шампанское пили, тосты провозглашали.

Александр Николаевич был в ударе: декламировал, рассказывал в лицах и, по обыкновению, овладел общим вниманием.

Разошлись до того, что после обеда Сильвин и Сапожков стали прыгать через стулья. Сперва прыгали через один, а потом поставили стул на стул. Сильвин перепрыгнул, а Сапожков вместе со стульями полетел на пол.

Пока обиженный Сапожков, растирая себе ногу, стоял у окна, Марья Павловна упрекала Сильвина.

— Ну откуда же я знал? — говорил он с своей обычной интонацией. — Он же говорил, что брал уроки гимнастики.

Это обстоятельство на время расстроило компанию. Сапожков ушел к себе в каюту, ушла и Марья Павловна, а Федя сел за рояль. Стоило ему только дотронуться до клавишей, как полились звуки, и Федя, по обыкновению, забыл все на свете.

— Какой, однако, он у вас артист, — заметил Сильвин, присаживаясь возле Матрены Карповны.

Вышла Марья Павловна. Сапожков появился, и все вместе с Матреной Карповной и Сильвиным ушли на палубу.

Ровно, усыпляя, шумел пароход и мчал вниз по течению. Проносились берега, покрытые лесом; гористые, далекие поля, как шахматные доски с черными, зелеными, белыми и желтыми шашечницами. В высокой синеве парил орел, а из открытых окон рубки неслись нежные звуки мелодичной фантазии молодого артиста.

Он играл и машинально смотрел в окна, как вдруг глаза его остановились и дыхание захватило в груди.

Он увидел Пашу.

Паша, живая, стояла перед ним и смотрела, как смотрела тогда, в тот вечер.

Руки задрожали у Феди, он сбился было, но, пригнувшись к роялю, опять заиграл, не отрывая больше своих глаз от клавишей.

А мысли, воспоминания бурно, с необычной быстротой проносились в его голзве.

Паша... Откуда она взялась! И как смотрела! Как бы с ней хоть словом, другим перекинуться, узнать, по крайней мере, что так и осталось для него навсегда загадкой?

Пароход между тем уже подходил к пристани, где надо было сходить Сапожкову, и они вдвоем с Сильвиным

усердно уговаривали Матрену Карповну согласиться и поехать в именье.

— Ну, вот что, — настаивал Сапожков, — хоть на минутку заезжайте: пароход два часа стоит, а усадьба от города и версты не будет, да до города не больше трех. Вот и лошади, — на этой тройке тридцать верст в час уедешь. Ну, ради бога, ну, я на колени встану: Матрена Карповна, голубушка. Царица милостивая!

Сапожков действительно упал на оба колена и обе руки поднял к небу.

— Я тоже готов умолять. — И Сильвин картинно уже опускался на одно колено, когда Матрена Карповна милостиво изъявила свое согласие. Сапожков со всех ног бросился к Феде.

Сапожков возвратился скоро и принес удививший всех ответ: «Поезжайте сами, играть хочу».

— Что ж, господа, — сказал Сильвин, оглядывая всех, — не будем безжалостны; надо войти в положение артиста: эти муки и радости, — то, чем живем мы, — он так чудно передает звуками, что ему грех мешать.

VI

Федя остался один на пароходе и, играя, опять смотрел в окно. Но Паша больше не подходила.

Он перестал играть и встал.

Солнце село. День кончился, но свет электрических лампочек еще борется с последними отблесками вечерней зари. В противоположном зеркале отражается берег реки, охваченный бледным замирающим просветом запада, но из окна на юг уж глядит синего бархата темный вечер, теплый, мягкий.

Федя вышел на палубу.

Он шел и внимательно всматривался в сидящих на скамейках. Он издали узнал Пашу и долго стоял, не решаясь подойти.

— Здравствуйте, — чуть слышно раздалось над ухом Паши.

Она повернулась к нему, он подсел, и так же, как шесть лет тому назад, они опять сидели вместе и, казалось, никогда не разлучались.

Федя узнал то, что было для него до сих пор загадкой. Он перепутал тогда письма: бабушкино получила Паша, а Пашино — бабушка. На другой же день тогда к ним приехала сама бабушка, долго говорила с дядей, и через

два дня, когда они уехали из города, дядя сказал Паше, что Федя отказался от нее.

Федя слушал, наклонив голову, и, когда Паша ковчила, он не знал, о чем говорить... Все сделано, он женат уже, — и такой далекой казалась Паша в своей скромной шляпке, темном платье. К тому же каждую минуту могла приехать жена...

— Эта высокая красавица — ваша жена? Дал бог вам счастья.

Но что это? Пароход уже отходит. Он бросился в рубку, в каюту — жены нет. Он выбежал опять на палубу; знакомые голоса кричали ему с конторки.

Это они: жена, Сапожков, актеры. Они кричали ему, что опоздали; кричали, чтобы со следующей пристани он ехал назад и тогда к четырем часам ночи приедет, что лошади будут ждать его у пристани, что захватил бы вещи актеров; еще что-то кричали, но он не слышал, потому что колеса уже хлопали во воде, и машина-пароход с сотнями разноцветных глаз в мягкой синеве ночи уже уползал на средину реки.

VII

Компания на берегу опять села в экипажи и уехала назад в усадьбу. Там ждали их с ужином, с иллюминацией; горели в саду и в парке фонари, жгли костры, и громадная усадьба, казалось, поднялась на воздух и качалась там, в волнах света и дыма.

— Но это очаровательно, это волшебно, — говорил Сильвин, стоя в красивой позе на террасе. — Господи, как живут здесь люди! Боже, как живут! Даже страшно подумать. — И он сделал страшные глаза и картинно поднял руки.

Тут же на террасе и ужинали.

За ужином снова пили шампанское и говорили тосты.

Говорил все тот же Сильвин.

— Я уже сказал двадцать тостов и, право, не знаю, милостивые государыни и милостивые государи, что еще сказать, чего еще можно пожелать счастливому обладателю этого волшебного замка... Я желаю разве, господа, чтобы настало, наконец, время, чтобы в таких же замках жила бы вся Русь.

— Ура, ура! — кричал захмелевший Сапожков. — Уважил... Спасибо тебе! Спасибо: русского человека не забыл! Господа, еще раз за здоровье высокоталантливого артиста.

Он обнимал за шею Сильвина, и тот, снисходительно мыча, наклонялся к нему и лобызался.

— А теперь, Александр Николаевич, благодетель, еще что-нибудь расскажи, — приставал к нему Сапожков.

— Кажется, все уже...

— Ну, все! Сто лет будешь говорить — всего не перекажешь..

— Гм... Ты думаешь?..

Сильвин задумался...

— Ну, уважь, пожалуйста!

— Изволь... Но я вперед прошу извинения у дам. Может быть, они извинят меня, приняв во внимание количество выпитого; может быть, если будут терпеливы и дослушают до конца, убедятся в чистоте моих намерений. Во всяком случае, я рассчитываю на снисхождение... Я рассчитываю на то, наконец, что завтра мы расстанемся и, может быть, навсегда. При таких условиях люди иногда охотнее открывают друг другу свои души. Душа — та же книга... Раскрыть ее, перелистать несколько страниц... Если собранию не наскучило, я предлагаю рассказать одну из таких страниц моей жизни, без лжи, а так, как это действительно случилось. Это ведь только и интересно, а не фантазия писателя: самая яркая из них ничего не стоит перед оригиналом всякой фантазии — жизнью... Я ехал однажды на пароходе. Я не старик, господа, нет: я клеветал бы на себя, если бы утверждал противное, но тогда я был еще моложе... Под вечер на одной из пристаней села дама — молодая, интересная. Это ведь сразу чувствуется. В эту даму я влюбился мгновенно, после первого взгляда. Влюбился безумно, и вот почему я всегда смеюсь, когда читаю, что влюбиться можно, во-первых, не иначе, как исписав несколько печатных листов, и, во-вторых, только после выяснения всех вопросов по части этики, политики и социологии. Человечество, конечно, всегда создавало и будет создавать барьеры для любви, а любовь всегда брала и будет брать эти барьеры, и я тоже влюбился, не справляясь, как это там понравится маменьке, приятелю, науке или религии. Мне помог познакомиться с ней случай. А может быть, и что-нибудь другое: я фаталист — верю в предопределение... Ветром сдуло ее шляпу в реку, и я, не долго думая, если не вру, кинулся за этой шляпой, да, да... Это было ужасно, я выкупался, но шляпу поймал, хотя едва-едва не утонул. После этого ей нельзя было не познакомиться со мной: я переоделся, и мы провели один из тех вечеров, который, как и переживаемый нами, не забывается; чудный вечер... И вот чем еще был замечателен тот

вечер: он подтвердил то, что тогда было для меня только предположением, а теперь фактом. Дело в том, что общение людей идет двояким путем: путем наших слов, жестов,— внешним путем, и другим, внутренним, в котором мы не вольны. И вот, до чего эти внутри нас сидящие договорятся, это мы узнаем по нашим произвольным действиям. Так, когда мы разошлись в тот вечер, я ушел к себе и долго сидел, смотря в окно. А потом какая-то сила вдруг подняла меня, и я пошел: я знал, что дверь ее каюты не будет заперта... Я прошу извинения; я слишком долго говорил и неудачно — это я сам чувствую, — но цель всего этого рассказа та, чтобы предложить, милостивые государины и государи, еще один — тост, — тост, которым я всегда кончаю те пиршества, где участвую. Господа, я предлагаю тост за женщину!

— Ура! Ура! — кричал Сапожков.

— А затем, повторяя слова Пруткова: если у тебя фонтан, то заткни и его, потому что и ему надо отдохнуть, — я умолкаю и не скажу больше ни слова, — объявил Сильвин.

— Да, пора спать, — сказала Мария Павловна.

— Ну, так рано, — запротестовал было Сапожков, но Сильвин перебил его:

— Дамы, действительно, устали. А мы с тобой проводим дам до их апартаментов и воротимся назад.

Так и сделали.

Сапожков настоял, чтобы Сильвин на прощание продекламировал еще что-нибудь. После долгих отказов Сильвин задумчиво стал тереть лоб рукой.

— Чудную вещь я собираюсь поставить в свой бенефис... Не помню только...

— Что помнишь!

— «Но, Беатриче, что ж я дам тебе?..» Нет, забыл...

— Ну, ради бога!

...Случится, может быть, что у тебя родится сын,
Так знай же: коль это счастье улыбнется нам,
Ему я все заветное отдам.

О, да! О, боже мой, чем глубже погружусь
Я взором в тайну прелести твоей..

— Нет, не могу.

Сильвин быстро поцеловал руку Матрены Карповны, так быстро, что она не успела отдернуть свою и только вспыхнула вся, и так же быстро ушел на террасу.

За ним пришел и Сапожков.

Разговор не клеился.

— Деньги мне сегодня дашь? — спросил Сильвин.

— Нет, уж завтра: у приказчика надо взять, а он, пожалуй, спит уже.

— Вексельный бланк у тебя найдется?

— Найдется.

— Ну, прощай, отведи меня в мою комнату.

Сапожков проводил и на прощанье еще раз расцеловался с Сильвиным.

— И засну же я сладко, — говорил Сильвин, потягиваясь и провожая глазами идущего по коридору хозяина.

— Ох, и я! — весело ответил Сапожков и, поворачивая за угол, послал рукой поцелуй Сильвину: — прощай!

Проснувшись на другой день, Сильвин долго лежал с закрытыми глазами.

Затем он стал ждать, не придет ли кто-нибудь, не принесут ли ему кофе, которое он привык пить, лежа в кровати, и в это время думать о чем придется. Но никто не являлся, и приходилось вставать без кофе.

От вчерашнего шампанского немного болела голова.

Умывальник был очень плохой, с тоненькой трубочкой, из которой едва выбивалась слабая струйка воды.

Вода пахла, и ее оказалось очень мало. Мыло тоже не пришлось по вкусу Сильвину: яичное. И платье не было вычищено. Заменяя щетку рукой и ворча, Сильвин кое-как оделся, вышел в коридор и, подойдя к комнате Марии Павловны, постучался.

— Вы?

— Я.

Замок щелкнул, и Сильвин вошел.

— Вообразите, сегодня ночью кто-то подходил к моей двери, трогал ручку...

— Н... да... — неопределенно промычал Сильвин и, уныло оглядываясь, прибавил: — ну, я боюсь, что кофе нам сегодня не придется пить... во всяком случае надо повидать хозяина.

Сильвин вышел в коридор и оттуда прошел в комнату хозяина.

Сапожков лежал в кровати,пил содовую воду и думал о чем-то.

Гость и хозяин поздоровались сухо.

— Я хотел бы с Марией Павловной уехать по железной дороге: поезд, кажется, через два часа уходит?

— Кажется. Что ж, лошадей?

— Пожалуйста, кстати, то, что ты вчера обещал?

Сапожков не сразу ответил. Он посмотрел в потолок, посмотрел в окно, нехотя зевнул и сказал:

— Да, вот получил телеграмму; дело, на которое рассчитывал, не вышло. А пока не вышло, и я дать не могу, потому что могут понадобиться и самому деньги.

Сильвин встал и, угрюмо сдвинув брови, сказал:

— Но мне вчера было дано определенное обещание: я же объяснил, в чем дело.

— Что ж дело? Росли бы у меня в саду деньги, как цветы, — пошел бы да нарвал. Дело коммерческое, — не вышло, о чем говорить?

Сильвин промолчал.

— Так нельзя ли, по крайней мере, распорядиться насчет лошадей?

Сильвин пошел к двери.

— Сегодня не вышло, завтра, может, выйдет, до завтра подожди.

— Я сегодня еду и сейчас же, — ледяным голосом, не останавливаясь, ответил Сильвин.

Он заглянул к Марье Павловне:

— Поторопитесь одеваться: мы сейчас едем на вокзал.

— А вещи?

— Вещи приехали.

Когда Сильвин с Марией Павловной вышли на подъезд, они увидели плетушку, запряженную парой кляч.

— Это что?

— Экипаж для вас.

— Э-э... не нужно... Вот что, любезный, вот тебе рубль, сбегай на село, найми там лошадей, пусть положат эти вещи и догонят нас: мы пешком пойдем к вокзалу. Дорога та, по которой приехали?

— Та...

Они под руку пошли пешком.

Они шли парком. Было утро — ароматное, свежее. Солнце играло уже на дороге, пробиваясь сквозь листву деревьев, и дальше туда, где на лужайках, покрытых сочной зеленой травой, еще была тень и прохлада.

Марья Павловна прижималась к своему спутнику и восторженно говорила:

— Какое чудное утро, как хорошо здесь: рай!

— Да, и этот рай принадлежит какому-нибудь обгрызку мысли и чувства, а мы с тобой, которым рукоплещет и поклоняется толпа, — мы, как Адам и Ева, уходим изгнанниками.

— Маленькая разница на этот раз: Ева, изгоняемая до вкушения запрещенного плода, но результат, впрочем, тот же: изгнали.

— Сами изгоняем себя...

Наемная пара нагнала их у самого города.

Когда Сильвин и Марья Павловна сели, ямщик с веселым лицом, вздернутым носом обратился к ним:

— У Сапожкова в гостях, видно, были?

— Н-да...

— Уж такой негодяй, — сплюнул ямщик, подбирая вожжи, — такой сквалыга, не накажи господь. На вокзал, что ль?

— На вокзал.

— Но!.. Деньги в срок за землю ему не принесешь, сейчас к земскому, — неустойку да судебные издержки... Скотина ступит на его землю, — опять три рубля штрафу... Такой негодяй...

Он помолчал.

— А уж насчет девок... где только застучает..

— Ну, дальше можешь не распространяться. Погоняй: хорошо получишь.

VIII

Три месяца ездили молодые.

И хоть, возвратившись, Матрена Карповна скрывала свою беременность, но всевидящая бабушка сразу сообразила, в чем дело.

Она и радовалась, и в то же время новые мучительные мысли не давали ей покоя: «Мальчик, девочка, с короткой шеей или длинной?»

Невестка была, как могила.

При всей своей неустрашимости и бабушка не решалась заговорить с ней.

«Узнаю все, — утешала она себя, — когда придет время...»

И действительно, когда пришло это время, все узнала бабушка.

Она смотрела с безумной радостью на эту, вдруг таинственно выглянувшую из бесформенной массы среди стонов и воплей головку, и руки ее дрожали, когда она творила крестное знамение.

Она бросилась в соседнюю комнату, где томился внук, и, притащив его за руку, исступленно говорила ему:

— В брата моего, весь в брата: такой же темный, с длинной шеей и глаза его... и мальчик, мальчик... Ох, умница моя!.. Благодари, благодари! Земным поклоном! Так!.. Ноги ее мять, воду ту пить должен!

Бабушка еще двенадцать лет жила после этого.

Как-то, незадолго до смерти, она призвала к себе няньку, и призвала утром, что не было у нее в обычае.

— Сон мне приснился, — сказала бабушка. — Третий такой сон вижу в жизни. Первый перед смертью мужа, второй, как ездила тогда за Матреной, а третий нынче ночью. Сижу я вот здесь, на этом месте, и жду чего-то: вот сейчас растворится дверь, и узнаю я все. И тихо, так тихо сами двери растворяются, и тьма за ними непроглядная, и, гляжу я, из тьмы выходит мой муж покойный, и знаю я, что умер он, и знаю уже, зачем он пришел. И говорю ему: «За мной, что ли?» А он этак головой мне кивает. А черный кот на окне сидит... помнишь, который еще при покойнике извелся... поднял шерсть, окрылся на меня, а глаза, как угли, и растет он, растет... И проснулась я... Ну... вещий сон?

Няня молчала, смотрела в пол, и мутные слезы текли по ее лицу. Бабушка вздохнула:

— То-то же... Ну, и будет плакать: негоже это... Пожила, потрудилась, как умела, пора и в дорогу...

Стала бабушка готовиться. Хотела было церковь строить, да побоялась, что не поспеет, отказала в духовной на церковь, а для единоверческой церкви заказала колокол, какой только может поднять колокольня.

— Чтобы его медный язык напоминал обо мне, недостойной, перед престолом всевышнего.

Последнее желание бабушки было своими ушами услышать первый звон колокола.

Она уже лежала, когда провезли его по улицам.

— Ох, доживу ли? Позволит ли господь дожить, примет ли мою грешную жертву? — металась бабушка и на это время забыла обо всем земном.

Всю ночь уставляли снасти, натягивали канаты, к утру все было готово, и после ранней обедни начали поднимать колокол.

Радостное весеннее утро сверкала над землей.

И площадь, и улица, все вплоть до окна, где лежала бабушка, набилось народом с одной мыслью у каждого: успеют ли навесить колокол, примет ли господь бабушкину жертву?

Из уст в уста сообщали бабушке все, что делалось около церкви. Уж дело подходило к полудню. Надвигалась гроза. В последний раз из-под темной тучи выглянуло солнце, как грозное око творца, а под ним еще сверкала без-

мятежная даль золотистых небесных полей. В это мгновение раздался первый протяжный удар колокола. Вдох облегчения пронесся в многотысячной, обнажившей головы толпе, и стало тихо, так тихо, как бывает только во сне, и все взгляды устремились в окно, где вдруг показалось мертвенно-бледное лицо вставшей бабушки, с громадными черными глазами, с протянутыми руками туда, где сверкало еще из-под туч последними яркими лучами солнце, и губы ее вдохновенно шептали просившим ее лечь:

— Он сам, он, творец наш здесь, — могу ли я лежать...

Безмолвно, страшно и радостно все смотрела она. Черные тучи уже охватили небо, закрыли солнце, сразу стало темно, а колокол гудел, и лились его медные звуки, торопясь и догоняя друг друга. Навстречу им уже неслись сверху раскатистые мощные удары грома: точно с высот с грохотом само небо валилось на землю...

Гром гремел, и молния бороздила небо, словно разрывая на части над самой землей опустившиеся тучи.

Полил дождь, как из ведра, сплошной, серой массой укрывший все, и сразу потекла река грязной воды по опустевшей улице; все выше поднималась она и кипела, покрытая пузырями.

А бабушка лежала удовлетворенная и смотрела на всех окружающих.

— Еще раз хочу исповедаться.

Перед исповедью бабушка подзывала всех, просила прощения, прощалась по очереди и каждому говорила: «Мою волю узнаешь».

Сейчас же после причастия бабушка прошептала:

— Тоска подступает... уходите все...

И когда выходили, она провожала всех долгим взглядом. Невестку она удержала последнюю, погладила ее по голове и тихо проговорила:

— Умница моя, — тебе передаю дом... Как уберут меня, зайди в мою горницу и там в комод, в ларце, уברי, что не надо.

К вечеру бабушка уже лежала на столе со сложенными руками, строгая, навсегда чужая всему живому, укрытая той самой парчой, которую выбрала для себя.

Наверху, в ее комнате, исполняя волю покойной, сидела у комода ее невестка.

В особом ларце лежали векселя, о которых говорила ей бабушка. Чернила пожелтели и уже с трудом можно было разобрать неуклюжую подпись: «Иван Овчинников».

А под этими старыми вексельями лежал свежий, сравнительно, переводной купон на двадцать пять тысяч рублей от какого-то Иванова из Москвы в Петербург.

Матрена Карповна нагнулась ниже и прочла имя того, кому переводились эти деньги. И вдруг лицо ее, — как лицо человека, которого неожиданно поймали над тем, что считал он только своей тайной, — покрылось густым румянцем, и, быстро встав, она подошла к открытому окну.

Дождь прошел, солнце садилось и последними лучами золотило даль. Только там, далеко за рекой, как островерхие крепости, выдвинулись и застыли на горизонте синие тучи. Едва слышно, как грохот отъезжающего экипажа, доносились раскаты грома.

ПО КОРЕЕ, МАНЬЧЖУРИИ И ЛЯОДУНСКОМУ ПОЛУОСТРОВУ

Карандашом с натуры

9 июля 1898 г.

С петербургским курьерским поездом сегодня утром мы прибыли в Москву.

Сегодня же, с прямым сибирским поездом, мы выехали из Москвы.

Наш путь далекий: чрез всю Сибирь, чрез Корею и Маньчжурию до Порт-Артура. Оттуда чрез Шанхай, Японию, Сандвичевы острова, Сан-Франциско, Нью-Йорк, чрез Европу, обратно в Петербург.

Перед самым отъездом явилось предложение — ознакомиться с производительностью мест между Владивостоком и Порт-Артуром. Я с величайшим удовольствием вместе с своими товарищами принял это попутное для меня предложение посетить Корею и Маньчжурию и посмотреть.

11 июля

Сегодня Самара.

Опять неурожай, и мне сообщают печальные подробности. В общем, ожидается такой же, как и 91, год.

Память о нем читаешь на испуганных лицах встречающихся крестьян.

Итоги урожая налицо: мелкорослые, чахоточные, занесенные пылью хлеба мелькают в окнах. Уже кое-где приступили к их уборке. Скоро кончится жатва, и потянется длинная пустая осень среди черных полей. Кончится осень,

и белым саваном покроеется земля. Там, за сугробами снега, исчезнут все эти испуганные крестьянские лица, будут сидеть там, в своих задымленных луговищах, в смраде и голоде, до тех дней, когда снова растворятся ворота мастерской, когда снова они, оголодалые, истощенные и изнуренные, с такой же скотиной, примутся опять за свое пустое дело.

«Пустое дело» — слова теперешнего моего соседа, одного местного деятеля.

Он говорит, как заученный и в то же время намозоливший ему самому язык урок:

— Мировые конкуренты сбили цены, — в урожайный год хлеб не оправдывает больше расходов примитивного производства, а в голодный, в силу тех же примитивных условий, втридорога обходится доставляемый хлеб... Все так ясно, и кто этого не знает? Мы теперь ведь все знаем...

С размаху останавливается поезд у станции, мой сосед озабоченно вскакивает, и, стоя у окна своего вагона, я уже вижу его сгорбленную фигуру на станционном дворе, у плетушки.

Дальше мчится поезд, и опять поля, — изможденные, чахлые, как больной в последнем градусе чахотки.

13 июля

В окне вагона Уфимская губерния, с ее грандиозными работами Уфа-Златоустовской железной дороги, с ее башкирами, лесами и железными заводами.

Как змея извивается поезд, и с высоты обрывов открывается беспредельная даль долин Белой, Уфы, Сима, Юрюзани с панорамой синеватой мглой покрытых, лесистых, вечнозеленых гор Урала.

В этой мглистой синеве щемящий и захватывающий простор, покой и тишина.

В этих таинственных лесных дебрях, в сумрачной тьме их, прячется фанатик отшельник, бродяжка, прятался прежде делатель фальшивых денег.

И здесь и в Сибири эти запятанные в дебрях делатели фальшивых денег положили основание многим крупным состояниям, получая сами в награду всегда смерть, — от ножа ли, от удара ли топором сзади или во сне, а то дверь одинокой кельи, — мастерская несчастного мастера, — подпрут снаружи, обложат келью соломой и зажгут солому.

— О, какой перекося! О, как страшно! А смотрите, смотрите, совсем нависла та гора: вот-вот полетят оттуда камни... Ничего хуже этой дороги я не знаю... А вот на ровном

месте зачем понадобились все эти изворотни... мощенничество очевидно, чтоб больше верст вышло... Ведь они, все эти инженеры, как-то от версты у них: чем больше верст... понимаете? Ужасно, ужасно...

— Но, помилуйте, это образцовая дорога. Поразительная техника, смелость приемов.

— Вы, вероятно, тоже инженер?

— Д-да.

Веселый смех.

Поезд гулко мчится, и притихли навек загадочными сфинксами залегшие здесь насыпи-гиганты, темные, как колодцы, выемки, мосты и отводы рек... Смирялись камнем и цементом скованные реки, — не рвутся больше и только тихо плачут там, внизу, о былой свободе.

А в окнах все те же башкирские леса — в долинах ободранные от коры береза и липа, на горах — сосна и лиственница; те же вымирающие башкиры.

Станция Мурсалимкино.

Русские крестьяне о чем-то спорят с башкирами.

Башкиры смущенно говорят:

— Наши леса...

— Ваши, так почему же, — раздраженно возражают им крестьяне, — казенные полесовщики?

— Чтоб никто не воровал, — отвечают не совсем уверенно башкиры.

— Да ведь воры-то кто здесь, как не вы? Первые воры и жулики... Палец об палец не ударят: «я дворянин», а свести лошадь да в котле сварить — первое его дворянское дело, сколько ты их ни корми и ни пои.

Смущенные, худые башкиры спешат уйти от нас, а Василий продолжает с той же энергией:

— Землю на пять лет сдает, а уже зимой опять идет: дай чаю, дай хлеба, дай денег... «Да ведь ты все деньги взял уже?» — Ну снимай еще на пять лет вперед... Чего же станешь делать с ним? И снимаешь...

— Дорого?

— Да ведь как придется... Уж, конечно, за пять лет вперед больше двугривенного на десятину не придется платить.

Я смотрю в веселые глаза говорящего со мной.

— Худого ведь нет, — говорю я ему.

Усмехается довольно:

— Да ведь не было б, коли б другой народ был...

— Вас-то, русских, много теперь?

— Пятсот в нашей деревне. Вот только эти хозяева донимают...

— Выморите ведь их скоро, — утешаю я.

— Дай бог скорее, — смеется крестьянин, смеются другие, окружившие нас крестьяне.

— А я вот слышал, — говорю я, — что у башкир землю отберут и из вас одну общину сделают.

Лица крестьян мгновенно вытягиваются и перестают сиять.

— Бог с ней и с землей тогда: уйдем... От своих ушли, а уж на башкир еще не заставят работать... Уйдем... свет за очи уйдем...

— Но ведь башкиры тоже люди...

— Ах, господин хороший, а мы кто? Довольно ведь мы и на барина и на нашу бедноту поработали, — пора и честь знать. В такой работе и путный обеспутится, а беспутный и вовсе из кабака не выйдет.

— Хоть путный, хоть беспутный, — деловито перебивает другой, — а уж где нужно, к примеру сказать, тройку запречь, а он с одной клячей — толков не будет... Хуже да хуже только и будет... Книзу пойдет. Он те одной пашней загадит землю так, что без голоду голод выйдет... земля как жена — по рукам пошла, дрянью стала. Из-за чего же ушли? Чего пустое говорить: отбилась земля, народ отбился. Люди башкиры, кто говорит... Все люди, да не всякий к земле годится. У другого топор сам ходит, а я вот, золотом меня засыпь — не столяр, хоть ты что.

— Это можно понять, — уткнувшись в землю, поясняет третий.

— Вы вот здесь так говорите, — отвечаю я, — а в России скажи крестьянам, что общину уничтожат, разрешат продавать участки, — я думаю, они запечалились бы.

Светлый блондин неопределенных лет, нос кверху, Василий, задорно тряхнул кудрями:

— Так ведь с чего же печалиться? Нужда придет, погонит — также уйдешь... Нас погнало... Тридцать лет за землю платили, — кому досталось? На обзаведенье пригодись бы теперь денежки наши... кровные денежки от детей отнимали, а чужим осталось.

Последний звонок, и я спешу в вагон.

Там, в России, я не слышал еще таких речей, там пока только меткие характеристики: «пустое дело», «бескорыстная суета».

15 июля

Все дальше и дальше. Вот и Сибирь... Челябинск...

Помню эти места, где проходит теперь железная дорога, в 91 году, когда только производились изыскания.

Здесь, в этой ровной, как ладонь, местности, царила тогда николаевская глушь, — полосатые шлагбаумы, желтые казенные дома, кувшинные, таинственные чиновничьи лица, старинный суд и весь распорядок николаевских времен.

Тогда еще, как последняя новость, сообщался рассказ об исправнике, который, скупив у киргиз ветер, продавал киргизам же его за большие деньги (не позволяя веять хлеб, молоть его на ветрянках и проч. и проч.).

Я помню наше обратное возвращение тогда.

Была уже глубокая осень. Мы ехали по самому последнему колесному пути. По двенадцати лошадей впрягали в наш экипаж, и шаг за шагом они месили липкую грязь; уехать тридцать верст в сутки было идеалом.

Надвигалась голодная зима 91 года, и деревня за деревней, которые мы проезжали, стояли наполовину с заколоченными избами; это избы разбежавшихся во все концы света от голодной смерти людей.

Редкий крестьянин, торчащий тогда у своих ворот, имел жалкий, растерянный вид, провожая пустыми глазами нас, последних путников.

Один растерянно подошел к нашему экипажу, когда мы выезжали из грязной околицы его деревушки.

— А вы постоите-ка... — Мы остановились. — Вы чиновники? Это что ж такое?

Так и замер этот крик, вопль, стон в невылазных лужах далекой Сибири.

Им не привозили хлеба — это факт. Нечем было везти за сотни и тысячи верст. Подохла скотина от бескормицы, и на оставшихся в живых, никуда не отшатившихся мужиках и бабах пахали они весной свою землю.

А теперь уже прошла здесь железная дорога, и мы мчимся в вагонах. И в каких вагонах: вагон-столовая, вагон-библиотека, ванная, гимнастика, рояль. Почти исчезает впечатление утомительного при других условиях железнодорожного пути. Тогда, при проектировке только дороги, едва-едва натягивали одиннадцать миллион пудов возможного груза. Так и строили, в уверенности, что не скоро еще дойдет дело до этих одиннадцати миллион пудов.

И в первый же год тридцать миллионов пудов.

Факт, с одной стороны, очень приятный, но с другой — несомненно, что дорога, в теперешнем своем виде, совершенно несостоятельна.

И сколько, сколько еще не перевезенного груза в одном Челябинске.

Зима подходила к концу. На одном из участков ново-строящейся дороги шли длительные приготовления к предстоящему весной открытию работ.

Начальник участка Кольцов уже после окончательных изысканий, закончившихся предыдущим летом, затеял изменить направление линии. Это изменение обещало серьезные сбережения, и Кольцов с двумя молодыми инженерами, проработав всю зиму в поле, напрягал все усилия закончить все работы к предстоящей через две недели сдаче подрядов. Торопиться нужно было для того, чтобы успеть провести и утвердить вариант до торгов и этим впоследствии избавиться от претензий подрядчиков на тему, что их подвели, что они понесли убытки вследствие уменьшения работ, и результатом таких претензий была бы неизбежная приплата подрядчикам казны двадцать процентов сбереженной против подрядов суммы.

Дни в усиленной полевой работе, вечера за вычерчиванием планов и профилей, короткий отдых — в последнее время три-четыре часа в сутки — изнурили и утомили Кольцова и двух его товарищей. Особенно подался Стражинский. Он так похудел, что жена Кольцова говорила, что у Стражинского остались одни глаза. Стражинский за зиму нажил себе страшный ревматизм; в последнее время еще простудился, кашлял и производил крайне ненадежное впечатление. Несмотря на двадцать семь лет, волосы его заметно стали седеть. Его изящная, стройная фигура согбилась, красивое лицо осунулось, и только большие выразительные глаза выиграли. — они то зажигались лихорадочным, раздраженным огнем, то грустно-безнадежно смотрели на окружающих. Спокойный, воспитанный, он теперь едва сдерживал свое беспричинное раздражение.

— Вася, не мучь ты Стражинского, — говорила Кольцову, в редкие минуты отдыха, его жена, — право, по временам плакать хочется, глядя на него.

— Ну, что же делать, — отвечал Кольцов. — Мне назначено девять человек, из них прислали только двух, а остальных оставили пока при управлении. Вот скоро кончим, тогда дам ему хоть на месяц отдых. Ведь и я и Татищев так же работаем.

— Ты и Татищев здоровые, а он совсем не вашего поля ягода.

— А я тут при чем, — возражал Кольцов. — Не вводить же казну в миллионные убытки оттого, что Стражинский не на своем месте. Вот скоро кончим, тогда...

И Кольцов опять убежал в контору. Там в сырой, осенью только отделанной комнате, служившей прежде кладовой, занимались Стражинский, Татищев и Кольцов.

В сыром накуренном воздухе было угарно и тяжело. Стражинский работал молча, напряженно, не отрываясь. Только нервное подергиванье лица выдавало его раздражение.

Татищев работал свободно, без напряжения.

— Экое отвратительное помещение, — ворчал Татищев, водя рейсфедером по бумаге и беспрестанно отбрасывая шнурок пенсне.

— Да, гадость, — согласился Кольцов.

— Гораздо лучше было нанять дом Мурзина, — ворчал опять Татищев.

Немного погодя Татищев опять заговорил:

— Невозможный рейсфедер, линейки порядочной нет. Вот этим рейсфедером я уже второй миллион экономии доверчиваю. Хоть бы рейсфедер новый.

— Невозможные инструменты! — вставил Стражинский.

— Хоть бы в пикет сыграть, — продолжал Татищев, помолчав.

— Нскогда, некогда, — отвечал Кольцов. — Кончим вариант, тогда и будем играть, сколько хотите.

— Никогда мы его не кончим, — отвечал Татищев и вдруг весело, по-детски расхохотался.

— Вы чего? — поднял голову Кольцов.

Татищев продолжал хохотать.

— Мне смешно...

И Татищев опять залился веселым, добродушным смехом.

Кольцов, привыкший к его беспричинному смеху, только рукой махнул, проговорив:

— Ну, завел!

— ... что мы никогда не кончим, — dokonчил Татищев свою фразу и залился новым припадком смеха.

Кольцов и Стражинский не выдержали и тоже рассмеялись.

Татищев кончил наконец смеяться и снова принялся за рейсфедер.

Наступило молчание. Все погрузились в работу.

— А вы помните, Василий Яковлевич, ваше обещание? — начал опять Татищев.

— Какое? — спросил, не отрываясь, Кольцов.

— В отпуск меня пустить.

— Да, пущу.

— Как в прошлом году?

— Ведь вы же знаете, что в прошлом году помешал вариант.

— То-то помешал, — самодовольно ответил Татищев. — А как вы еще какой-нибудь вариант выдумаете.

— Нет, уж это последний.

Татищев лукаво посмотрел на Стражинского.

— Да больше времени нет, да и работы скоро начнутся.

Татищев недоверчиво молчал. Стражинский опустил голову на руку и бесцельно уставился в стенку. Изможденное лицо его выражало страдание.

— Что, голова болит? — спросил Кольцов.

— Немножко, — ответил нехотя Стражинский.

— Вам, Станислав Антонович, необходим отпуск, — проговорил Кольцов.

— Ну, уж, извините, — загорячился Татищев. — Я больше Станислава Антоновича просидел в этой трушобе.

— Да вы посмотрите на себя и Станислава Антоновича, — отвечал Кольцов. — Вы кровь с молоком, а он совсем высох.

— Я тоже болен, — отвечал Татищев, — у меня горловая чахотка начинается.

Кольцов и Стражинский улыбнулись.

— Смейтесь, — обидчиво отвечал Татищев. — Вы слышите, как я охрип.

— Ну полно, Павел Михайлович, — махнул рукой Кольцов.

— Вот и полно!

— Я не поеду в отпуск. — сказал Стражинский — Мои финансы в таком беспорядке, что мне и думать нечего.

Стражинский жил на жалованье сто двадцать пять рублей в месяц и своих средств не имел. При безалаберной кочевой жизни, при неуменье обращаться с деньгами ему не хватало, и он был весь в долгу. Окончательно его запутал Татищев, богатый человек, любивший хорошо поесть. Он умудрялся тратить на кухню до двухсот рублей в месяц.

— Я решил, знаете, Павел Михайлович, — продолжал Стражинский, — уехать от вас, а то с вами кончу тем, что все у меня продадут за долги.

— Я вовсе не много трачу, — обиделся Татищев, — вот поживете сами и узнаете.

— Ну, господа, пойдем спать, — сказал Кольцов, вставая. — Два часа.

Кольцов ушел наверх. Татищев скоро собрал инструменты и торопил Стражинского.

Стражинский медленно отрывался от работы.

— Скорее, — торопил Татищев. — Оставьте так, кто тут возьмет. Есть хочется, спать хочется. Ну и жизнь!

Стражинский раздраженно молчал, продолжая собирать вещи.

Татищев, одетый в шубу, уселся на табуретку и следил глазами за Стражинским.

— Измучит нас Кольцов, — начал он, помолчав. — Я понимаю, поработать и отдохнуть, но этакая каторга изо дня в день, и из-за чего, спрашивается? Я второй год с ним. На двух линиях наделал вариантов, измучил себя, других, натратил своих уйму денег и в конце концов, кроме неприятностей, до сих пор ничего не получил. Обещал выхлопотать награды.

— Э, — досадливо проговорил Стражинский. — Какая тут награда! Кто ему ее разрешит? Экономия! Кому нужна эта экономия? Для казны экономия, *c'est bien original*¹ Стражинский воспитывался за границей и любил французский язык.

— Ну, положим, это наша обязанность, — отвечал Татищев. — Но ведь всему должна быть мера. а ведь мы живем так, как будто через год нам ничего не надо будет. Истратить все силы в два-три года, а там что ж? Истаскашься, куда ты тогда денешься?

— И все это за такое жалованье, на которое прожить нельзя, — ответил Стражинский, укладывая последний циркуль.

Он запер коробку, положил ее в стол, постоял несколько секунд, тупо глядя перед собой, потом досадливо махнул рукой и начал одеваться.

— Это жизнь! — продолжал он себе под нос. — Мечтает о премиях, себя и других морочит. Э! все равно Идем.

— Вот, он говорит, на концессионных постройках премии давали, — ну, там и можно было работать, — продолжал Татищев, идя с Стражинским по сонным улицам завода, где они жили, — но из-за чего здесь надрываться? Я не понимаю.

Стражинский молчал.

— Васька, скорей ужинать! — кричал Татищев входя в квартиру.

Сонный Васька побежал на кухню, принес на блюде аппетитный кусок жареной телятины.

— Опять подливки мало, — заметил Татищев, подходя к опрятно накрытому столу. — А закуски почему не поста-

¹ Это весьма оригинально (франц.)

вил? Тебе сколько раз я говорил, чтобы ставил по два стакана к прибору. И белого вина нет. Перчатки не надел. Я тебе сколько раз говорил, что я терпеть не могу, чтобы ты голыми руками подавал. Трогаешь ими бог знает какую гадость, а потом хлеб ими же подаешь.

Когда все было приведено в порядок, Татищев удовлетворенно сел за стол, аккуратно завязал себя салфеткой, снял пенсне и обратился к Стражинскому:

— Станислав Антонович, пожалуйста.

Сонный Васька стоял поодаль с вытянутыми руками в нитяных белых перчатках.

— Платок носовой, — приказал Татищев.

Васька бросился в другую комнату.

— Да ты что кидаться как сумасшедший, — остановил его Павел Михайлович. — Потихе не умеешь? Разве ты не понимаешь, что это неприлично.

Через минуту Васька беззвучно подал Татищеву несколько платков.

Татищев взял платок, посмотрел его номер (все его платки были занумерованы), посмотрел номер следующего платка, оставил себе первый по порядку, остальные отдал Ваське, сказав:

— Положи аккуратно на место.

Татищев уже совсем было приготовился к еде, но, взглянув на руки, проговорил:

— Нет, не могу, — потребовал умыться.

Стражинский, раздраженно наблюдавший Татищева, потеряв терпение, сказал:

— О, mon Dieu¹, — лег на кровать и закрыл глаза.

С четверть часа фыркал Татищев в соседней комнате. Слышались его возгласы:

— Лей сюда, ниже, ниже... Экий ты, Васька, бестолковый.

Наконец, умывшись, с расчесанной бородой, в чистой ночной рубаше и туфлях, Татищев окончательно уселся за стол. Он опять завязал салфетку, слять пригласил Стражинского и приступил к нарезыванию телятины. Это было целое священнодействие. Телятина тонкими ломтиками, пластинка за пластинкой, ложились одна на другую. Широкая белая рука Павла Михайловича красиво водила большой нож, другая держала громадную вилку, воткнутую в телятину. Вся его сосредоточенная фигура говорила:

«Да, вот подите-ка нарежьте так аккуратно. Это вовсе не так просто, как кажется. Тут все нужно рассчитать,

¹ О боже мой (франц.)

чтобы вышла такая ровная пластинка. И нож надо именно так держать, и вилку на известном расстоянии. Вот теперь надо вынуть ее — поставить дальше». И Татищев, вынув вилку, воткнул ее в другом месте.

И опять все его лицо говорило:

«Именно вот в этом месте. Теперь опять пойдут правильные ломтики».

И ломтики действительно пошли один правильнее другого.

— Ну, довольно, — досадливо проговорил Стражинский, раздраженно наблюдая Татищева.

— Теперь, пожалуй, и довольно, — согласился Татищев, когда половина блюда покрылась изрезанными ломтиками.

— Кто это съест? — заметил Стражинский.

— Не беспокойтесь, съем, — обидчиво заметил Павел Михайлович.

Ужин начался. Стражинский ел без всякого аппетита. Съев ломтик телятины, он потребовал себе стакан молока.

Павел Михайлович только головой соболезнующе покачал, аппетитно уплетая кусок за куском.

— Извините, — проговорил Стражинский, кончив свой стакан молока, — я встану, я так устал.

— А чайку? — встрепенулся Павел Михайлович. — Неужели не выпете стаканчика горячего в кровати? Покамест вы будете раздеваться, чай будет готов. Васька, живо чаю!

Добродушное настроение Татищева подействовала наконец и на Стражинского.

Он с наслаждением вытягивался в кровати, говоря:

— Ох, как я устал! Мне каждый раз кажется, как я ложусь, что я уж не в силах буду никогда встать.

— Да, это безобразие, — согласился Павел Михайлович, оканчивая свой ужин и запивая стаканом вина.

Татищев, окончив ужин, быстро разделся и бросился в кровать. Через пять минут легкий посвист известил Стражинского, что Татищев благополучно прибыл в царство Морфея.

Стражинский долго еще ворочался на постели. Он с завистью и раздражением прислушивался к свисту Татищева. Несколько раз он то тушил, то зажигал свечку, отыскивая кусавших его клопов. Его ноги ныли от ревматизма, он то вытягивал их, то подбирал под себя, напрасно отыскивая положение, при котором боль не была бы так чувствительна. Тяжелые мысли бродили в его голове. Полученное письмо из дому вызвало целый ряд неприятных воспоминаний. Дела по имению у матери, некогда очень богатой, были в страшном расстройстве; второй брат, гимназист шестого

класса, заболел скоротечной чахоткой, младший, двенадцатилетний мальчик, и в этом году не попал в гимназию. «Ты одна моя радость и надежда», — заканчивала его мать свое письмо. Стражинский горько усмехнулся при мысли, если бы увидела она, что осталось от этой «радости».

Наконец и над ним сжалился сон, хотя не крепкий, тревожный, заставлявший его постоянно вздрагивать и просыпаться.

На другой день, около восьми часов, когда уже порядочно рассвело, Кольцов с Татищевым и Стражинским взбирались по крутому откосу реки в том месте, где накануне остановилась их работа.

Кольцов первый взошел наверх и, в ожидании товарищей, осматривал местность. В этом месте река делала такой острый заворот, что приходилось пересекать ее на протяжении пятидесяти сажен два раза, вследствие чего получалось два громадных моста.

Вдруг у Кольцова мелькнула мысль, от которой ему сделалось и холодно и жарко.

«Что, если обойтись без мостов и речку отвести тоннелью под этой горой? — Мурашки пробежали у него по спине. — Что это, не схожу ли я с ума? Здравая или сумасшедшая эта мысль? — Кольцов снял шапку и провел рукой по горячему лбу. — Надо спокойно обдумать», — решил он и стал шагами мерить длину горы. Длина тоннели получалась около 30 сажен; считая по 2 тысячи погонная сажень, выходило всего 60 тысяч, тогда как 10 сажен высоты моста стоили до 250 тысяч рублей. Кольцов радостно обернулся к товарищам.

— Господа! — крикнул он им возбужденным голосом.

— Новый вариант, — с отчаянием проговорил Стражинский Татищеву.

Оба уже давно подозрительно наблюдали взволнованные движения Кольцова.

— Знаете, — кричал им навстречу Кольцов, — мы без мостов здесь пройдем.

— Il finira par devenir fou¹, — сказал себе под нос Стражинский.

Сообщение Кольцова было выслушано недоверчиво, но когда он подтвердил его, Стражинский и Татищев не нашли возражений.

— Только когда же мы все это сделаем? — спросил Татищев.

¹ Он кончит тем, что сойдет с ума (франц.)

— Я сам это сделаю. Вы пробивайте намеченную по плану линию, а я сейчас назначу магистраль и разобью профиля. Булавин, — обратился он к десятнику, — ты будешь их ватерпасить, и если завтра к вечеру кончишь, десять рублей награды.

— Будет готово, — отвечал весело Булавин.

Работа была тяжелая. В глубоком снегу вязли ноги.

К обеду Кольцов кончил свою работу и нагнал товарищей.

— Не пора ли закусить? — спросил он Татищева.

— Давно пора, — ответил Павел Михайлович.

Под деревом был разведен костер, для которого рабочие натаскали сухого хвороста; установили два камня — род очага, поставили на них чайник и стали разворачивать провизию. Хлеб замерз, говядина, пирожки тоже, пришлось все, кроме водки, отогревать. Всем этим заведовал аккуратно и не спеша Татищев.

Зная, что нарушение установленной дисциплины испортит расположение духа Татищева, Кольцов и Стражинский терпеливо ждали кониа. Когда наконец все было установлено на чистой скатерти, Татищев любезно пригласил Кольцова и Стражинского завтракать.

— К вечеру кончите обход Герасимова утеса? — спросил Кольцов.

— Я думаю, — отвечал Стражинский. — Только выемка немножко будет больше, чем получилось по горизонталям. Шельма Лука наврал, верно, в профилях.

— Какая досада, что нельзя завернуться радиусом в сто пятьдесят сажен вместо двухсот; вся бы почти выемка исчезла, — заметил Кольцов.

— Да, тогда почти вся исчезла бы, — согласился Стражинский.

— Ведь это двенадцать тысяч кубов скалы по одиннадцати рублей — сто тридцать две тысячи рублей. Какая это рутинна — радиус! При соответственном уклоне ведь не прибавляется сопротивление от более крутого радиуса.

— За границей на главных путях давно введен радиус даже в сто сажен, только там вагоны на тележках, — вставил Стражинский.

— А что мешает у нас их устраивать? — ответил Кольцов. — Ведь вы понимаете, какую экономию дал бы такой радиус в нашей горной местности?

— Громадную.

— На всю линию несколько миллионов, — ответил Кольцов.

Наступило молчание.

— Черт возьми, — заговорил Кольцов, — давайте, знаете, сделаем обход Герасимова на радиус двести и сто пятьдесят, — чем черт не шутит, может быть и разрешат? А?

Татищев и Стражинский успели уже переглянуться, и последний тихо пробурчал:

— Поехал.

— Никогда не кончим, — проговорил Татищев, заливаясь смехом и опрокидываясь на снег.

Кольцов сконфузился и покраснел.

— Странный вы человек, Павел Михайлович, ведь интересно же сделать так дело, чтоб не стыдно было на него посмотреть. Ведь обидно же даром бросать сотни тысяч. Вы представьте себе, куда мы с вами денемся, когда дорога будет выстроена, и кому-нибудь из комиссии придет мысль в голову об радиусе сто пятьдесят? Ведь тогда это будет как на ладони.

— Да я ничего не возражаю против этого, — отвечал Павел Михайлович, — я вполне всему сочувствую, но где же время, ведь вы хотите поспеть к торгам?

— И поспею, — ответил Кольцов. — Тут ведь на день всего работы.

— Здесь на день, там на день, где ж этих дней набрать? — раздраженно ответил Татищев.

— Ну я сам это сделаю, — огорченно сказал Кольцов.

— Да я не к тому, — начал было Татищев, но Стражинский перебил его:

— Положим, мы как-нибудь успеем. Но только, по правде сказать, мало веры, чтоб из всего этого вышел толк. Ведь это значит переменить технические условия, когда они утверждены начальником работ Временного управления, министром. Пропасть работы всем, начиная от нас.

— Но ведь это все пустяки, тут о сотнях тысяч идет речь.

— Ну да, но когда их никто признавать не хочет.

— Но они существуют. Что нам за дело до других, лишь бы мы исполняли то, что должны.

— Ну да, конечно, — согласился Стражинский. — Я только хочу сказать, что можно какое хотите пари держать, что радиус сто пятьдесят не пройдет.

— Надежд, конечно, мало, — согласился Кольцов.

— Вот если б это было возле станции, где поневоле скорость должна быть меньшая.

— А ведь это идея: почему бы нам не расположить станцию вон в той луке? — Кольцов схватил профиль и стал внимательно ее рассматривать. — Станция поместится, —

проговорил он. — Поздравляю вас, мсье, ваша идея блестящая.

Стражинский покраснел от удовольствия.

— Но ведь тогда расстояние между станциями не выйдет, близко слишком будет.

— А мы одну уничтожим — еще экономия, — быстро ответил Кольцов. — Нет, положительно сегодня, господа, у вас гениальные мысли.

У Татищева остановилось в горле замечание, что это опять новая работа.

— А обратили вы внимание, Василий Яковлевич, — заговорил Стражинский, — что при радиусе сто пятьдесят линия залезет в реку, — что скажет на это завод?

— Какое мне дело до завода?

— Как какое дело? Они по этой реке спускают баржи, они говорят уже теперь о том, что камни, которые будут падать в воду из выемок, должны быть вынуты, а если вся линия пойдет по реке, я не знаю, что они скажут.

— Ничего они не посмеют сказать, — больше в утешение себе сказал Кольцов и задумался.

— Ох, уж этот мне завод. Наделает он нам беды. Все, кроме воздуха, им принадлежит. Несчастный человек будет подрядчик!

— Они его разорят! — сказал Стражинский.

— А знаете, что мне пришло в голову? — сказал Татищев. — Что, если их самих затянуть в подряд? И Татищев лукаво-добродушно подмигнул.

Кольцов широко раскрыл глаза.

— Павел Михайлович, голубчик, да вы гениальный человек! — закричал он. — Ведь эта идея такая же блестящая, как и со станцией!

Татищев добродушно-весело смеялся.

— Ах, черт побери, — заволновался Кольцов. — В воскресенье же иду к управляющему уговаривать.

— Не согласится, — сказал Стражинский.

— Отчего не согласится? — возразил Татищев.

Кольцов по свойству своей природы весь отдался новой идее затянуть завод в подряд. Вопрос действительно был серьезный, на десятки и сотни верст во все стороны от линии тянулась земля крупного заводчика. Земля, вода, лес, камень, песок, — все было монополией владельца. Уже при постройке временной больницы Кольцов видел, как разыгрывается аппетит завода. За лесом была назначена цена дороже городской. Только случаем Кольцову удалось дешево отделаться, — он купил готовый дом, а для пристроек запасся за дешевую цену несколькими срубами у местных

крестьян. Заводское управление на такой прием Кольцова отпустило приказом к местному населению, по которому жителям строго-настроено воспрещалось продавать лес агентам железной дороги под страхом навсегда лишиться права приобретать его по уменьшенным ценам из заводских дач.

Предстоящие работы и в других отношениях ставили строителей в зависимость от заводов. С утверждением нового варианта Кольцова, когда приходилось бы работать в воде, завод, по желанию, мог бы нанести неисчислимые убытки одним тем, что не вовремя стал бы выпускать излишнюю воду из своих прудов. Претензии на захват реки тоже могли легко повлиять на неутверждение нового варианта. Казна ничего так не боится, как возможности дать повод вчинять иски, зная по горькому опыту, чем они кончаются. Наконец, еще одно обстоятельство побуждало Кольцова горячо желать участия заводов в подряде. Администрация заводов состояла по преимуществу из горных инженеров. Все они в большинстве были поляки по происхождению, но, если можно так выразиться, примиренные, не чуждались общения с русскими, отличались гостеприимством и радушием, но по свойству всех людей имели склонность заниматься чужими делами. Кольцова осаждали вопросами о направлении линии, почему там, почему не здесь, почему такая цена, а не такая. Как это всегда бывает, они не так искали положительной стороны дела, как отрицательной. Объяснения Кольцова их мало удовлетворяли, они смотрели на него как на человека, заинтересованного умышленно утаивать истину, и старались сами найти ответ на неясные для них вопросы. Почва, таким образом, была из таких, на которой легче всего вырастают всякие нелепые и несправедливые слухи. Кольцов чувствовал, что, персрвись он пополам, ему не поверят и все объяснят по-своему. Единственная возможность заставить их правильно посмотреть на дело заключалась, таким образом, только в том, чтоб их самих втянуть в это дело, поставить их в такое положение, чтоб у них волей-неволей раскрылись глаза на истину.

«Ах, если б мне удалось этих вольных критиков заперчь, заставить их на своей спине убедиться в том, что все гадости, в которых они считают нас, инженеров, повинными, сидят только в их воображении», — думал Кольцов, вылезая из саней перед домом главного управляющего заводами (сам владелец в заводе не жил и никогда в жизни в нем не был), горного инженера Пшемыслава Фаддеевича Бжезовского.

Бжезовский пользовался большим уваженпем в горном

мире, — он организовал рельсовое производство, прекрасно его поставил, пользовался репутацией даровитого и способного инженера, слыл за прекрасного человека, его дом отличался гостеприимством и радушием. Громадный двухэтажный дом, занимаемый Бжезовским, был настоящий дворец. Прекрасная мебель, масса картин, электрическое освещение, громадные комнаты напоминали собою давно-давно забытую роскошь времен крепостных. Несколько прекрасных охотничьих собак приветствовали громким лаем появление Кольцова в обширной передней.

Несмотря на не сошедший еще снег и холод, отовсюду несся нежный запах свежих цветов. Точно какой-то волшебной силой из царства тьмы и неуютной зимы Кольцов был вдруг перенесен в волшебное царство весны.

На него, жителя юга, пахло чем-то далеким и милым. Он с наслаждением вдыхал в себя этот аромат весны, пока лакей снимал с него валенки, доху и сибирскую с ушами шапку.

Не успел он оправиться, как в дверях показались Бжезовский и его жена. Бжезовский, высокий, пожилой господин с окладистой бородой, худощавый, с безукоризненными манерами, приветливо, но с чувством собственного достоинства поздоровался с Кольцовым, проговорив радушно:

— Добро пожаловать.

Жена Бжезовского, маленькая полная женщина лет сорока, с добрыми чистыми глазами, как у ребенка, ласково поздоровалась с Кольцовым и сейчас же засыпала его вопросами, не смерз ли он, не устал, не желает ли умыться, не хочет ли есть, чаю, и когда Кольцов сказал, что чаю хочет, она весело ударила в ладоши и сказала, что они как раз пьют чай.

В большой столовой, за чайным столом, Ольга Андреевна (она была урожденная русская), пока наливала чай, несколько раз еще переспросила, не хочет ли Кольцов есть. Кольцов уверил наконец ее, что сыт. Тогда она перешла к подробным расспросам о жене и детях Кольцова.

— Какой вы недобрый, зачем же Анну Валериевну с собой не привезли?

Кольцов извинился, сказав, что приехал по делу.

— Ого, по делу! — рассмеялся Бжезовский.

В это время вошел плотный высокий господин, помощник Бжезовского, горный инженер Малинский.

— Василий Яковлевич к нам по делу, — обратился к нему Бжезовский.

— О! — произнес Малинский и сел возле налитого для него стакана.

Кольцов начал издали. Он изложил в коротких словах предстоящую картину постройки, наплыв рабочих, повышение цен на рабочие руки, на перевозочные средства, указал на затруднения, какие испытает завод от этого, коснулся неизбежных столкновений с подрядчиками и рядчиками.

— Ну, с этими-то господами нам не трудно будет справиться, — уверенно перебил его Малинский. — Один хороший паволок сразу приведет их в христианскую веру.

— Вещь обоюдоострая, — ответил сдержанно Кольцов. — Людей, имеющих в своем распоряжении несколько тысяч человек, не так легко запугать. Один неосторожно разведенный костер в ваших сосновых лесах наделает вам больше убытков, чем все ваши паводки. Этого, конечно, не будет, как и с вашей стороны не будет умышленного нарушения интересов подрядчиков.

— Конечно, — поспешил согласиться Бжезовский, видимо недовольный, что его пылкий помощник выболтал видимо обсуждавшиеся уже между ними соображения будущих отношений.

— Опасная сторона здесь та, что подрядчики станут пользоваться вашим населением для своих работ.

— Пусть пользуются, — ответил Малинский, — а мы им откажем в земле, лесе, дровах, — у них ничего ведь нет, они всё получают от нас при условии работать на заводе, а не хотят — мы им ничего не дадим.

— По-моему, этим вы их не испугаете, — ответил Кольцов. — Они отлично знают, что ваши заводы без них ничего не стоят и что вам ничего не останется делать, как вновь их принять, когда они явятся к вам.

Бжезовский все время молча слушал Кольцова. Малинский открыл было рот, но Кольцов перебил его:

— При таких условиях единственная возможность не отрывать местное население от заводских работ заключается в том, чтобы сам завод взял на себя подряд. Тогда заводу стоит только не принимать местный элемент на железнодорожную работу, и дело в шляпе.

Глаза Бжезовского сверкнули, но опять приняли спокойное, бесстрастное выражение. Он продолжал молчать, как бы приглашая Кольцова говорить дальше.

— В денежном отношении, продолжал, помолчав, Кольцов, — дело это тоже представляется крайне выгодным. Если подрядчик пришлый зарабатывает на таком деле крупные барыши, то местный контрагент, имеющий весь даровой материал, заработает, конечно, несравненно больше.

— Положим, этот материал мы можем выгодно продать пришлому контрагенту, — первый раз возразил Бжезовский.

— Не всегда, — ответил Кольцов. — В случае слишком дорогих цен дорога ограничится крайне необходимым, а остальное привезет по временному пути из мест более дешевых.

Бжезовского неприятно передернуло, но это было очень быстрое движение, и он молча поспешил кивнуть головой в знак согласия.

— Размеры подряда, — продолжал Кольцов, — настолько велики, что они стоят того, чтоб таким делом заняться. Ваш годовой оборот, если не ошибаюсь, достигает миллиона, двухлетний подряд даст оборот до двух с половиной миллионов. Барыш от него будет крупным подспорьем для завода, дав ему возможность не только легко перенести кризис, но и заработать на нем. Ввиду того, что дорога только раз строится, казалось бы, не следовало упускать такого удобного случая, — закончил Кольцов свою речь.

Наступило молчание.

Ольга Андреевна, Малинский и Кольцов смотрели на Бжезовского. Последний не торопился с ответом.

После долгой паузы он наконец спросил:

— А как велик может быть барыш?

— Как повести дело. Принимая во внимание ваши условия, я думаю — не менее двадцати пяти процентов со всей суммы.

— Какой оборотный капитал для этого нужен?

— Десять процентов от всего, то есть двести пятьдесят тысяч рублей, — отвечал Кольцов.

— Беда в том, что с этим делом мы мало знакомы, — заметил Бжезовский.

— Это я имел в виду. Вам необходимо пригласить в руководители опытное в этом деле лицо. Я могу указать вам на такого. Это Яков Петрович Нельтон. Он тоже собирается принять участие в подрядах, но сам имеет слишком мало денег и ищет компаньонов. Он, между прочим, был представителем компании строителей на пятом участке смежной с вами дороги, которая только что закончилась, и дал своим компаньонам до семидесяти процентов на затраченный капитал. Точные сведения вы получите как от его компаньонов, так и от начальника работ.

— Надо подумать, — задумчиво проговорил Бжезовский.

Разговор перешел на текущую жизнь,

Кольцов рассказал о новых своих вариантах, о радиусе сто пятьдесят, о замене мостов тоннелем. Малинский пришел в ужас, что цена погонной сажени тоннели обойдется две тысячи рублей.

— Помилуйте, вся цена такой тоннели шестьсот рублей погонных сажень.

— А вот берите подряд,— улыбнулся Кольцов,— и гребите деньги.

— Но что же вы так дорого цените в тоннели?

— Я вам укажу только на тот факт, что дешевле двух тысяч рублей ни одна тоннель в мире не выстроена,— ответил Кольцов.

— Значит, дело неправильно поставлено,— ответил Малинский.

— Ну вот вам и случай поставить его правильно.

— Как вы работаете тоннель?

— Есть несколько способов, но все они сводятся к тому, что пробивается сперва небольшое отверстие, которое называется направляющей штольной, а затем разрабатывается все отверстие.

— А почему сразу не разрабатывается все отверстие?

— Невыгодно, как работа в цельной среде. Чем меньше направляющая штольная, тем это выгоднее.

— Конечно, так трудно возражать, но я познакомлюсь с вопросами и через месяц буду с вами спорить. Какое лучшее сочинение по тоннелям?

Кольцов не мог ответить.

— По-русски почти ничего нет, а за границей, наверно есть.

— Я знаю сочинение Ржиха, но вышло, кажется в Англии, недавно новое сочинение.

— Вы видели Ржиха? — спросил Малинский.

— Не видал, — ответил Кольцов.

— Если хотите, я вам покажу.

И Малинский повел Кольцова в свою комнату.

Малинский был очень начитанный человек. Он обладал способностью применять начитанное к делу. В требнике завода и постановке рельсового дела он ввел массу нововведений, — между прочим, бессемеровский способ литья стали прямо из чугуна, но было и несколько промахов, неизбежных ни в каком деле.

Масса книг и журналов лежала на нескольких столах в комнате Малинского. Были тут и немецкие, и французские, и английские, и американские, меньше всех было русских.

Он снял с этажерки две громадные книги и тяжело бросил их на стол.

— Неужели это все об одних тоннелях? — спросил Кольцов. — У нас в институте о тоннелях читалось ровно две страницы. Только немец может столько написать, — говорил Кольцов, перелистывая книгу.

Малинского неприятно покоробили слова Кольцова.

— Обстоятельно, — нехотя ответил он.

— К сожалению, я не понимаю по-немецки, — сказал Кольцов, закрывая книгу, — а то бы попросил у вас почитать.

— Вы какие журналы выписываете по вашей специальности?

Кольцов покраснел.

— Кроме журнала нашего министерства, — никаких.

Наступило неловкое молчание.

— Наше дело так налажено, — заметил Кольцов, — что вряд ли что-нибудь новое узнаешь, да притом я только французским с грехом пополам владею.

Наступало неловкое молчание.

— Может быть, пойдем в столовую? — спросил Малинский.

— Знаете, что мне улыбается в вашем подряде, Василий Яковлевич?.. — встретила Кольцова Ольга Андреевна. — Я давно на лето мечтаю выстроить себе маленький домик, в котором бы я могла чувствовать, что и я существую; а то в этих громадных комнатах я чувствую себя такой маленькой. Если б муж взял подряд, ему пришлось бы выстроить себе какое-нибудь пристанище, вот и я бы к нему пристала бы.

И она, склонив голову на плечо, своими детскими ласковыми глазами посматривала на мужа.

Бжезовский ласково рассмеялся.

— Ну, уж если она охотится, то вы можете считать, что половину дела сделали, — обратился он к Кольцову.

— Эта сторона меня страшно радует, — и все лицо Бжезовской показывало искреннюю радость. — Если бы вы знали, как я хочу этой тихой простой жизни в маленьких уютных комнатках! — И опять ее чистые глаза заискрились весельем ребенка.

Несмотря на видимый успех, расположение духа Кольцова было испорчено. Разговор с Малинским, необходимость, вынудившая его признаться в незнакомстве с теоретической стороной своего дела, неприятно мучила его. Он поспешил попрощаться с Бжезовским и, условившись свидеться с ним на днях у себя, уехал домой. Всю дорогу

он не мог отделаться от тяжелого чувства. Он не мог не признать, что Малинский ловко попал в его слабое место. Кольцов никогда не любил теорию и, будучи еще студентом, принадлежал к партии так называемых «облыжных» студентов, то есть таких, для которых вся наука сводилась к экзаменам. Выдержал экзамен, и долой весь лишний хлам из головы. Первые годы практической деятельности отсутствие правильной теоретической подготовки мало чувствовалось, — во-первых, изучение практической стороны дела требовало немало времени, во-вторых, и роль была все больше исполнительная. Теперь, через двенадцать лет, Кольцову приходилось выступать уже в такой роли, где требовалось много инициативы, путь открывался для широкого творчества, и на каждом шагу он чувствовал все больше и больше свое слабое место — недостаточную теоретическую подготовку. Та масса новых, оригинальных идей, которые сидели в его голове и которые задачей своей жизни он поставил пропагандировать в жизнь, требовали для надлежащей авторитетности того, чтобы облечь их в научную форму. Кольцов чувствовал, что без этого он никого не убедит, что все отнесутся к его идеям с обидным недоверием.

Он считал, что сегодняшний его разговор с Малинским подрывает его авторитет как человека науки не только в глазах самого Малинского, но и всего кружка горных инженеров, между которыми Малинский признавался авторитетом.

Унылым и подавленным приехал он домой.

— Неудача? — встревоженно встретила его жена.

— Нет, кажется, полная удача, — ответил Кольцов, входя в свой скромный кабинет и опускаясь в кресло.

Жена села возле него и пытливо заглядывала ему в глаза. Кольцов старался избежать встречи с ее глазами.

— Воздух спертый, — проговорил Кольцов.

— Квартира сырая, комнаты маленькие. Сегодня у Коки за кроватью на стене я нашла гриб. Меня так беспокоит, как бы эта сырость не отразилась на здоровье детей. Они так побледнели за зиму.

— Надо почаще вентилировать, — заметил Кольцов.

— Каждый день вентилируем, — ответила жена. — Когда б уж скорее весна начиналась, начну их по целым дням на воздухе держать.

Кольцов облокотился и задумался.

— Ты не в духе? — помолчав, спросила его жена.

— Так, немножко неприятно, — нехотя отвечал Кольцов, решив ничего не говорить жене.

Через полчаса, однако, он уже все ей рассказал.

— Что ж тут такого, что могло тебя так огорчить? — успокаивала его жена. — Во-первых, большая разница между ним и тобой: он ведет оседлую жизнь, дела у него сравнительно с тобой почти нет, он, наконец, любит теорию, ты любишь практику. Профессор, может быть, из тебя не выйдет, но ведь и не желаешь им быть. Ваш же министр и вовсе не инженер, а министр про то.

— Ну, это, положим, не довод. Я не знаю, что нашего министра вывело в люди, но знаю, что чем дальше, тем больше будут искать во мне таких причин, которые дали бы возможность моим противникам свести меня на нет, и моя слабая теоретическая подготовка будет мне в жизни громадной помехой.

— Но, если и так, что тебе мешает пополнить пробел — тебе тридцать пять лет — твое время не ушло.

— Вот именно я думал, что, когда начнется постройка, время будет посвободнее. Я повторю всю теорию и займусь литературой. Ведь не то чтоб я ее забыл, а так, забросил. Пристань ко мне с ножом к горлу, я и теперь сумею расчитать любой мост.

— Миленький мой, я ни капли в этом не сомневаюсь, — ответила его жена, обнимая и целуя его.

Кольцов повеселел и начал рассказывать жене, как хорошо у Бжезовских, как у них пахнет весной, как ему вспомнился юг.

Анна Валериевна — сама южанка — понимала мужа, жалела, что не поехала с ним к Бжезовским.

— Ах, Вася, Вася, чего бы я не дала, чтоб жить нам на юге, — страстно проговорила она. — Как бы расцвели там Дюся и Кока.

— Что делать! — вздохнул Кольцов. Он встал.

— Неужели заниматься? — спросила испуганно жена.

— Нужно бы, очень нужно, но устал, и мысли в разброде. Пойду только отдам распоряжение на завтра. Не знаешь, Татищев и Стражинский...

— Целый день занимались, — перебила его жена, — и теперь, кажется, в конторе. Отпусти ты их или приходи с ними чай пить. Я буду вас ждать.

— Хорошо, — ответил Кольцов, уходя в контору.

Татищев и Стражинский приготовили Кольцову сюрприз. Он застал их усердно работавшими.

— Господа, вы меня стыдите, — проговорил Кольцов, весело с ними здороваясь. — Бросьте работу, ведь не каторжные же мы в самом деле.

— Скоро конец, — весело проговорил Татищев. — Ну, вот, смотрите, кончили мы то место, где вы хотите тоннель делать вместо мостов.

— Уж вычертили? — удивился и обрадовался Кольцов.

— Да надо же когда-нибудь кончать? — рассмеялся Татищев.

Кольцов растрогался и горячо пожимал руки Татищева и Стражинского. Он не утерпел, чтобы не прикинуть, как ляжет тоннель. Мало-помалу все трое так увлеклись, что и не заметили, как пробило два часа.

Анна Валериевна напрасно несколько раз звала их пить чай.

Горничная каждый раз приносила все тот же стереотипный ответ: «Сейчас». И Анна Валериевна снова послала разогреть самовар, снова заваривала свежий чай, так как Кольцов не любил перестоявшийся. Горячие ватрушки давно уже остыли, поданный в пятый раз самовар опять стал совершенно холодным, Анна Валериевна с книгой в руках так и заснула на диване в ожидании, когда наконец Кольцов вошел в столовую. Он тихо подошел к жене и поцеловал ее.

— Миленький мой, как ты опоздал, — сказала она, просыпаясь. — А где же Стражинский и Татищев?

— Спать пошли — два часа.

— Два часа? — переспросила Анна Валериевна и замолчала.

Ей стало досадно, что и этот вечер ушел от нее.

— Вы мне ни одного вечера не подарили с тех пор, как я здесь, — тихо проговорила она, и слезы обиды закапали из ее глаз.

Кольцов горячо обнял ее и начал утешать.

— Скоро, скоро уж конец. Тогда опять все твои вечера.

Он рассказал ей, какой сюрприз ему устроили его товарищи, как незаметно они увлеклись проектировкой и как опомнились, когда уже было два часа.

Бжезовский приехал к Кольцову в назначенное время и изъявил свое согласие на участие в подряде. Нужно было торопиться ехать на торги. Кольцов давал ему всякие инструкции.

— Если бы даже мой вариант и не поспел к торгам, будет строиться все ж таки он, а не прежний, поэтому не спешите набирать большую администрацию, так как теперешняя линия на сорок процентов дешевле прежней.

Бжезовский уехал. Окончил и Кольцов свои варианты.

— Что бы вы сказали, Павел Михайлович, если бы я вас командировал с проектами? — спросил Татищева как-то Кольцов.

Татищев покраснел от удовольствия.

— Я с удовольствием, — ответил он.

— Стражинский баотрез отказался ехать в отпуск, а вы проситесь.

— Я с удовольствием, — повторил Татищев.

— А сумеете вы защитить нашу красавицу — новую линию?

— Она не нуждается в защите, — с несвойственной ему горячностью и уверенностью ответил Татищев.

— Очень рад, — ответил Кольцов. — Ваш ответ показывает убежденность, а когда человек убежден, он все делает.

Татищев приехал в город за два дня до торгов.

Первым делом он явился к начальнику работ.

Его потребовали не в очередь.

В небольшом, скромно меблированном кабинете из угла в угол ходил лет пятидесяти главный инженер Елецкий, среднего роста, хорошо сложенный, с сохранившимися красивыми чертами лица.

Татищев вошел и поклонился.

— Здравствуйте, — медленно проговорил Елецкий, протягивая руку Татищеву. — Что скажете хорошенького?

— Вариант привез, — весело-почтительно ответил Татищев.

Легкая улыбка сбежала с лица Елецкого. На лбу появились складки, и он раздраженным голосом переспросил:

— Вариант? Опять вариант? Да так же нельзя, господа!

Татищев потупился и не нашелся ничего ответить.

Елецкий несколько секунд постоял, сердито махнул рукой и заходил по комнате.

Несколько минут тянулось тяжелое для Татищева молчание. Елецкий забыл о Татищеве и весь погрузился в свои мысли. Татищев слегка кашлянул.

— Извините, пожалуйста, — спохватился Елецкий. — Присядьте.

И он опять зашагал по комнате.

— Все эти варианты, — прекрасная вещь, но все в свое время, — заговорил Елецкий успокоенным голосом. — Вы, господа, совершенно забыли о постройке, а мы два года уже делаем изыскания. Мне проходу нет в Петербурге, когда я наконец начну постройку, а я в ответ то и дело вожу все новые и новые варианты. «Последний?», — спрашивают. «Последний», — и через три месяца опять совер-

шенно новая линия. Ведь наконец кончится тем, что нас всех прогонят, — остановился он перед Татищевым.

Татищев смущенно ерзал на стуле.

— Когда же конец будет? — наступал на него между гем Елецкий. — Через три месяца вы мне опять привезете новый вариант; когда же мы строить будем, что же я скажу в Петербурге, когда только что приехал оттуда, дав чуть ли не честное слово, что изыскания окончены. Два года идут изыскания, а линии нет, — помолчав, продолжал Елецкий. — Варианты, варианты, без конца варианты.

— Живое дело, — робко заметил Татищев, — одно хорошо, другое лучше.

— Но ведь так же без конца может продолжаться, — вспыхнул Елецкий. — Где же конец? Наши изыскания сумасшедших денег стоят.

— Но каждый лишний рубль, истраченный на изыскания, даст тысячные сбережения в деле, — заметил Татищев.

— Так ведь это мы с вами знаем, а подите вы расскажите это в Петербурге, что вам ответят? Ответят, что дороже наших изысканий еще не было.

— Но экономия... — начал было Татищев.

— Да что вы все о своей экономии. Не говорите о вещах, о которых понятия не имеете. Я тридцать лет строю и знаю эту экономию на изысканиях. Дешево, хорошо, пока не начали строить, а чуть началось — и пошла потеха, — там неожиданно оказалась скала вместо глины, там плывун, там приходится вместо простого котлована кессон опускать, смотришь — вместо экономии перерасход. Знаю я эту экономию.

Елецкий зашагал опять по комнате.

— Теперь вы мне за два дня до торгов привозите новый вариант. Мы вот уже месяц сломя голову подготавливаем данные, и что ж — теперь опять все сначала? Торги откладывать? Да попробуй я дать об этом телеграмму в Петербург — завтра же меня не будет и никого из вас.

Опять наступило молчание.

— Во всяком случае и думать нечего рассматривать новый вариант до торгов, — закончил Елецкий, останавливаясь перед Татищевым.

Последний поднялся и начал откланиваться.

— До свидания. После торгов я дам знать.

У Татищева вертелось в голове сказать Елецкому, с какой целью Кольцов торопился поспеть до торгов с своим вариантом, но он подумал, что это бесполезно и только вызовет новую бурю.

Татищев вышел в приемную с чувством школьника, хотя и получившего незаслуженную головомойку, но утешенного тем, что пострадал не за себя, а за Кольцова. Мысль, что на три дня он совершенно свободен, привела его в веселое настроение.

Он через ряд комнат направился в техническое отделение проведать товарищей.

В чертежной он столкнулся с начальником технического отделения, пожилым уже инженером, с Иваном Осиповичем Залеским.

Залеский слыл за тонкого дипломата, но в сущности был добрый человек. Девиз его по службе был: «Моя хата с краю, ничего не знаю».

— Павел Михайлович, — радушно поздоровался Залеский с Татищевым. — Сколько лет, сколько зим... Что Кольцов?

— Ничего, вариант прислал, кланяется.

— Опять? — спросил Залеский и весело рассмеялся.

— Николай Павлович недоволен.

— А, вы уж виделись с ним?.. Недоволен? — встревоженно спросил Залеский и, не дожидаясь, сказал: — Да, знаете, у него много неприятностей по поводу изысканий. Дорого стоят.

— Но что же делать? — на этот раз смело спросил Татищев, — ведь это гроши по сравнению с той пользой, какую они приносят.

— Конечно, — согласился Залеский. — Ну, что, надолго к нам?

— В отпуск хочу.

— Может, жениться?

— Куда тут жениться, — махнул рукой Татищев и рассмеялся.

Залеский тоже рассмеялся и пошел в свой кабинет. А Татищев поворотил направо, прошел коридор и очутился в большой комнате.

Там сидели за отдельным столом три инженера.

— Павел Михайлович! — раздались приветствия на разные голоса.

Татищев поспешно здоровался, его широкое лицо сияло добродушием и весельем. Окончив, он сел на табурет, и, ни к кому особенно не обращаясь, начал:

— Ну, и вздули меня. «Опять вариант! — говорил он, представляя Елецкого, — вы что же, хотите, чтоб нас совсем прогнали?» — и Татищев покотился со смеху. Припадок смеха, по обыкновению, продолжался у Татищева довольно долго. Он умолкал, потом опять начинал.

Бельский, Дубровин и Денисов сначала с недоумением смотрели на него, но кончили тем, что и сами начали смеяться.

— Да будет, — остановился наконец Бельский. — Говорите толком, в чем дело?

— Да вариант привез, — едва мог проговорить Татищев и залился новым смехом.

На этот раз дружный хохот четырех здоровых молодых голосов слился чуть ли не в рев.

Татищев кое-как наконец рассказал про вариант и про прием Елецкого.

— Большой вариант? — спросил Бельский.

— Тысяч шестьсот сбережения.

Бельский только свистнул.

— Молодец Кольцов, — горячо сказал Дубровин.

— Молодчина! — подтвердил Денисов.

Бельский, нервный и раздражительный, занимавший должность старшего инженера в техническом отделении, разразился ругательствами:

— А, скоты! Вариант в шестьсот тысяч, и чуть не с площадной бранью встречают. Подлая казенщина!

— Это, батюшка, еще цветочки, — сказал Дубровин. — Попомните меня, что кончат тем, что выгонят Кольцова.

— Ну, положим, не посмеют, — задорно ответил Бельский.

— Именно, что не посмеют, — расхохотался Дубровин.

— Понятно, не посмеют, — рассердился Бельский. — Общественное мнение не позволит.

— Ну, еще что? — насмешливо спросил Дубровин.

— Случись что-нибудь подобное, и никто из порядочных не захочет оставаться у них. Вы останетесь?

— Это другой вопрос, батюшка, — не в нас с вами сила. Мы уйдем, другие явятся.

— Не явятся, не то время.

— Да, испугаете вы их, — ответил Дубровин.

Денисов молча слушал и, когда спор кончился, спокойно проговорил:

— Конечно, уйдем, если б прогнали Кольцова, только этого не будет. Елька посердится и примет вариант.

— А я убежден, что не примет, — возразил Дубровин.

— Не примет, — согласился Татищев.

— Примет, — сказал Бельский. — Кольцов настоит. Вариант с вами?

Татищев принес вариант.

Компания начала внимательно его рассматривать. Каждый делал свои замечания, поднялся спор, который чуть было не кончился ссорой между Дубровиным и Бельским.

Помирил их Денисов, выругав обоих.

— Вы, господа, право, как мальчишки, привязываетесь к каждому слову друг к другу. В сущности спор у вас из-за выеденного яйца и общего с вариантом ничего не имеет. Перед вами вариант Кольцова: одобряете его или нет?

— Конечно, одобряем, — ответил Бельский.

— И я одобряю, — с важной физиономией сказал Денисов, — а потому предлагаю послать Кольцову приветственную телеграмму. Согласны?

— Молодец, Васька, — весело сказал Бельский и взъерошил волосы Денисову.

— Без нахальства, — тем же тоном продолжал Денисов. — Я составляю телеграмму. Я беру карандаш, я беру бумагу. Дальше...

Началось совещание. Окончательная телеграмма получила такого содержания:

«Поздравляем прекрасным вариантом. Да здравствуют даровитые честные инженеры. Желаем успеха и дальнейшего саморазвития».

На последнем слове настоял Дубровин.

— Он поймет, — говорит он, — на что ему намеки.

Кольцов очень обрадовался телеграмме и несколько раз перечитывал ее.

— Это насчет моей теории ояи, мошенники, намекают, — добродушно объяснял он своей жене. — Ну, зима пройдет, займусь и теорией.

Теперь Кольцов все вечера проводил дома. Жена его повеселела и оживилась.

Кольцов, охладевший было за время работ к детям, теперь опять привязался к ним и по целым часам рассказывал своему трехлетнему сыну все ту же сказку.

Любимым его занятием было отыскивать сходство между собой и сыном. Эти исследования приводили Кольцова не к одним и тем же выводам. Сегодня Кока как две капли воды походил на отца, завтра только нос лопаточкой был в него, а остальное чужое.

— Ну, глаза еще твои, — обращался он к жене, — а остальное чужое.

— На кого ты похож? — спрашивала мать сына.

— На папу, — отвечал мальчик.

— Слышите, неблагодарный. Ваш сын знает больше вас.

— Отличное доказательство. Кока, кто умнее, папа или ты?

— Я.

— Кто умнее, папа или аргамак?

— Аргамак.

— Кого ты больше любишь, папу или аргамака?

— Арг...

— Кока, — перебила его мать, — кого ты больше любишь, аргамака или папу?

— Папу.

У мальчика была страсть к лошадям. Лошадь была для него недостижимым идеалом, к которому он всеми силами стремился. Бежать, как лошадь, есть, как лошадь. Если он упадет, то стоило ему сказать, что он упал, как лошадь, и несмотря на боль, а вскочит и весело побежит объявлять всем, что он упал, как лошадь.

— Папа, я упал, как лошадь! — кричит он еще из другой комнаты, усердно работая своими маленькими ножками. — Вот так! — и для примера еще раз падает на пол.

— Глупенький ты мой мальчик, — подхватывал его с полу Кольцов и высоко подымал вверх.

— Я не плакал, — лепетал между тем Кока. — Я мужчина.

Кольцов приходил в восторг и начинал теребить сына.

— Папа, — снисходительно говорил мальчик, стараясь вырваться из рук отца.

— Ну, говори про козла.

Мальчик принимал сосредоточенное выражение лица и начинал медленно, наставительным тоном декламировать:

— Смотрит козел в воду и говорит: «Какой я козельчик, какая у меня борода и пристрашные рога. Если волк придет, я его убью». А волк слушает и говорит: «Что ты, Васька, говоришь?» А Васька говорит: «И-и, я ничего, ваше благородие».

Последнее время постоянный кашель изнурил и раздражил ребенка. Забегается ли слишком, начинается тяжелый приступ кашля. Мальчик кашляет, кашляет и вдруг тихо и горько заплачет. Столько бессильного страдания, столько горя слышалось в этом маленьком плаче, что жена Кольцова сама начинала плакать, а Кольцов готов был все на свете отдать, чтобы только облегчить его страдания.

— Уход плохой, — приставал Кольцов к своей жене. — Я не знаю, чего нельзя на свете сделать, если захочешь. Растирай его, парным молоком пой, давай малинку, пригласи еще из города доктора, — вот что надо делать, а не плакать.

Кольцов горячился, приставал к няньке и, по своему обыкновению, чем больше горячился, тем больше был неправ. Делалось все, что можно было делать, но средства были бессильны. Доктор, впрочем, успокаивал и говорил, что с весной все пройдет. Понятно, с каким нетерпением ожидалась весна в доме Кольцова.

Прошла неделя со дня получения телеграммы Бельского и товарищей, Кольцов поехал на линию проверить разбивки. Уже совсем стемнело, когда уложив инструменты, он поехал домой. Дорога шла по реке. Зима подходила к концу, но лед был еще крепкий. Всплыла луна и мало-помалу залила своим волшебным светом округу. Силуэты оборванных скал сплошной стеной тянулись по обеим сторонам реки.

Прежняя линия вследствие обманчивого света луны казалась где-то в недостижимой высоте; новая, пользуясь естественными уступами, шла недалеко саней. Кольцов с гордостью любовался делом своих рук.

«Та, прежняя, — думал он, — как старая ведьма, скачет там где-то в небе с утеса на утес. Я разыскал мою красавицу в этой бездне скал и утесов, вырвал ее у природы, как Руслан вырвал у Черномора свою Людмилу».

И фантазия перенесла Кольцова в далекое прошлое.

«Сюда приходили, — думал он, — наши предки искать себе славы. Только в таких местах, под впечатлением этой дикой природы, могли сложиться наши чудные сказки, только здесь могла проявиться та дикая, непреклонная воля, какою одарил народ своих героев. Здесь пролагали себе путь в панцирях и шлемах богатыри русской земли. Здесь прошли орлы Всеволода III, здесь Ермак нечеловеческими усилиями проложил себе путь к славе. Прошли века, и вот мы пришли докончить великое дело. Проведением дороги мы эти необъятные края сделаем реальным достоянием русской земли. Это будет второе завоевание этого края. И как Ермак некогда с ничтожными силами приобрел его, так и мы должны употребить все силы, чтоб уменьшить стоимость постройки дороги. Нельзя строить дорого, у нас нет средств на такие дороги, а нам они необходимы, как воздух, как вода. Восток гибнет оттого, что не имеет дорог. Общество право в своем раздражении на нас, инженеров. Оно не выяснило себе еще причины, ищет ее там, где ее нет, но история выяснит, именно причина в нашем неуменье дешево строить. Мы как заимствовали тридцать лет тому назад способ постройки у наших дорогих соседей, так при нем и остались. Разве наша бедная русская жизнь может сравниться с богатым Западом? Если

бы русский изобрел железные дороги, а не Стефенсон, разве дошли бы мы до той роскоши, какая царит на наших дорогах? И что бы его могло вдохновить на бархат, зеркала, дворцы-будки, дворцы-вокзалы? — Наши перекладные? Наши бывшие почтовые станции? Наши нищие деревни? Наши грязные города с их гостиницами-клоповниками? Именно здесь, когда мы приступаем к этому великому пути, когда все окружающее здесь, вся история должны напомнить нам, что мы, русские, мы, инженеры, обязаны поставить на совершенно новую почву постройку дороги. Мы должны показать Западу, что мы, русские инженеры, способны не только воспринимать его великие идеи, но и культивировать их в условиях русской жизни. А это, в свою очередь, покажет на достаточную подготовку к самостоятельному творчеству. И, как некогда Ермак искупил свою и товарищей своих вину, так и мы, инженеры, дешевой постройкой должны искупить нашу невольную вину перед родиной».

Кольцову стало жарко. Он снял шапку и провел рукой по лбу. Его глаза горели и усиленно смотрели вдаль. Он точно видел себя лицом к лицу со всеми обитателями своей необъятной родины.

«Да, нет выше счастья, как работать на славу своей отчизны и сознавать, что работой этой приносишь не воображаемую, а действительную пользу. Это — жизнь, это — напряжение. Пусть проходит молодость с ее радостями любви; что жалеть о них, когда радости эти сменяются более высшими наслаждениями, сознанием делаемой пользы, сознанием, что заслужил право на жизнь».

Мысль, что заслуг инженера путей сообщения в обществе не признают, неприятным диссонансом пронеслась в его голове. Но по свойству своей оптимистической натуры Кольцов подавил в себе неприятное чувство, рассуждая, что заслуга останется заслугой, а как непризнанная она имеет двойную цену.

Да, если бы удалось провести в жизнь все задуманное. Но как провести? Где найти то ухо, которое захотело бы услышать истину. Одни погрязли в рутине, другие преследуют корыстные цели, третьи устарели, четвертые просто ничего не понимают. Что толку, что Бельский, Дубровин, Денисов — сторонники взглядов Кольцова, — не в них пока сила. Как обратить внимание тех, от которых зависит решение вопроса?

«Время не ушло еще, — думал дальше Кольцов. — Я один ничего не сделаю. Вот разве в компании с Бельским, Дубровиным, Денисовым составить докладную записку на

имя начальника работ о возможных сокращениях расходов при постройке нашей линии. Если эта записка опоздает для нашего участка, то время не ушло для других. Экая досада, что раньше не пришло в голову. Что делать? Лучше поздно, чем никогда. Надо будет разбить эти вопросы по главной расценочной ведомости. Я предложу каждому из них взять по две главы и разработать все и с практической и с теоретической стороны, а сам займусь составлением общей записки. Не примут — мы будем спокойны, что свое дело сделали, а если примут...»

И горячая фантазия Кольцова унесла его в такую заоблачную даль, что нам с вами, читатель, следовать за ним не стоит.

Дома Кольцова ожидал весьма неприятный сюрприз, который сразу спустил его на землю.

— Миленький мой, — встретила его жена. — Придется вам ваши мечты о славе на время отложить, — она точно подслушала Кольцова, — вот телеграмма Татищева. Вариант не принят.

Телеграмма была следующего содержания.

«Вариант окончательно забракован. О радиусе 150 и тоннели слушать даже не хотят».

Для Кольцова это было полным сюрпризом.

— А черт с ними, — проговорил он упавшим голосом. Он сел в кресло и уныло замолчал.

— И Татищев тоже хорош. Телграфирует, точно его зарезали. Пойдут теперь сплетни по заводу.

— Что ж делать? — утешала его жена. — Ты, что мог, сделал, там уж не твое...

— А черт с ними, — еще раз апатично проговорил Кольцов.

Он встал, несколько раз прошелся и, скороговоркой проговорив: «Я спать пойду», — ушел в спальню.

На вопрос жены:

-- А обедать?

Он, уходя, ответил нехотя:

— Нет.

Жена Кольцова знала натуру своего мужа. Всякое серьезное огорчение вызывало в нем полный упадок сил и потребность продолжительного сна.

Не знавший усталости Кольцов, раздеваясь, почувствовал себя таким усталым, таким разбитым, что едва мог стащить свои тяжелые сапоги. Он почти мгновенно заснул и едва слышал, как его жена, наклонившись над ним, поцеловала его, прошептав:

— Не огорчайся, мое счастье, все, бог даст, будет хорошо.

«Хорошо, — машинально пронеслось в его голове. — Действительно, хорошо», — промелькнуло в последний раз в его засыпающем мозгу, и чувство сладкого успокоения разлилось по его членам. В то же мгновение крепкий здоровый сон без сновидений сковал Кольцова. Он проснулся только на другой день, проспав четырнадцать часов.

Мысль о варианте только в первый момент неприятно кольнула его.

«Надо самому ехать», — думал он, послешно одеваясь.

Жена, услышав шум в спальне, вбежала с телеграммой в руках.

— От Елецкого, — проговорила она, целуя мужа.

Кольцов жадно схватил телеграмму:

«Из ваших вариантов останавливаюсь на линии прошлого лета. О радиусе и тоннели при теперешних условиях не может быть и речи».

Вежливый тон телеграммы успокоил Кольцова.

— Ну, вот это ответ. По крайней мере никакой пищи нет досужим сплетням. Ясно, что в одном и том же месте двух линий сразу нельзя выбрать, а так как обе мои, то ничего и обидного нет. За эту деликатность я ужасно люблю Елецкого, — говорил Кольцов повеселевшим тоном.

Жена Кольцова тоже просияла, увидев, какое действие произвела телеграмма на мужа.

За чаем Кольцов сказал ей, что решил сам ехать.

— Без разрешения? — спросила, испугавшись, жена.

Кольцов не ответил, так как и сам не знал, как быть. С одной стороны, нужно было торопиться, а разрешение затягивало отъезд, да и сомнительна была возможность его получения в данный момент, с другой — ехать без разрешения было невежливо и, пожалуй, рискованно.

— Могу испортить все дело. Он сам такой деликатный и терпеть не может не деликатности в других.

Решено было так. Кольцов телеграфировал Бельскому, чтоб тот действовал в смысле вызова его, Кольцова, для личных объяснений. Елецкому Кольцов послал телеграмму в двести пятьдесят слов. Тон телеграммы мало было бы назвать горячим. Страстные доводы Кольцов закончил следующими словами: «Прошу извинить за настойчивость, необходимость варианта настолько очевидна, что не может пройти незамеченным. Во избежание справедливых нареканий в будущем вынужден беспокоить вас просьбой разрешить лично приехать».

К вечеру Кольцов получил следующий ответ:

«Ваша телеграмма не переменяла моего решения. Если считаете необходимым, приезжайте».

Кольцов выехал в ночь.

Оставлял он семью с тяжелым чувством. Кашель у Коки становился все сильнее. В самый момент выезда сильный припадок так ослабил мальчика, что он весь посинел и впал в легкий обморок. Такого припадка еще не было.

Тяжелое предчувствие недоброго конца этой болезни первый раз закралось в душу Кольцова. Всем существом рвануло его к сыну, он забыл все на свете, схватил его на руки, прильнул к его исхудалому личику, и горькие слезы полились из глаз. Прощанье было подавляющее и тяжелое. Никогда еще Кольцов не оставлял свою семью с угнетенным чувством тоски и сознания своего бессилия что-нибудь изменить из предназначенного судьбой. Первый раз после долгих лет рука его поднялась, чтоб осенить своего маленького сына крестом.

— Да хранит тебя господь! — с глубоким чувством проговорил он.

Кольцов остановился в квартире Бельского, Дубровина и Денисова.

Компания рассказала ему, что «Елька» страшно взбешен и против варианта. На торгах линия осталась за Бжезовским, и распорядителем работ был приглашен Делори. Делори тоже высказался против варианта, указывая на слабую его сторону — захват реки, и немало содействовал тому, что вариант Кольцова был забракован.

Послушайте, Кольцов, — говорил ему Бельский на другой день, идя с ним в управление, — главное, не горячитесь. Помните, что с Елькой можно работать, он человек честный и действует по убеждению. Доказать ему всегда можно, но это надо сделать спокойно, рассудительно и толково. И вы это можете, если захотите. Смешно же, в самом деле, всю жизнь изображать из себя лошадь, которой чуть попадет вожжа под хвост — и пошла потеха. Вспомните только, что двенадцать лет работая, вы еще ни одного дела не довели путно до конца. Начнете блистательно, потом по поводу выеденного яйца появляется на сцену вопрос о доверии, и — Кольцов за бортом. И кончается тем, что все сыграется в руку прохвостам. У вас дело правое и стойте за него до смерти, — пусть вас по суду гонят, если хотите, но с какой же благодати губить дело из-за личного самолюбия?

— Правда есть в ваших словах, — отвечал Кольцов. — Личного болезненного самолюбия у меня больше, чем на-

до, но я вам скажу одно. Четыре раза уже я бросал дело и уходил со скандалом. Временно мне были заперты все двери в нашем университете, но никогда я не жалел, что поступал так. При тех условиях не было другого выхода. Теперь иное дело. Во всяком случае я не буду горячиться, спасибо вам.

— Вас уже прозвали трубадуром, но если вы из теперешнего положения дела опять сделаете министерский вопрос, я буду называть вас бестолковым трубадуром.

— Не сделаю, — отвечал Кольцов.

В передней правления они расстались. Бельский прошел в техническое отделение налево, Кольцов — в кабинет начальника работ направо.

В ожидании приезда начальника работ Кольцов заглядывал во все комнаты правления, отыскивая знакомых. Все здоровались с ним радушно, но как-то обидно-снисходительно. Все знали про его неудачный вариант, и общее мнение было, что Кольцов, что называется, зарпортовался.

Выразителем общего мнения был Щеглов, правитель канцелярии.

— Что, батюшка, сорвалось? — встретил он Кольцова. — Ну, что ж делать? Не всякое лыко в строку. Надо вас и осадить немножко, а то этак вы через год и до министра доберетесь.

— Руки коротки для осадки, — строптиво возразил Кольцов.

— Будто коротки? — спросил Щеглов, добродушно подмигивая своему помощнику. И ласково прибавил: — Ну, ну, ладно, бог с вами. Где вы сегодня вечером?

Пришел швейцар и доложил, что начальник работ приехал и просит Кольцова.

Кольцов вскочил, застегнул пуговицу и, не прощаясь, быстро пошел за швейцаром.

— Будет баталия, — сказал Щеглов, закуривая папироску. — Надо послушать.

И он, собрав для подписи нужные бумаги, неспешной походкой направился к Елецкому.

Когда он вошел в рабочую комнату начальника работ, из кабинета донесся до Щеглова взбешенный, громкий голос Елецкого:

— Да что же это, наконец, такое? Слова нельзя сказать, как он свою отставку сует.

На этот возглас не замедлил взволнованный ответ Кольцова:

— Вариант необходим. Вопрос в том, что я, может быть, не сумел доказать вам его необходимость, вот почему я должен буду оставить свое место, чтобы уступить его более способному доказать это.

Щеглов постоял несколько мгновений нерешительно, махнул рукой и возвратился в свой кабинет.

Кольцов продолжал:

— Николай Павлович, поверьте мне, что я прекрасно знаю все те неприятности, которые вы испытываете, но чем же виновато дело, что во главе его стоят люди, не понимающие его? И, наконец, то, что сегодня не ясно, будет как на ладони, когда дорога выстроится. Огорчения теперешние будут пустяком по сравнению с теми, которые мы с вами испытаем тогда. Вы говорите, что нас выгонят. Для вас уступка невежеству непринятием моего варианта, может быть, имеет полный смысл, — вы этим спасаете все дело, но где же утешение для меня? Все мое дело заключается в этом варианте, мое неумение провести его в жизнь — уже тяжелое сознание своего бессилия, и неужели же мне, сверх этого, в течение двух лет постройки еще мучиться изо дня в день при мысли, что я строю не то, что должно, и что строится это только благодаря моей неспособности доказать, что белое — белое, а черное — черное? Вот что побуждает меня заявить о своей отставке. Это не взбалмошное чувство оскорбленного самолюбия. Я отлично знаю, что я теряю, оставляя службу, — лучше поставленного дела я не видал еще, да и вряд ли где-нибудь найду.

Кольцов замолчал.

Елецкий мрачно ходил по комнате. Молчание длилось несколько минут.

— Кончится тем, что мне самому придется уйти, — проговорил Елецкий, махнул раздраженно рукой. И, обратившись к Кольцову, сердито спросил: — Где вариант?

Кольцов быстро развернул чертежи и взволнованно начал излагать идею нового варианта.

Через четыре часа Кольцов вышел из кабинета начальника работ, и по его счастливому лицу не трудно было угадать, в чем дело.

Елецкий вышел немного спустя и прошел в кабинет своего помощника.

Инженер Стороженко, около пятидесяти лет, плотный, среднего роста, с гладко выбритым лицом, густыми усами, большими выразительными глазами, производит при первом взгляде впечатление человека слегка грубоватого, но добродушного и прямого. Но тем не менее это был дипломат в своем роде, как вообще все хохлы. Будучи безуко-

ризенно честным, он строго держался правила: «Моя хата с краю, ничего не знаю». Личную инициативу он проявлял только в том направлении, о котором знал, что оно будет одобрено. В вопросах сомнительных он хотя и выражался решительно, но так, что из его слов ничего нельзя было вывести.

Елецкий вошел и сел на диван.

— Что за молодец Кольцов! Трое-четверо таких инженеров — и можно хоть всю Сибирскую дорогу взяться строить.

— Он приехал?

— Только что от меня. — Елецкий помолчал. — Прекрасный вариант, — сказал он. — Только время упущено. Теперь в Петербурге опять пойдут разговоры.

Наступило молчание.

— Да, — неопределенно проговорил Стороженко.

— Семьсот тысяч экономии. Татищев напутал, совсем не так доложил, молодой. Возьму Кольцова с собой — пусть сам сделает доклад. Я там сам не был, ехать некогда, а на заседании могут подняться такие вопросы, на которые может ответить только работавший на месте.

— Конечно.

— Всю зиму работал в поле, Стражинского чуть не в чухотку вогнал.

Стороженко кивнул головой. В переводе это означало: «Так и запишем».

— Через неделю надо ехать, — сказал Елецкий, подымаясь.

После ухода Елецкого вошел Залеский.

— Ну что вариант Кольцова?

— Принят, — ответил Стороженко.

— Принят? — переспросил выжидательно Залеский.

— Семьсот тысяч сбережения. Прекрасный вариант. Татищев напутал: молодой. — И, помолчав, прибавил: — Дельный работник Кольцов.

— Ах, какая энергия, — подхватил Залеский.

— Стражинского, кажется, в чухотку вогнал.

— Огонь, — весело рассмеялся Залеский.

В такой редакции и по городу пошла новая волна. Блестящий вариант, неутомимый Кольцов, Татищев напутал, Стражинский в последнем градусе чухотки.

Инженер Косяковский в обществе дам доступным языком излагал положение дел:

— Кольцов сам дельный человек. Сделал действительно прекрасный вариант, но выказал полное неумение выбирать

подходящих людей. Татищеву поручил делать доклад. Я понимаю — поручить ему организацию пикника.

Веселый хохот прервал оратора.

— Кольцов — это предель, — сказала Мария Павловна Звиницкая. — Я в прошлом году ехала с ним в поезде, и, право, если бы еще несколько часов наша поездка продлилась, я за себя не поручилась бы.

Звиницкая покраснела при всеобщем смехе. Вечером Мария Павловна так резюмировала матери содержание разговора:

— Кольцов прекрасный работник в сфере, какую может обхватить один человек, но как распорядитель большого дела никуда не годится, так как не имеет никаких способностей выбирать людей.

А Кушелев, отец Марии Павловны, управляющий соседней дорогой, на другой день добродушно говорил Елецкому:

— Придется, Николай Павлович, вам самому подобрать помощников Кольцову, а то он окружит себя такими, как Татищев.

— Да, непременно, — убежденно отвечал Елецкий.

— Павла Николаевича надо к нему. Это человек, который сумеет позаботиться об остальном, когда Кольцов, по свойству своей натуры, чем-нибудь увлечется.

Павел Николаевич Звиницкий, муж Марьи Павловны, тоже инженер, был одним из кандидатов на должность начальника дистанции на предстоящую постройку.

Елецкий промолчал на слова Кушелева.

Выбор инженеров *de jure*¹ зависел от Временного управления, *de facto*² — от начальника работ. По традиции начальнику участка предоставлялось право выбора между имеющимися инженерами.

Павел Николаевич на другой день после описанного разговора был у Кольцова и выразил желание быть у него начальником дистанции. Кольцов обещал, так как свободные места у него были. Штат Кольцова состоял из четырех начальников дистанций, одного помощника и одного техника. На роль помощника он имел в виду Татищева, на роль техника — Стражинского, на остальные места еще никого не имел в виду.

— Что, если я буду проситься к вам? — спросил его Бельский.

Кольцов с удивлением посмотрел.

— Неужели пойдете? — радостно спросил он.

¹ юридически (лат.)

² фактически (лат.)

— К вам пойду.

— Seriously говорите?

— Конечно, серьезно.

— Я буду счастлив.

— А меня возьмете? — спросил Дубровин.

— И вы? С наслаждением. А вы? — обратился он к Денисову.

— Нет, я больной человек, на линию нельзя мне.

Стали строить планы близкого будущего. Выходило очень хорошо.

— Только Елька не пустит, — сказал вдруг Бельский упавшим голосом.

— Почему не пустит? — спросил Кольцов.

— Не пустит, — ответил Бельский. — Соединить нас втроем — что же это выйдет? Все вверх ногами поставим — и его не пустим на участок.

— Да как он может не пустить, — возражал Кольцов. — Это мое право выбирать начальников дистанций.

Бельский в тот же день закинул удочку и рассказал свой план Залескому.

При докладе Залеский, между прочим, сказал Елецкому:

— Бельский и Дубровин хотят проситься к Кольцову.

— Дудки, — ответил добродушно Елецкий. — К этакому кипятку, как Кольцов, прибавить двух таких головорезов — они всю линию разнесут. Кольцову не пару подбавлять, а тормоза нужны. — И, помолчав, Елецкий прибавил: — Надо с этим кончить. Сегодня вечером приходите, составим списки на участки, и ночью надо их отпечатать. С конченным делом и разговоров не будет, а сегодня мне придется уж дома заниматься, чтоб избавиться от этих просьб. Скажите, что я заболел.

Кольцову так и не удалось в тот день поговорить с Елецким о своем штате, а на другой день в управлении уже был отпечатан приказ начальника работ о назначениях.

Переговоры Кольцова с Елецким на эту тему оборвались на первой фразе Елецкого.

— Я завален просьбами о назначениях. Начальники участков почти все одних и тех же приглашают, остальных никто не желает. Начальники дистанций почти все к одному просятся, к остальным не желают. Чтобы избавиться от этих бесконечных просьб, я решил изменить на этот раз способ назначения и сам всех назначил. Так как ваш участок самый трудный, то вам и назначены лучшие силы: Звиницкий, Штомор, Мартино, Касович и ваши прежние Татищев и Стражинский.

— Я хотел было просить о Бельском и Дубровине.

— С кем же я останусь? — вспыхнул Елецкий.

Через неделю Елецкий и Кольцов выехали в Петербург. Доклад сошел благополучно и, сверх ожидания, был встречен очень милостиво. Радиус сто пятьдесят, излюбленное детище Кольцова, пришелся как нельзя кстати.

В Петербурге в высших служебных сферах уже был возбужден вопрос об уменьшении радиуса.

На замечание председателя Временного управления, что жаль, что не употреблен при изыскании радиус сто пятьдесят, Елецкий с достоинством ответил:

— Я привез вариант с радиусом сто пятьдесят.

Передавая Кольцову об этом, Елецкий сказал:

— Вот и потолкуйте с ними. В прошлом году на заседании мое предложение насчет радиуса было единогласно отвергнуто, а в этом году они готовы меня же упрекнуть, зачем не ввел его.

И, помолчав, Елецкий пренебрежительно бросил:

— Флюгера!

Во Временном управлении Кольцов узнал, что необходимость радиуса сто пятьдесят настолько осознана, что Временным управлением уже началась перепроектировка существующей профили. Это дело было в заведовании товарища Кольцова — Никольского.

— Мы и до вас добрались, — сказал Никольский, разворачивая план прежде представленного Кольцовым варианта линии. — Объясните, пожалуйста, как нам быть. Возьмешь вашу профиль, начнешь откладывать на план — в воду залазишь. Начнешь по горизонталям откладывать, расстояния и углы не выходят.

— Ну? — спросил Кольцов.

— В чем тут дело? — не без ехидства переспросил Никольский.

— Очевидно, что в плане ошибка, — ответил Кольцов.

Да, тогда, конечно, понятно, — колко согласился Никольский.

— Еще мы заметили, — начал Никольский, но замолчал и начал рыться в бумагах.

— Что еще? — переспросил Кольцов, волнуясь и чувствуя себя неловко.

Никольский достал профиль и проговорил:

— Вот. Тангенс 37,75, другой — 40,52, вставка — 30 — сумма 78,97, а по пикетам длина линии 75,97.

— Опять ошибка, — покраснел Кольцов.

Никольский насмешливо улынулся и стал собирать бумаги. Несколько инженеров собрались и с любопытством смотрели на Кольцова.

— А еще в моем варианте вы ничего не заметили?

— Больше, кажется, ничего, — ответил Никольский тоном, говорившим, что и этого довольно.

— А экономии этого варианта против прежней линии на миллион сто тысяч рублей не заметили? — желчно спросил Кольцов.

Никольский удивленно посмотрел на Кольцова, но, встретив его налившиеся кровью глаза, быстро отвел свои и быстро стал собирать бумаги.

— И вам не совестно? — наступал на него Кольцов. —

Этот план, эта профиль — это мое вам донесение, что сделано миллионное сбережение. Это донесение полководца, что выиграно блестящее сражение, а вы, совет десяти в Венеции, ищете грамматические ошибки в рапорте и, опуская содержание, готовы начать обвинение за грамматические ошибки. Стыдно. Если вы грамотные, то по профилям можете убедиться, что места, где сделан вариант, сплошь состоят из разорванных скал, где немыслим математически точный промер: скалы, где два человека у меня вдребезги разбились, где каждое проложение цепи связано буквально с опасностью жизни. Вы ищете точности в три сажени на двадцативерстном расстоянии, когда от отсыревшей линейки и сухого помещения всегда может получиться такая ошибка.

— Это не наше дело.

— Не ваше. А какое же ваше дело? Игнорировать, сводить на нет, садить в чернильницу?

— Да что вы с цепи сорвались? — окрысился Никольский. — Если вы будете так говорить, я должен буду прекратить наш разговор. Никто вас ни в чем не упрекает, показал вам ошибки, которым вы сами только и придаете значение. Всякий понимает, требовать математической точности нельзя, но стремиться к ней необходимо. О чем же говорить? А все эти миллионы ни при чем. Сберегли их, и славу вам, мне от этого ни тепло, ни холодно — мое дело просмотреть вашу профиль и сверить ее с планом. Сверил, нашел ошибку и докладываю вам как товарищу, показал и в благодарность получил ругань.

— Да я вовсе вас и не хотел трогать, — отвечал сконфуженно Кольцов. — Я только хотел указать на ту китайскую стену, где недосыгаемо ютится вся мерзость казенного дела, — нанести удар может всякий, кто пожелает,

а защититься от таких ударов никакими миллионными сбережениями нельзя.

— Ох, беденький, беззащитный, — сказал Никольский, — обидишь вас, сам всякого обидит.

Окружающие инженеры рассмеялись. Кольцов тоже добродушно смеялся.

— Вы зачем в Петербург приехали? — спросил его Никольский. — Для того только, чтобы нам заявить, что вы миллион сократили?

— Для этого и, кстати, чтоб сказать вам, что и другой миллион еще привез.

— Вариант?

— Вариант.

— Черт знает что — как блины печет он эти варианты. Да вы что сразу не сделаете как следует?

— Опять булавка. Опять полное незнакомство с тем, о чем говорите, — шутливо отвечал Кольцов. — Сразу, господин, ничего не делается. И прыщ сначала почешется, а потом уже выскочит.

— Какой он недотрога стал, — заметил Никольский.

— Недотрога, — вспыхнул Кольцов. — Пятнадцать лет тому назад за все свои варианты я получил бы тысяч триста премии, да поклон в ножки от хозяина-концессионера, который на всех перекрестках будет расхваливать меня, а теперь я чуть не Христа ради выпрашиваю как милостыню принять мои варианты и должен считать для себя как милость высоко снисходительные замечания вроде ваших: почему сразу не сделали. Да, черт меня побери, сколько надо было поломать голову, чтоб выдумать такое положение дел, чтобы всякий участник в деле не только не был бы заинтересован в успехе, но наоборот всю помощь свою невольно направлял к тому, чтобы с такой стороны осветить вопрос, чтоб сразу все дело свелось на нет.

— Эк его распирает, подумаешь, что он не с полюса, а с экватора приехал. Из мухи, батюшка, слона делаете — на все в увеличительное стекло смотрите. А вы смотрите проще — люди как люди. Что вы мне — брат, сват, чтобы я за вас радовался и на стену лез. Ну сделали и сделали, долг свой исполнили, чего вам еще? А где наврали, так и наврали. Что ж нам прикажете делать, для чего же мы, по-вашему, здесь?

— Да, по-моему, вы совершенно бесполезный народ, если только для того и сидите, чтобы наши ошибки искать, так как таких инженеров из такого же теста, как вы, уже сидит сто человек.

— И все ж таки ошибки не досмотрели.

— А что толку, что вы досмотрели. И ошибка-то только вашим существованием вызвана. Для вас специально и тратим время на разрисовку этих картинок.

— Армия никогда не признает штаб, а без штаба все же таки армия сброд баранов, — отвечал Никольский. — В данном случае вы, может быть, и правы, но есть миллионы случаев, о которых, очевидно, вы не имеете и представления. Не было бы нашего Временного управления, например, с властью, большею, чем у министра, все вопросы должны были бы проходить через Государственный совет, а для живого дела, вы понимаете, что значит? Идет у вас дело хорошо — мы молчим, а вдруг злоупотребление и нужно его прекратить в двадцать четыре секунды — вот мы тут как тут. Сдаются подряды, а цена сумасшедшая — готово veto¹. Понимаете, господин?

— Если бы в России строилась целая сеть дорог, тогда я еще понял бы, но когда строится в год одна дорожка, то содержание штата, стоящего до миллиона, лежащегося бременем на одну дорогу, я не понимаю. За одним человеком уследить и так можно, а не хватает власти, то, ввиду того, что это уже означает факт, — в чем же дело? Усильте министра и консула. А при таком положении, когда вас двести на одного, за неимением настоящего дела вы будете выдумывать себе его — это и дорого и ведет к деморализации. Нужно девать куда-нибудь избыток сил — нельзя направить на дело, на безделье можно. Результат — сплетни, интриги, сажание в чернильницу и прочие атрибуты людей, не занятых настоящим делом. Вдобавок так вы все здесь поставлены, что вы ничем не заинтересованы в успехе дела, а напротив, ваша заслуга найти пятно. И по службе выслужился, да и конкурента лишнего устранил. Пожалуйста, не возражайте, факт налицо: из всех ваших начальников работ кто ушел не с замаранным хвостом. А ведь были люди, заслуживающие высокого уважения, что ж вы с ними сделали, — одного прогнали, другого довели до самоубийства, третий с ума сошел. Что вы с Елецким, наконец, делаете? — Ведь недели не проходит, чтобы вы ему какой-нибудь каверзы не придумали. Ну вот хоть сейчас. Десять человек занимаются под начальством Дубинина перепроектировкой профиля на радиус сто пятьдесят. Все это потихоньку, чтобы сюрпризом послать ему: вот, дескать, тебе, — за три тысячи верст сидим от линии, а лучше тебя видим, что нужно делать. А в прошлом году сами же отказали в этом Елецкому. Ведь гадость же. Ну вызвали бы его, предложили бы,

¹ запрет (лат.)

а то тайком. Хорошо, что Елецкий маху не дал и на этот раз сам привез вам радиус сто пятьдесят, и, кстати, этим же показал, что такую работу необходимо делать на месте, а не в кабинете. Я смотрел эту перепроектировку, стыдно просто, поняли бы хоть одно, что раз новый радиус разрешен, то для него и новые места нужно выбрать, а они себе по тем же местам валяют. Сто тысяч, говорят, экономии, когда я с одного участка привез семьсот. В том-то и ваше горе, что вы или забыли живое дело, или не знаете. Иначе бы таких глупостей не делали. Вместо того чтоб обставлять все дело так, что благодаря только чуду могут получаться сокращения, — поставьте дело рационально.

— А как же его, по-вашему, надо поставить?

— А вот так. Если я вам выложу на стол миллион и подарю с тем, чтобы из него вы мне отдали пятьдесят тысяч, то вы согласитесь на это, конечно. Концессионер-хозяин понимал эту логику, и самой выгодной статьей были у него изыскания. Для этого достаточно сравнить в прежних постройках предварительные и окончательные изыскания — разница в миллионах. Возьмите правительственные постройки — разницы между предварительными и окончательными почти никакой. Кому надо заботиться о сбережениях, тратить силы, здоровье, деньги, наконец, так как два рубля пятьдесят копеек суточных кому же хватит на жизнь в Петербурге? А у кого денег нет лишних? А у кого охоты нет переносить одни обиды, — так на долю изыскателей только это и выпадает? Ведь это нарочно надо придумать такие не обеспечивающие дело условия. Жаль пяти процентов и не жаль девяноста.

— Казна в данном случае смотрит так, премия — деморализация. Ты гражданин, ты обязан исполнять свой долг, и надо полагать, что и без премий ты сделаешь все, что можешь.

— Это довод или мошенника, или дурака. И вот почему. Оттого, что казна смотрит на человека, как на идальное существо, человек не переменится и останется тем же, чем был, — пострадает одна казна. Что это за утешение, что он должен? Но он не делает. Можете вы его проверить? Нет, конечно. Вот вам факт налицо. Уже четвертый мой вариант вы мне утверждаете. Уже два с половиной миллиона вы бы заплатили, а может быть, и теперь вы в других местах платите. Вы ведь этого не знаете, для того, чтобы это знать, нужно горизонталями снять всю страну, работа, стоящая дороже самой линии. Где у вас гарантия, что человек приложил все свои силы и сидит действительно достойный, а не бабушкин внучек? Ваша гарантия в том, что

вы наполовину уменьшили содержание, уничтожили премии, игнорируете, на нет сводите заслуги и при всем том остаетесь в сладком убеждении, что всякий должен исполнять свой долг. И это в коммерческом деле, когда рядом тысячи коммерческих дел, где людей считают за людей и умеют ценить их. В результате все опытное, все знающее, все способное ушло. Осталась посредственность, подлая посредственность, которой каждое напоминание об ее ограниченности колет и режет глаза. Выиграла ли от этого казна? Один убыток как в нравственном, так и материальном отношении. В нравственном понятно, а в материальном еще понятнее: наши изыскания ведутся уже два с половиной года и стоят дороже любых концессионных, — то, что опытный сделал бы сразу, неопытный сделает в несколько раз, я не беру во внимание ленивых, неспособных. Количество начальников тоже несравненно больше. Все это еще яснее в постройке. В концессионном способе была одна администрация и затем система мелких рядчиков. У нас контроль, вы, мы, линейные инженеры в количестве большем против концессии и, наконец, участковые подрядчики с администрацией, не уступающей нашей. Смело можно сказать, что на одного прежнего приходится теперь трое служащих, из которых подрядчик продолжает преисправно в большем против прежнего количестве получать содержание и премии. Несостоятельность казны очевидна: очутившись благодаря бумажным сбережениям со штатом, не годным для работы, она вынуждена взять подрядчика и за пятнадцать процентов бумажной экономии отдать сто процентов подрядчику. Это факт. Посмотрите любую смету подрядчика: на администрацию, ее премии, проценты на капитал и заработок себе он кладет тридцать пять процентов от всей суммы. Сумма прежних премий (пять процентов) составляет пятнадцать процентов от этой суммы. Кто может так действовать? Или человек, не знающий того дела, за которое берется, или дурак, который не умеет доказать государству, в чем истина, и этим позволяющий грабить это государство, или подлец, умышленно заинтересованный в таком положении дел. А с виду выходит очень хорошо: никому не обидно из чиновников — всем жалованья убавили — не те-де времена. Общество успокоено, что период хищений кончен. Вам угодно родине служить, полезным быть отечеству — вот вам грош, а вы хотите казну грабить — вот вам миллион. Уменьшко придумано.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ШКОЛЫ

Набросок с натуры

На заводе произошло событие: прежний владелец продал завод, и новый хозяин назначил новую администрацию. Перемена касалась, собственно, высших сфер завода; что до мелких служащих, то они остались на своих местах, и каждый по-своему относились к происшедшей перемене.

Учитель надеялся, что дело примет более благоприятный оборот для школы и для него.

Школа помещалась в старом деревянном флигеле, в котором дуло и поддувало так, что вода зимой замерзала, а учитель не выходил из тулупчика, ежась от холода в своей конурке с окном на задний двор.

Надежды учителя не сбылись: не понравились управителю ни школа, ни учитель, — общий тон школы был слишком фамильярный и даже распушенный, идеалист учитель действовал неприятно на нервы положительного управителя.

Неудача не смутила учителя. Он привык к ним. Он решил объясниться с управителем. «Управитель неглупый человек и поймет все дело, когда это дело учитель выяснит ему. Дело на виду. Невозможное здание школы: дует, и даже свет с улицы виден. Пусть сам убедится, если не верит. Пусть приложит руку к любому подоконнику!» Учитель наудачу подходил и прикладывал руку: из подоконника вылетала струя свежего морозного воздуха. Ясно, что жить в таком доме нельзя. Ясно, что такая школа только развод всяких болезней. Не менее ясно было, что школа должна быть школой, — в ней должны быть по крайней мере книги, тетради, карандаши. Отказывать ребенку в бумаге, карандаше, даже и для забавы его, — значит отбивать охоту. значит отказывать в возможности делать как следует то дело, для которого идет он в эту школу. Какой при таких условиях может быть успех?! И к кому же ему обращаться, как не к управителю?! Не о себе же идет он хлопотать?!

Учитель усмехнулся.

О себе! Он и так половину своего жалованья тратит на детей. Управитель может сомневаться в нем, — пусть спросит у кого хочет: кто он, что он, любит ли свое дело, занимается ли? И когда убедится, что он никаких личных целей не преследует, что ничего ему, кроме дела, не надо, то он, конечно, и отнесется к нему лучше, чем в первый раз. Он расскажет ему свой взгляд на школьное дело, какие цели он преследует. Он имеет что сказать. Управитель и не ждет встретить в его лице человека, для которого это дело дороже

его жизни, который на школу вовсе не смотрит только как на ремесло обучения грамоте: школа — это закваска будущего человека, и не пустое место должна она оставить после себя и пример должен быть он — учитель; его любовь к ученикам, его любовь к делу, привычка уважать себя — все это должно вызвать в детях стремление к сознательной, осмысленной жизни. Если старые люди, попадая в какую-нибудь секту, извращенную, ложную, тем не менее молодеют, оживают духом, то что может сделать школа с молодой душой, чуткой на все доброе и хорошее. Какой ею интерес можно вызвать к жизни?! Он твердо уверен, что из его школы незачем будет идти ни в секту, ни в раскол, никто не сделается ни вором, ни конокрадом. Это было бы личным позором для него — личным стыдом; точно он сам бы украл. Учитель обвел своим мягким вдумчивым взглядом грязные стены своей школы.

«Надо идти», — подумал он. Он оделся и пошел к управителю.

Управитель был недоволен распушенностью завода. В делах был беспорядок: на заводе процветало тайное воровство железа, по ночам шлялись ватаги пьяных рабочих, так что даже небезопасно было ходить по улицам, попытка поднять таксу на лес вызвала резкий протест со стороны заводского населения.

Управитель сидел сосредоточенный за письменным столом в своем кабинете и разбирал бумаги. Он угрюмо поздоровался с учителем и показал на стул.

Учитель взволнованно пожал протянутую руку, на мгновение остановился на недовольном, загадочном лице управителя и проговорил, неловко садясь:

— Я, Николай Евграфович, к вам по поводу школы пришел объяснить. Я видел, что на вас она произвела неудовлетворительное впечатление. Смею вас уверить, что это только первое впечатление. Школа очень хорошо поставлена...

Управитель посмотрел пренебрежительно в сторону.

— Я вам подробно расскажу, какие цели я преследую...

Управитель сделал нетерпеливое движение.

— Мне некогда, — избегая взгляда, проговорил управитель.

— Я, собственно, только хотел сказать, что цели...

Управитель сделал резкое движение и круто повернулся к учителю.

— Я вас прошу оставить меня... цели, цели... точно речь об университете идет. Не Бисмарков готовите: готовите крестьянина, обыкновенного крестьянина, и должны дать

ему дисциплину... все, что требуется ... и не даете... Ларионов при вас кончил?

— При мне.

— По-вашему, его аттестация какая?

— Это талантливый человек.

Управитель покраснел, сжал зубы, так что они скрипнули, помолчал и медленно, нехотя ответил:

— Сегодня этот талантливый человек отправлен мною в тюрьму за подстрекательство против заводской администрации. Это сам завод на свои средства себе же приготовил...

— Я этого не знал еще, он всегда был увлекающийся... Школа здесь ни при чем... Это уж свойство его темперамента... Школа не может переделать темперамента.

— А не может, нечего и братья... таково мое мнение...

— По-моему, задача школы дать производительного, честного работника... дать ему тот подъем духа, при котором явится у него сознательный интерес к производительной работе...

— Явится у него стремление все вверх ногами поставить... Я сегодня же пишу владельцу, что нахожу вашу деятельность вредной.

— Я не знаю чем... поверьте же, Николай Евграфович, что все это одно недоразумение...

— Ну, извините, пожалуйста, мне некогда, — резко перебил Николай Евграфович. Он быстро сунул учителю руку и отвернулся к своим бумагам.

Учитель наскоро поклонился и не заметил, как вышел на улицу. Он быстро шел, растерянно оглядываясь, точно потерял что-то. Слезы подступали к горлу. Ах, если бы мог он где-нибудь, как-нибудь сказать так, чтоб выслушали все всю заветную его думу: ведь это все так хорошо... всё, всё бы приняли. Но теперь уж совсем некому говорить.

И в своей тоске он еще сильнее проникался необходимостью своей идеи, еще более любил ее и сильнее было жаль ее теперь, обижаемую, так жаль, как будто это была не отвлеченная идея, а реальное любимое существо, которому вдруг грубо и несправедливо нанесено незаслуженное оскорбление. Ах, было одно только ясно: он еще сильнее любил, точно хотел усиленной любовью возместить обиду и сжечь ее горечь в разгоревшемся пламени этой любви.

«Я сегодня же напишу владельцу...»

«И я напишу», — мелькнуло в голове учителя.

Он пришел домой и сейчас же сел за письмо. Он писал до тех пор, пока весь керосин не догорел в лампе. Тогда, так как больше керосину не было, он наколот лучин и при свете их dokonчил свое длинное послание.

Воспрявший духом, свежий и бодрый, съев кусок хлеба, он улегся на свою жесткую кровать, сверх одеяла покрылся своим тулупчиком и сладко, ежась от холода и усталости, заснул здоровым беззаботным сном.

На другой день, веселый, полный энергии, он весь отдался своей обычной жизни и потонул в ее непередаваемых, только ему уловимых переливах. И жизнь закипела. Счастливый сознанием удовлетворения этой жизни, он среди чумазой толпы своих учеников с обычным чутким интересом прислушивался к новым и новым стрункам своих возбужденных, удовлетворенных питомцев.

Когда занятия кончились, он вместе с детьми вышел на улицу, где бегали его пока еще слишком юные для учения кандидаты.

Как самый искусный вербовщик, он наметил жертву и пошел к ней.

Это был толстый, красный от мороза бутуз с точно раздвоенными глазами, маленьким узким лбом, бутуз, который то и дело усердно подтягивал носом и надоедливо сдвигал назад большую тяткину шапку, мешавшую ему отдаваться удовольствию наблюдать высыпавшую толпу ребятишек.

Учитель прошел мимо своей жертвы, не смотря на нее, круто повернул и взял мальчика за руку.

— Пусти... — испуганно рванулся мальчик.

— Тебя как звать?

— Пусти...

— Его звать Ванька Қайн, — шепеляво и вытягивая слова, отозвался другой, с мягкими большими умными глазами мальчик.

— А тебя как звать?

— Амплий, — спокойно ответил мальчик.

Ванька, превратившийся было весь в слух, опять строго проговорил:

— Пусти...

— А хочешь посмотреть картинку?

Учитель вынул маленькую книжку с рисунками раскрашенных зверей.

— Смотри, какой страшный... видишь, зубы, а хвост-то какой... он как прыгнет на человека...

Ванька впился в картинку.

Амплий доверчиво через руку учителя тоже смотрел на нее.

Учитель показал другого зверя, третьего.

— Тятка мой как тлеснет тебя.. — проговорил Ванька.

— Как треснет?

Ванька тут посмотрел на учителя и вдруг со всего размаху ударил его кулаком по ногам.

— Вот как тлеснет, — сказал он и быстро отбежал.

Но видя, что учитель его не преследует, остановился и спросил:

— Что, будешь?

— А тятка кого треснул?

— Мамку тлеснул.

— Больно тлеснул?

— Бо-о-ольно... Кровь пошла...

— Тебе жаль мамку?

Ванька не ответил, повел глазами и, увидев садившуюся на землю ворону, весело показал на нее пальцем учителю.

Ворона, степенно покачиваясь, пошла прямо на Ваньку, остановилась около его ног, боком покосилась на них и, клюнув валенку Ваньки, пошла дальше. Ванька, вытянув шею, замер, не сводя восторженных глаз с учителя.

— Она любит тебя, — проговорил учитель. Ванька сверкнул на ворону глазами, покраснел от напряжения и с визгом: — и-и-и! — расставив руки, бросился к вороне.

Результат письма учителя был тот, что приехал владелец, выслушал учителя, и дело приняло такой оборот, какой не снился учителю: решено было выстроить новую школу. Проект ее был составлен в Петербурге и обстоятельно обсуждался специалистами. О нем даже заговорили в печати, и по адресу владельца было сказано много лестного.

В газетах писали: «Лучшее здание в Англии принадлежит школе, — путешественник видит его, пока еще остальное селение скрывается в тени этого здания».

Счастливы жители завода, приобретшие в лице нового владельца человека, стоящего на таком высоком уровне современных требований жизни».

Радости учителя не было пределов. В школе предполагалось, кроме обучения, завести ремесла. Строился целый дворец. Было чему порадоваться и чем поделиться с детьми.

Фигура учителя выросла в глазах заводских жителей. Была и личная радость: возможность обзавестись семьей.

В новом здании было место для жены.

Мысль о жене, правда, отравлялась немного сознанием, что ему уже тридцать пять лет, но он был так молод душой, что как-то совсем не чувствовал своих лет, и ему все ка-

залось, что он по-прежнему только что начинающий жить молодой человек.

— Это несчастье иметь дело с людьми, не знающими жизнь, — говорил управитель владельцу соседнего имения. — И умный, и добрый, и хороший, а дал себя сбить просто, можно сказать, сумасшедшему человеку.

— Вы про владельца?

— Положительно, хоть отказывайся. Я хочу сделать последнюю попытку образумить и, если не удастся, оставлю место. Из Петербурга все хорошо, а тут что ж прикажете делать, если каждый по-своему начнет.

— Я еду в Петербург: попробую помочь вам.

— Не мне — ему помочь. Сам же спасибо скажет...

Судьба была за управителя. Пока велись переговоры, учитель простудился и умер от тифа, бредя своей школой.

В холодный зимний вечер отнесли его на кладбище. Торопливо, озабоченно шагали за гробом покинутые дети.

Там, на могиле, их глаза с тоскливым недоумением смотрели, как забрасывали мерзлой, холодной землей их учителя.

Завтра они уж не найдут того, кому они, маленькие оборвыши, были дороги.

О, дети отлично понимали этот удовлетворенный, веселый, тревожно-ревнивый взгляд, с каким встречали их в старой покосившейся школе. Понимали и жили беспечной, счастливой жизнью детей, тех счастливых детей, которых любят.

Даже и для большого завода это была слишком блестящая школа: громадные высокие комнаты, зеркальные окна-двери. Солнце весело играло на паркетных полах, на блестящих полированных скамьях, на сверкающих шкафах большой ученической библиотеки. За учебными комнатами шли залы с мастерскими для девочек и мальчиков.

Тонкая, с вытянутой шеей десятилетняя Варюша в длинном, плохо сшитом ситцевом платье, в валенках, с прямым разделом гладко причесанных, сведенных в одну косичку волос, с повязанным поверх них туго накрахмаленным ситцевым платком, подтягивала носом, робко жалась к знакомым ребятишкам Ваньке и Амплию и в толпе остальных осматривала новое помещение.

Дети возвратились назад в классную, и учитель, остановившись у дверей своей квартиры, проговорил им:

— Ну, дальше вам нечего смотреть, ступайте домой. Завтра аккуратно в восемь часов приходите. Кто опоздает, жалуйся на себя.

Новый учитель, высокий, худой, провожал своими маленькими глазами детей.

В прихожей стоял сторож.

— Ты смотри мне, — прикрикнул он, засунув руки в рукава своего отставного мундира и перегнувшись вперед, Ваньке Каину, мазнувшему пальцем по гладкой масляной стене.

Ванька весело покосился и бросился к выходу, надавливая на толпу.

— Цыц ты, — прикрикнул на него сторож и сделал движение к Ваньке.

Ванька стремительно выбежал на улицу и, довольный, забыл думать и о стороже, и об учителе, и о школе.

Дела пошли своим чередом. Выбор нового учителя был предоставлен усмотрению управителя.

На том же стуле, на котором когда-то сидел прежний учитель, теперь сидел новый и, удовлетворенный, делился своими впечатлениями с управителем.

Управитель снисходительно слушал, сознавая необходимым поощрить полезно направленную энергию нового педагога.

— У меня, Николай Евграфович, длинных разговоров нет: урок задан, объяснен, спрошен — и с богом: лишние проводы, лишние слезы.

Николай Евграфович молча кивнул головой.

— Порядок для всех один: хочешь? — милости просим, нет — вот бог, а вот порог. Если с каждым заводить свои порядки, так ведь, помилуйте, скружат... Хоть про покойников и не следовало бы худо говорить, а уж, сказать по правде, и развел же делов мой коллега, не тем будь помянут. Это просто умора: дневник его я читаю. И чего-чего не напишет! И выдающийся, и талантливый, и такой, и сякой... и все у него выдаются... — Учитель рассмеялся сухим смехом. Николай Евграфович снисходительно улыбнулся. — А ведь извольте вот... ему-то хорошо теперь лежать там: никто не придет, а ты тут распутывай, да наладь, да обратай лошадку: норовистого-то конька ой-ой как исправлять... Я, Николай Евграфович, не знаю, как вы, а по-моему, зачем простолюдину таланты его разыскивать? Его талант какой: если ты землю пашешь — и паши, не ленись, люби жену свою, будь добрый хозяин; на заводе ты — работай правильно, без облыжки, не кради. Время есть, научиться грамоте, почитай разумную книжку в праздник,

чем в кабаке-то идти да по ночам по улицам шляться. Какой еще талант? Чего ему с ним делать? Не знаю, может, я и ошибаюсь...

— Нет, я разделяю ваш взгляд. Там, через двести лет, что будет, те и будут разговаривать... а наше дело — простое, несложное дело, и, не мудрствуя лукаво, надо и делать его.

Близ заводских порогов однажды весною разбило барку.

И старый, и малый, и весь завод спешили на берег.

Для Ваньки Каина было истинным мучением в такой день идти в школу.

Он стоял на углу тех улиц, из которых одна шла к школе, а другая к реке, мучительно крутил свои пальцы и упрямо смотрел своими маленькими, раздвинутыми глазами пред собою. От напряжения его толстое, широкое лицо кривилось, и маленький узкий лоб то и дело сдвигался в морщинки. На зов мимо шедших товарищей, спешивших в школу, он только сердито поводит плечом и продолжал упрямо смотреть перед собой.

В классе ученики толклись у дверей учительской квартиры и, убежденные, что нелегкая понесет-таки Ваньку на берег, громко, так, чтобы слышал учитель, говорили:

— Ваньке влетит.

Урок уже начался, когда дверь отворилась и неожиданно вошел Ванька. Вошел довольный собой, с расплывшейся довольной улыбкой на лице.

— Стань к доске, — проговорил учитель, не глядя на Ваньку.

Ванька пошел к доске. Там он стоял, широкий, маленький, злой и раздраженный, поздно сожалея, что не убежал на берег.

Урок шел своим чередом.

— Амплий, повтори!

Встал Амплий, и голова его едва виднелась из-за скамьи. Большие мягкие глаза его смотрели на учителя сознательно, не по-детски умно, он топтался и точно собирался с силами, чтобы начать:

— К примеру, если...

— Не надо «к примеру», — перебил учитель.

Амплий замолчал, собрался с силами, открыл рот, опять открыл и опять ничего не сказал.

— Не могу, — рассмеялся ласково-просительно Амплий.

Амплий был любимец учителя.

— Ну, не можешь, в уме скажи «к примеру», а громко прямо начинай.

Амплий поднял глаза к потолку, прошевелил губами: «к примеру» и начал:

— К примеру, если человек украл там что-нибудь, так это худо, а хуже еще того оговорить человека...

— Хорошо, только зачем ты опять сказал «к примеру»?

— Так уж... — развел руками Амплий.

— Ты напиши вот, что сказал, вычеркни «к примеру», а остальное выучи и скажешь мне.

— Слушаю, — ответил весело Амплий.

Учитель продолжал:

— Вещь украл, поймают и накажут, — ученика выгонят из школы, — большого в тюрьму посадят. Ну, погубил себя, да только себя, а ославил другого, доброе имя украл его — и чужую душу загубил.

Ванька напряженно смотрел, и мысль о берегу прожигала его.

— Ванька, повтори.

Ванька злыми глазами впился в учителя.

— Не хочу, — ответил он.

— Не хочешь? — кивнул головой учитель, подходя к Ваньке — Ах ты, язва маленькая, так не хочешь?

Учитель напряженно смотрел в глаза Ваньки и, вдруг успокоившись, равнодушно проговорил:

— Ну, когда захочешь, скажи, а до тех пор домой не пойдешь.

Ваньке ясно было, что если он не пойдет домой, то и на берег не попадет. Ясно было и то, что и на берег ему до смерти хотелось. Но совершенно неясно было, отчего ему не хотелось, хоть режь его пополам, повторить слова учителя.

Урок кончился, началась рекреация¹, и Ванька ходил, весь поглощенный одной мыслью попасть на берег.

«Если ученик украл, его прогонят», — запало в Ванькину голову.

Он осторожно пробрался на кухню учителя. На столе стояла кастрюля, и в кухне никого не было. Ванька схватил обеими руками эту кастрюлю и понес ее так осторожно, как будто нес какое-нибудь сокровище.

Ученики удивленно встретили Ваньку с его оригинальной ношей.

— Ты куда волокешь? — спросил Амплий.

— Украл... на базар продавать.

Хохот учеников еще больше возбудил Ваньку.

— У-у! украл, украл! — весело-напряженно повторял Ванька и пустился бежать. Ученики повалили за Ванькой

¹ перемена (лат.)

в переднюю. И в передней сторожа не было. Ванька оделся, схватил кастрюлю и выскочил на улицу.

Интересное кончилось, и толпа детей побежала за его продолжением.

— Ванька украл кастрюлю, — толпились они у дверей учителя.

— И на базар понес продавать...

Ваньку поймали уже на базаре и в тот же день выгнали из школы.

О Ваньке поговорили-поговорили и забыли, как забывали и о всех тех, которых от поры до времени выбрасывал за борт последовательный учитель.

Но Ванька не забыл о себе. Не нужный учителю, его оценили другие.

В двадцать лет Ванька был первый конокрад, первый мастер по сбыту краденого железа.

— Просто, братец мой, цены парню нет, — хвалили товарищи, — куда хошь, только оглаживай, знай, его...

— А без этого хоть брось...

Амплий кончил школу, кончила и Варюша.

Амплий поступил надсмотрщиком на завод, а Варюша горничной в семью управителя.

Судьба опять свела Ваньку и Амплия. Ванька работал на заводе, а Амплий надсматривал. Вечером Ванька с другом таскал с завода припасенное днем железо, а Амплий расставлял сторожей так, чтоб не видеть Ваньку.

Амплий хорошо знал, что крадут железо: да что он тут мог поделывать? Сегодня поймают, а завтра самого найдут где-нибудь мертвого под забором. В заводе жизнь особенная, налаженная десятками, а на других и сотнями лет. Амплий понимал, что ничего он тут не поделает, а себя погубит. Амплия уважали за это, называли умным парнем, носили ему когда и гостинец. Любило Амплия и начальство, и все смотрели на молодого парня как на человека, у которого хорошо обеспеченная будущность. Амплий ходил в щегольских высоких сапогах, в синей тонкого сукна поддевке, по воскресеньям ходил в церковь, а после церкви, пообедав, сидел на завалинке, грыз семечки и беспечно глазел по сторонам.

— Девка красная... ты... идешь, что ль?

И веселая ватага парней останавливалась перед Амплием и, подмигивая, ждала ответа.

— Не пойду, — мотнув головой, отвечал Амплий.

— Бабник, — говорили пренебрежительно парни, — пойдет теперь лясы девкам точить...

Амплий действительно любил девичье общество.

Ванька Каин, наоборот, был равнодушен к «женскому сословию», и только спокойная, уравновешенная Варюша производила на него неотразимое впечатление. Варюша гнала энергично Ваньку, и хоть минутами и тянуло что-то в ней к нему, но воли она себе не давала.

Да и партия была не равна. А Варюша была девушкой с расчетом: аккуратная, строгая, умная, хозяйственная. Одних платьев до десяти было. Самое большое удовольствие Варюши было прийти, бывало, домой и начать раскладывать свое богатство. Пересмотрит все, сложит назад в сундук и пойдет на барский двор, удовлетворенная осмотром.

Случай помог Ваньке. Загорелась изба Варюшиной матери. Варюша опрометью прибежала с барского двора.

— Сундук, сундук! — кричала она и, сморщившись, испуганно смотрела в горевшие окна.

— Поздно, Варюша, — ласково проговорил Амплий.

Так и села Варюша на землю: «сомлела», по народному выражению. Разгорелось сердце Ванькино.

— Лей воды! Брандебай! Вытащу.

Нашли воды, направили на него струю, и Ванька бросился в сени, каким-то чудом удалось ему не сгореть и появиться через несколько томительных мгновений с сундуком в руках.

Одно лишнее промедление — и пропал бы Ванька. С обгорелыми волосами, лицом и руками подтащил он к Варюше сундук и сказал:

— Бери!

Так сказал, что и про сундук Варюша забыла. Подарила Ваньку в первый раз настоящим взглядом. Ванька был не промах, повел дело искусно, и Варюша стала сдаваться. Даже мысль о худой славе перестала страшить Варюшу. О ком не толкуют? не пойман, значит не вор.

Дело испортилось неожиданно и негаданно. Ванька попался в конокрадстве, и его посадили в тюрьму. Дело приняло другой оборот с Варюшей. Через шесть месяцев, когда Ваньку выпустили, Варюша уже была объявлена невестой Амплия.

Ванька, как услышал об этом, не поверил. Он побежал на барский двор.

— Врешь, не вырвешься! — шептал он. — Матрешка, подь сюда, — поманил он в барских воротах маленькую девочку, дочку судомойки.

— Чего тебе?

— Ходь сюда.

Когда девочка подошла к воротам, Ванька как-то сконфуженно сказал ей: «Скричи на час Варюшу, — и так как Матрена нерешительно раздумывала, то он повторил просительно: — Скричи... гостинца дам».

Девочка повернулась и пошла к барскому дому. Разыскав Варюшу в передней, она проговорила, не вынимая изо рта пальца:

— Слышь, Ванька кличет тебя.

Варюша быстро прошла в коридор и проговорила оттуда изменившимся голосом:

— Не пойду...

— Нейдет, — лениво крикнула девочка, выйдя во двор.

Ванька сконфуженно оглянулся. «Матреша, подь сюда... — для чего-то понижая, прикипевшим голосом позвал Ванька. — Ходь дурочка, на вот тебе деньги».

Матреша нерешительно опять подошла и взяла протянутый ей дрожащей рукой пятак.

— Ты скажи Варюше, что мне больно нужно ее видеть.

— Ладно.

— Больно, мол, просит, — крикнул вдогонку девочке Ванька. Он стоял, точно прирос к земле, и весь назойливо впился глазами в подъезд заднего крыльца, точно пронизать его хотел, чтобы самому увидеть, что там делает Варюша. А сердце, как пойманная птица, так и билось в груди. С открытым пересохшим ртом Ванька все стоял и смотрел.

Вышла Матреша. Упало у Ваньки сердце.

— Нейдет. — грустно проговорила девочка, подойдя к нему.

— О-о! Что нейдет?.. — тихо, испуганно спросил Ванька.

— Бат, не забыл он здесь ничего, и я не забыла у него.

— Так и сказала?

— Так и сказала.

— Ой, Матреша, что ж это она со мной сделала?! — жалобно, почувствовав какую-то боль, проговорил Ванька. Он сел на скамью, закрыл лицо руками и тихо, пискливо, как ребенок, заплакал. Матреша смущенно, в упор смотрела на него. Ванька плакал, раскачивая из стороны в сторону головой.

Какая-то не то жалость, не то злость разобрала Матрешу. Она заговорила быстро, глотая слова:

— Он ей все гостинцы носит, на базар ходили, себе кушак красный купил... надел, идет...

Так и встал перед Ванькой нарядный, довольный Амплий... Не его больше Варюша!

— Э-э! — рывкнул он нечеловеческим голосом и зарыдал. Из рта его вылетали пузыри, лицо надулось и покраснело, ему было больно, что Варюша не его, что тюрьма сгубила его, что все опостылело ему.

К Ваньке подошел товарищ его Андрей.

— Не робь, парень, — тихо проговорил он, подсаживаясь к Ваньке, — дай срок, Егоркина мерина слижем, так закутим, люли малина!

Точно ножом по сердцу резнуло Ваньку.

— Постылая жизнь, — вскипел он, так и замер. — Красть да по тюрьмам валяться?! А они здесь миловаться за его здоровье станут, чай-сахар распивать... Врешь, не будешь!! — заревел он диким голосом, и все закипело в нем и загорелось, и, вскочив, вытянув шею, он уставился налившимися глазами в подъезд.

На другой день утром весть разнеслась по заводу: на одном из дворов завода нашли уже застывшее тело Амплия. На перекладине своих дверей висел Ванька Каин, синий, с широко раскрытыми, выпяченными глазами, точно вдруг увидел что-то страшное, да так и застыл...

— Берегись, девка, — пропела Офросиньюшка, ключница, Варюше. — Парень-то письмо оставил.

Екнуло сердце Варюши: долго ли подлецу погубить девушку. Шутка сказать, висельник помянет в записке.

— Еще что? — ответила скрепя сердце Варюша. — Кто что делать надумает, а на человека валят?

— Никто не валит, говорю только.

— Айда, письмо Ванькино принесли!

И вся дворня побежала к конторе. Только Варюша не пошла.

— Оправдалась, — разочарованно крикнула ключница Варюше, возвращаясь с остальными. — Только и написал, что погубил свою да Амплиеву душу... Напугалась?

— Как не напугаться, — вздохнула стряпка, — долго ли на девушку конфуз положить.

— Храни господь, — ответила равнодушно ключница.

«Храни господь, — а сама первая», — подумала Варюша, неся барыне воду.

Точно камень с души свалился у Варюши. То было ругала Ваньку, а тут жаль стало: перекрестилась, вздохнула и прошептала:

— Прости, господи, несчастную душу!

В школе все говорили о Ванькиной и Амплия смерти. Так же играло солнце, такое же утро было, как некогда, когда Ваньку поставили к доске, только вместо Ваньки

у доски стоял Пимка, да учитель точно высок и еще длиннее стали его ноги.

— Такой же будешь, — проговорил учитель, ставя Пимку к доске, — как и Ванька.

Попал в цель учитель. Пимка сразу притих и потянулся тоскливо глазами за золотыми нитями ярких лучей, так весело, так беззаботно игравших в полированной поверхности шкафа.

Новые события скоро заставили забыть на заводе и о Ваньке и об Амплии. Владелец завода назначил комиссию для выяснения интересного вопроса: почему производства его завода почти перестали давать доход?

Комиссия работала долго и много и потрудилась недаром.

Открылись очень интересные вещи...

Ох, уж эти статистики! Недаром сердце Николая Евграфовича, всегда такого невозмутимого, так неприятно замирало каждый раз, когда он проходил чрез комнаты, где они усердно занимались. И что только не собирали эти статистики, и откуда только не вылавливали, что им надо было. Тайную продажу железа и ту раскопали. И не только раскопали, но и вычислили с точностью до пуда, сколько каждый год кралось этого железа, и все это вырисовали в графиках. Красивы были эти графики. График железа краденого, график разбоев, убийств, график конокрадства, график пьянства и много всяких других. Что-то чуялось в воздухе. Смутный говор шел по заводу.

Варюша со страхом заглянула в таинственные графики, оставленные на столе: посмотрела на красные, черные черточки, на кривые черточки, то вниз идущие, то вверх опять, — все выше да выше...

— Очень, очень интересно, — любопытствовал сосед-помещик, — ну и как же, например, вы определили количество ворованного железа?

— Затрата труда на пуд определена, цены взяты существовавшие, — разность, следовательно, действительной стоимости и того, во что обходится заводу, и будет цена краденного железа. Деля на стоимость пуда, получим количество пудов украденного железа.

— И кресчендо идет?

— Все графики кресчендо, кроме графика доходности. Лет пятнадцать тому назад началось было некоторое понижение, но потом опять пошло кверху. Одно воровство железа на двадцать восемь процентов увеличилось.

— К каким же мерам думает прийти комиссия для подъема доходности?

— Да изволите ли видеть, хоть взять воровство железа. Здесь производительная деятельность возможна только с помощью все того же местного населения: не стражу же нанимать. Следовательно ясно, что прежде всего необходим нравственный подъем этого населения. Школа, не та, конечно, которую организовал усердный Николай Еврафович. Не школа, думающая о том, как бы отвратить вред, угадав и выдернув негодяя вовремя, — это дело полиции, — а школа творческая, созидательная, думающая о том, что без умных, талантливых работников — дело станет... Как оно и стало, — закончил статистик.

— Ну, возлагать все упования на школу, — усмехнулся помещик, — тоже, кажется, вряд ли будет основательным.

— Если школа и приведет к большим требованиям рабочего, то и даст он больше. А теперь никаких требований, правда, нет, зато ничего и не дает завод. Следовательно, крах уже есть, а нравственное растрепывание является еще премией за систему.

1893.

СОДЕРЖАНИЕ

Творец и летописец (предисловие)	5
Детство Темы (повесть)	19

Рассказы и очерки

Веселые люди	140
На практике	155
На ночлеге	173
Мои скитания	178
Волк	195
Бабушка	216
По Корее, Маньчжурии и Ляодунскому полуострову (отрывок) .	238
Вариант	243
История одной школы	284

Николай Георгиевич Гарин-Михайловский

ВАРИАНТ

ПОВЕСТЬ
РАССКАЗЫ
ОЧЕРКИ

Редактор *К. В. Шилина*
Художник *Е. Г. Филатов*
Художественный редактор *В. П. Ковалев*
Технический редактор *Н. Я. Зарилова*
Корректоры *Л. И. Семенова, И. П. Пастушкова*

ИБ № 2689

Сдано в набор 22.12.84. Подписано к печати 21.05.85. Формат бумаги 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 3. Гарнитура литературная. Печать высокая. Условн. печ. л. 15,96. Условн. кр. отт. 16,17. Учетн.-издат. л. 17,55. Тираж 200 000 (1 завод 1—40 000) экз. Заказ № 729. Цена 1 руб. 50 коп.
Башкирское книжное издательство. Уфа-25, ул. Советская, 18.
Уфимский полиграфкомбинат Госкомиздата Башкирской АССР.
Уфа-1, проспект Октября, 2.

**БАШКИРСКОЕ КНИЖНОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
В 1985 ГОДУ
ВЫПУСКАЕТ:**

А. Фадеев. МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ.

Произведение выдающегося советского писателя о героях-комсомольцах Краснодарна.

Л. Лушников. ЖИТЬ НА ЗЕМЛЕ.

Действие повестей происходит и в годы Великой Отечественной войны, и в мирное время.

В драматическом переплетении судеб разных людей оживают яркие страницы из жизни тружеников войны и тыла, а в дни мирного труда — друзей-ветеранов, перенесших тяготы и лишения военных лет.

Р. Паль. ОТЗОВЕТСЯ В ЖИВЫХ, КН. 1.

Первый в башкирской литературе документальный роман-хроника о первой

русской революции в Уфе, деятельности уфимских искровцев, их личных судьбах (И. Якутов, Г. Мишенев, Н. Покровский, А. Свидерский, И. Кадомцев, В. Кугушев и другие).

М. Рахимкулов. ЛЮБОВЬ МОЯ, БАШКИРИЯ.

Новая книга писателя-краеоведа — продолжение его более чем 25-летних литературных поисков, связанных с именами известных мастеров художественного слова, в творчестве и биографии которых видное место занимает Башкирия.

В сборник включены очерки о Н. А. Мамине-Сибиряке, Ф. Д. Нефедове, А. М. Горьком, Н. А. Крашенинникове, С. П. Злобине и других писателях.

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Башкирское книжное издательство просит присылать отзывы о книге, ее содержании, художественном оформлении и полиграфическом исполнении.

Scan Kreyder - 10.09.2019 - STERLITAMAK

1 руб. 50 коп.